



Н. И. КАРЕЕВ

ИСТОРИКИ  
ФРАНЦУЗСКОЙ  
РЕВОЛЮЦИИ

Т. II

---

Издательство „КОЛОС“  
ЛЕНИНГРАД  
1924

II  
K. 221

Historiens français depuis 1850

Н. И. КАРЕЕВ



# ФРАНЦУЗСКИЕ ИСТОРИКИ

второй половины XIX века  
и начала XX века

7937  
д. м. н. 8921

СЛОВО



Издательство „КОЛОС“  
ЛЕНИНГРАД  
1924

СПбГУ

Ленинградский Гублит № 5184.

Напечатано 3.000 экз.

---

ГОС. УЧЕБНО-ПРАКТ. ШКОЛА-ТИП. ИМ. ТОВ. АЛЕКСЕЕВА. ЛЕНИНГРАД. КРАСНАЯ, 1.



## Г Л А В А VII.

### Вторая империя. — Труды Токвиля и Кинэ.

И Мишле, и Луи Блан, начавшие свои труды перед самой февральской революцией, окопчили их уже тогда, когда вторая республика во Франции после четырехлетнего существования уступила место второй империи. Государственный переворот 2 декабря 1851 года был повторением переворота 18 брюмера VIII года. Но и в самой революции, вторично установившей во Франции республику, и в самой республике этой многие видели также повторение того, что было уже в первой республике. И сами французы, умевшие наблюдать то, что делалось вокруг, и наблюдательные иностранцы свидетельствуют, что у республиканцев 1848 года была своего рода мания подражать республиканцам 1793 года, о чем из французов говорит, например, Токвиль, а из иностранцев Карл Маркс и А. И. Герцен. Особенно было заметно в этом воскрешении традиций первой революции влияние якобинизма, сделавшегося очень популярным в передовой части французского общества времен июльской монархии. „Красные“ второй республики были подражателями якобинцев с тем только отличием от последних, что являлись, между прочим, не только политическими радикалами, но и социалистами. Делая якобинцев или монтаньеров представителями принципа братства, и Бюшез, и Луи Блан придавали им чисто социалистический оттенок. Переворот 2 декабря был разыгран на тему спасения общества от „красной опасности“, кончилось же все установлением во Франции опять единоличной власти и уничтожением политической и общественной свободы нации. Перед пытливыми умами возникал вопрос: почему, несмотря на три революции, совершенные французами во имя свободы, несмотря на все усилия основать в стране свободный государственный строй, стоившие потоков крови, Франция не достигла своей цели и опять попала

под власть цезаря? Двумя трудами по французской революции, появившимся при второй империи, были „Старый порядок и революция“ Токвиля и „Революция“ Кивэ, оба имеющие отношение к только-что приведенному вопросу. Это уже не были многотомные издания в роде истории революции Мишле и Луи Блана, а сравнительно небольшие работы. Это, равным образом, не были новые повествования в роде трудов только что названных историков, а рассуждения о революции. Ответ получался у новых авторов приблизительно одинаковый. Французы не понимали, как следует, политической свободы и больше стремились к равенству, нежели к свободе, причину же этого следует видеть вообще в том воспитании, какое нация получила при абсолютной монархии. Этот ответ заставляет пристальнее взглянуть в то вековое наследие прошлого, которое продолжало жить в новой Франции, созданной революцией, а быть может, в этом прошлом найти и корни нового, являющегося результатом революции. Такую задачу и взялся выполнить Токвиль своим небольшим, даже оставшимся неоконченным, но оказавшимся очень влиятельным трудом. Появление, в середине пятидесятых годов, „Старого порядка и революции“ составляет целую эпоху в историографии французской революции: ее прямо можно разделить на до-токвилевский и послетоквилевский периоды. Старый порядок стал теперь рассматриваться не как то, против чего произошла революция, а как то, из чего революция выросла. Идея абсолютного разрыва с прошлым была заменена признанием, что корни нового существовали уже в прошлом и что прошлое не совсем-таки исчезло из настоящего.

Так отразилась на новой постановке вопроса о французской революции эпоха второй империи, стоявшая в таком противоречии с революционным прошлым Франции, с ее революциями великой, июльской и только что пережитой февральской. Токвиль показал, что старый порядок был не только достаточно забыт, но и неизвестен, что его нужно изучать для научного понимания революции, и что для этого нужно идти в архивы, где хранятся деловые бумаги дореволюционной Франции. Архивную работу произвел уже Мишле, но документы, изучавшиеся им, все были из эпохи самой революции, а Токвиль именно указывал — на важность

материала, созданного еще при старом порядке и на него проливающего свет. Это не значит, что до Токвиля во французской исторической литературе так-таки ничего и не было о старом порядке. Напротив, уже были посвященные ему труды, но и неполные, и главное, без общего научного освещения. Здесь можно назвать „Исторические и политические мемуары царствования Людовика XVI от его брака до смерти“<sup>1)</sup> Сулави, современника революции, напечатавшего шеститомный труд свой под указанным заглавием в 1801 году. Хотя он назвал его так, как будто это были действительно только личные воспоминания автора, но на самом деле, как это значит и в подзаголовке, труд этот был составлен на основании „подлинных документов, переданных автору до революции многими министрами и государственными людьми, и оправдательных документов, собранных после 10 августа в кабинетах Людовика XVI в Версале и в Тюйлерийском дворце“. Но весь материал, заключающийся в этом издании, имеет отношение только к придворным и правительственным сферам. Затем, лет через сорок появилась книга Родо „Франция перед революцией“<sup>2)</sup>, представляющая первую попытку систематического описания Франции накануне революции, но и она была довольно поверхностна. Наконец, к этой же литературе относится в те же годы изданная трехтомная „История царствования Людовика XVI“<sup>3)</sup> Дроза, где тоже очень мало сведений о Франции провинциальной, т. е. о всей Франции, кроме Парижа. Были еще специальные монографии, по истории провинциальной администрации во Франции, но они останавливались на 1715 году<sup>4)</sup>, а единственная работа, касающаяся и кануна революции, „История местной администрации“ Дюпена<sup>5)</sup>, была простым учебником. Только с появлением „Старого порядка и революции“ Токвиля начинается действительно научная разработка истории провинциальной администрации во Франции перед революцией, да и других сторон ее

<sup>1)</sup> Soulavie. Memoires historiques et politiques du règne de Louis XVI и т. д.

<sup>2)</sup> Baudol. La France avant la révolution. 1841.

<sup>3)</sup> Droz. Histoire du règne de Louis XVI. 1839 — 1842.

<sup>4)</sup> Daresté de la Chavanne. Hist. de l'administration etc. (1848). — Cheruel. Hist. de l'administration etc. 1835.

<sup>5)</sup> Dupin. Histoire de l'administration locale. 1829.

внутреннего быта <sup>1)</sup>. Изданного архивного материала для изучения предреволюционной эпохи тоже не было <sup>2)</sup>, так что непосредственное обращение Токвиля к административной переписке и другим документам, хранившимся до него в архивах под слудом, тоже представляет собою крупный шаг вперед в историографии старого порядка. Если же мы сравним то, что дал даже Луи Блан для дореволюционной Франции, с тем, что наука получила в этом отношении от Токвиля, то в исключительной важности книги Токвиля не будет ни малейшего сомнения. Притом „Старый порядок и революция“ — труд, важный не только по положенному в основу его фактическому материалу, но и по идейным выводам, сделанным из него автором.

### Токвиль <sup>3)</sup>.

Алексис де-Токвиль был немного моложе Тьера, Минье и Мишле и немного старше Луи Блана, родившись в 1805 году. В отличие от своих товарищей по историографии революции, он был аристократического происхождения. Со стороны отца он принадлежал к старинной графской фамилии, по матери был правнуком Мальзерба, адвоката Людовика XVI перед Конвентом, тоже сложившего голову на эшафоте во время террора. Отец Токвиля, будущего противника административной централизации, занимал место профессора при реставрации, и вся семья была настроена роялистически. Но молодой Токвиль очень рано сделался поклонником политической свободы, находя, что каждый народ, достойный этого имени, должен участвовать в заведывании своими делами, и считая для Франции самую подходящую формой правления конституционную монархию.

Он даже думал, что политическая свобода во Франции лучше всего могла бы быть обеспечена при старшей линии

<sup>1)</sup> В „Провинциальной администрации во Франции в последнюю пору старого порядка“ Павла Ардашева (1900) есть глава, посвященная литературе этого предмета, где указывается на значение труда Токвиля в данной области и о влиянии его на последующие работы, прямо можно сказать, им вызванные (I, 14 — 15).

<sup>2)</sup> Ibid., I, 62 сл.

<sup>3)</sup> О Токвиле De Beaumont (в изд. „Oeuvres“ 1861 г. и отдельно в 1897 г.), Н. Jacques (по нем., 1876), E. Eichthal (по франц. 1897 и русск. перев.), P. Marcel (1910), В. Бутенко в „Вестн. Европы“ за 1910).



Бурбонов, чем при какой-либо династии революционного происхождения. С особым недоверием он относился к демагогии, полагая, что результатом ее может быть только установление абсолютизма. В то же самое время он видел, однако, что современное общество демократизируется, и невольно ставил себе вопрос, каким образом сделать так, чтобы власть, вышедшая из демократии, не стала всемогущею и тираническою, и где найти силу для борьбы с этою властью в обществе, состоящем из людей, хотя и равных друг с другом, но одинаково слабых и немощных.

К июльской революции Токвиль отнесся двойственно: как либерал, он должен был сочувствовать торжеству свободы, но он вовсе не разделял увлечения своих современников насильственным характером переворота. Вскоре после этой революции он задумал посетить С.-Американские Штаты, которые заинтересовали его, как государство, сумевшее сочетать самые демократические учреждения с наибольшим развитием политической свободы. В это время во Франции много говорили о новой пенитенциарной системе, которая незадолго перед тем была введена в Америке, и вот Токвиль с одним из своих друзей подает министру внутренних дел записку, в которой предлагает свои услуги ехать в Америку для изучения новой системы на ее родине. Министерство приняло это предложение, и Токвиль получил командировку. В С.-Американских Штатах он прожил целый год (1831—1832), можно сказать, не теряя ни минуты, чтобы только познакомиться со всеми сторонами американской жизни. Он не только исполнил данное ему официальное поручение, но и собрал громадный материал для всестороннего изучения северо-американской жизни. По возвращении на родину он приступил к печатанию основанной на этом материале книги „Демократия в Америке“, вышедшей в свет в четырех томах (1835—1840).

Этот труд сразу завоевал Токвилю почетное место среди политических писателей. Старый вождь французских либералов, Ройе-Коллар, прочитав книгу, сказал, что „после Монтескье не появлялось ничего подобного“. В публике она встретила сочувственный прием среди людей самого несходного образа мыслей. Каждая партия хотела считать Токвиля своим, так как одни видели в нем аристократа,

другие, наоборот, были уверены, что он демократ. Заглавием „Демократия в Америке“ имела не меньший успех. Сами американцы нередко выражали изумление по поводу того, каким образом иностранец в столь короткое время мог так хорошо изучить чуждые для него нравы и порядки. В Англии имя Токвиля сделалось прямо популярным. Когда он в 1835 г. посетил Лондон, парламентская комиссия, разрабатывавшая вопрос о гарантиях правильности политических выборов, пригласила его в свое заседание. Мнение, высказанное здесь Токвилем, впоследствии в самом парламенте было приведено Робертом Пилем, но на Токвиля ссылались и сторонники противоположной партии. На родине Токвиль получил также большой почет. Его сочинение было „увенчано“ Французской академией, и он сам был выбран в члены Академии моральных и политических наук и во Французской академии сделался „одним из сорока бессмертных“.

Подобного рода успех открывал путь к политической карьере, которая прельщала и самого Токвиля, хотя, как государственный деятель, он далеко оставался позади самого себя, как политического мыслителя. Он не хотел, однако, прибегать к тем некрасивым путем, которыми пользовались в ту эпоху многие кандидаты в депутаты, и более всего стремился к тому, чтобы сохранить полную независимость. В 1837 году он поставил свою кандидатуру в Нормандии, где у него было поместье и где его хорошо знали; с своей стороны, министерство, без ведома самого Токвиля, стало официально поддерживать его кандидатуру. Когда незадолго до выборов он узнал об этом, то горячо протестовал против такой поддержки письмом на имя министра Моле. Результатом этого было то, что Токвиль не попал в депутаты. Только два года спустя, снова поставив свою кандидатуру, он был избран. С этого времени до самой февральской революции он оставался членом палаты депутатов, где постоянно подавал голос с конституционной левой. Не обладая качествами, необходимыми для оратора, он весьма редко появлялся на трибуне и работал преимущественно в комиссиях, в которые его охотно выбирали. Его положение было, однако, особенным.

С одной стороны, он относился с недоверием к характеру, какой имела тогдашняя демократическая оппозиция; с дру-

гой стороны, он сам был человеком слишком беспристрастным и сдержанным, чтобы вносить в свою оппозицию сколько-нибудь увлечения и страсти. Еще в ранней молодости он говорил, что главные человеческие бедствия суть болезни, смерть и сомнение: сомнения было в Токвиле, пожалуй, очень много, что, главным образом, проявилось в замечательной критической и аналитической способности его ума. Вообще он был более способен тонко наблюдать и трезво рассуждать, чем решительно действовать. Читая мемуары Токвиля, где идет речь о 1848 г.<sup>1)</sup>, постоянно встречаешься с этою чертою его духовной природы: он много наблюдал и мало действовал. Вот почему Токвиль так хорошо разгадывал прошлое и так удачно предсказывал будущее, в настоящем же не играл той роли, на которую давали ему право его умственные и нравственные качества. Очень много проницательности обнаружил он во время февральской революции и декабрьского переворота, как и раньше верно определяя, в чем были главные грехи царившей тогда буржуазии. И к демократии он относился критически, понимая, впрочем, что современное общество неудержимо развивается как-раз в демократическом направлении. Главным для него вопросом было, что делать, дабы это движение не оказалось пагубным для политической свободы, как то было во времена Робеспьера и Наполеона.

„Великий демократический переворот, говорит Токвиль в самом начале „Демократии в Америке“, совершается между нами: все его видят, но не все одинаково судят о нем. Одни видят в нем новость, считая его случайностью, надеются еще остановить его, между тем как другие признают его неотвратимым, потому что он кажется им фактом самым непрерывным и постоянным из известных в истории“. Становясь сам на вторую точку зрения, он спрашивает, разумно-ли предполагать, чтобы это движение могло быть приостановлено усилиями одного поколения. „Можно ли думать, что, разрушивши феодальный строй и победивши королей, демократия отступит пред буржуазией и богатым классом? Остановится ли она теперь, когда она сделалась столь сильною, а ее противники столь слабыми?“ Токвиль признается, что вся „его книга была написана под впечатлением некоторого рода

<sup>1)</sup> Есть в русск. перев.

религиозного ужаса, произведенного в его душе видом этой неудержимой революции, которая совершается в течение стольких веков, несмотря на все препятствия, и которая и теперь видимо подвигается вперед среди производимого ею разрушения“. Совершенно новому обществу, говорит он далее, нужна и новая политическая наука, но „никогда главы государства не подумали о том, чтобы подготовить что-нибудь заранее к этой великой общественной революции: она делалась вопреки им или помимо их. Наиболее могущественные, интеллигентные и правдивые классы народа не старались овладеть движением, чтобы его направить. Демократия, следовательно, была предоставлена своим диким инстинктам; она выросла, как те дети, лишенные родительских забот, которые сами собой воспитываются на улицах наших городов и знают из общественной жизни только ее пороки и слабости. Казалось, прибавляет он, еще никто не знал об ее существовании, когда она неожиданно захватила в свои руки власть. Тогда все рабски подчинилось ее малейшим желаниям; перед ней преклонились, как перед образом силы, и когда, наконец, она была ослаблена собственными излишествами, то законодатели задались безрассудною целью уничтожить ее, вместо того, чтобы постараться научить ее и исправить, и, не желая обучить ее управлению, думали лишь о том, чтобы удалить ее от управления“. Токвиль указывает и на результат, который отсюда должен был получиться: „демократическая революция произошла в составе общества, а между тем ни в законах, ни в понятиях, ни в нравах и обычаях не произошло перемены, необходимой для того, чтобы сделать эту революцию полезной. Таким образом, заключает он, у нас есть демократия, но без того, что могло бы ослабить ее пороки и выдвинуть вперед ее естественные преимущества; поэтому уже видя причиняемое ею зло, мы незнакомы еще с тем добром, которое она нам может дать“.

Говорить так о демократии, как говорит Токвиль, конечно, не мог бы завзятый аристократ. У Токвиля было много беспристрастия. „Может быть, — заявляет он в начале третьего тома, — может быть покажется страшным, что, имея твердое убеждение в том, что демократическая революция, при которой мы присутствуем, есть факт неизбежный, бороться с которым

было бы неблагоприятно и нежелательно, в то же время я часто обращаюсь в этой книге с очень строгими рассуждениями к демократическим обществам, созданным этой революцией. На это я отвечаю просто, что именно потому, что я не противник демократии, я и желал быть искренним относительно нее. Люди не принимают истины от своих врагов, а друзья никогда им ее не предлагают; вот почему я ее высказал. Я думал, что многие возмутся говорить о новых благах, которые обещают людям равенство, но немногие осмелятся издать указание на опасности, которыми оно им угрожает. Поэтому я обратил преимущественное внимание на эти опасности и, видя их, как мне казалось, ясно, я не был настолько малодушен, чтобы умолчать о них“.

Токвиль писал об Америке, но мысль его постоянно обращалась в Европе. Он называл слепцами тех, которые думали, что можно вернуться к монархии Генриха IV и Людовика XIV. Для европейских обществ возможны или демократическая свобода, или тирания цезарей. Перед правящими классами альтернатива — или постепенно поднять толпу до себя, или допустить падение всех граждан ниже человеческого уровня. „Не следовало ли бы, — спрашивает Токвиль в одном месте, — признать постепенное развитие демократических учреждений и прав не лучшим, а единственным средством, остающимся у нас для того, чтобы мы могли быть свободными, не имея любви к демократическому правлению, и не были ли бы мы склонны принять его в качестве лекарства, наиболее применимого и наиболее безупречного, которое может быть противопоставлено валичным бедствиям общества? Воля демократии изменчива; ее исполнители грубы; ее законы несовершенны, я соглашаюсь со всем этим, но если бы оказалось верным, что скоро не будет ничего среднего между господством демократии и владычеством одного, то не следовало ли бы нам скорее склониться к первому, чем добровольно подчиниться второму? И если бы, наконец, мы должны были придти к полному равенству, то не лучше ли предоставить себя уравнивать свободе, чем деспотизму? И к этим вопросам Токвиль присоединяет свое опасение, что если французам не удастся основать у себя мирное господство большинства, то рано или поздно они придут к неограниченному господству одного.

То, чего, таким образом, опасался Токвиль, и произошло, когда французская нация подавляющим большинством голосов одобрила узурпацию 2 декабря и признала самого узурпатора своим императором. В современных обществах Токвиль видел тенденцию к усилению власти, хотя бы сама власть и делалась менее прочною. Пока, по его представлению, демократия боролась против аристократических учреждений, она была одушевлена стремлением к независимости, но победа равенства влекла за собой усиление и централизацию власти. Французы хотели быть свободными для того, чтобы сделаться равными, но по мере того, как равенство все более утверждалось посредством свободы, оно же затрудняло для них пользование свободой. Своей революцией они показали миру пример „и того, каким способом приобретает независимость, и того, как она теряется“. Токвиль видел еще, что народы склонны к беспорядку, но не видел, чтобы они были склонны к свободе, и высказывал опасение, что „когда кончатся волнения, колеблющие троны, верховные правители окажутся только сильнее“. В старые времена свобода имела аристократические формы, но впредь это невозможно. Остается, значит, одна демократия, но для того, чтобы она могла организовать свободу, нужна наличность условий, которые Токвиль находил в Америке, но не находил на родине.

Токвиль признавал, что „стремление людей к свободе и любовь к равенству — две вещи различные“. У европейских народов равенство, над которым потрудились абсолютная монархия, шло впереди свободы. „Оно имело уже за собой прошлое, когда свобода была еще новизной; первое уже успело создать соответствующие мнения, обычаи, законы, когда вторая сама только появилась на свет в первый раз“. Современники хотят „равенства со свободой, но если им это недоступно, то хотят его даже в рабстве“. Если в Америке процветает свобода, то этим она обязана отсутствию централизации, развитию всех степеней самоуправления, особенно общинного, и обязана своим правам, вообще тому, что американцы не сделались, а родились равными.

Токвиль писал „Демократию в Америке“, как он заявляет, „не имея в виду ни помогать, ни противодействовать какой-либо партии“: „я, поясняет он, хотел видеть не

иначе, чем видят партии, но дальше их, и в то время, как они заботятся о завтрашнем дне, я желал подумать о будущности". Но в „Демократии в Америке“ он оставался исключительно на политической почве, не касаясь социальных отношений, и только позднее, в своих „Воспоминаниях“ (уже в пятидесятых годах) отметил распадение нации на буржуазию и народ и коснулся социального вопроса. „По мере того, писал он здесь, как я все более и более изучаю прежнее состояние света и подробно вникаю в теперешний порядок вещей, рассматривая разнообразные формы, какие принимало и даже в настоящее время имеет на земле право собственности, мне все более хочется думать, что так называемые необходимые учреждения весьма часто суть только учреждения, к которым мы привыкли, и что в деле общественного устройства область возможного гораздо обширнее, нежели воображают люди, живущие в каждом обществе“.

Эти выдержки из „Демократии в Америке“ нужно было сделать, чтобы облегчить понимание того политического миросозерцания, с точки зрения которого Токвиль отнесся к французской революции. Он видел ее политическую необходимость, но, не будучи сам демократом, опасался демократии, как возможной опоры для абсолютной власти, любя же свободу, имевшую прежде аристократические формы, более уже в мире существовать не могущие, искал тех способов, при которых могли бы сочетаться свобода с равенством. Французская революция была стремлением к тому и другому, но, в конце концов, привела к равенству под господством одного, не осуществив свободы. Почему же это произошло?

Политическая деятельность Токвиля, который одно время был министром, окончилась еще ранее государственного переворота 2 декабря. Последние годы своей жизни он прожил частным человеком, работая над своим трудом, который остался неоконченным. То, что мы теперь имеем под заглавием „Старый порядок и революция“, представляет собой только первую часть гораздо большего целого, из которого написано было еще начало второй части, не доведенной до конца со смертью автора. В том издании, на которые делаются дальше ссылки <sup>1)</sup>, текст занимает, кроме

<sup>1)</sup> L'ancien régime et la révolution (Oeuvres complètes de Alexis de Tocqueville. 3<sup>e</sup> édition. 1866). Стр. XIV+312 с Appendice et notes (стр. 313—441).

краткого предисловия (avant-propos) и приложений, только 312 страниц, да и то весьма часто неполных, а в русском переводе <sup>1)</sup>— даже только 225. В самом же начале предисловия Токвиль говорит, что его книга не история революции, но только эгюд о ней, а в конце указывает, однако, на то, что работы над нею было много.

„Я, говорит он, могу, кажется, сказать без похвальбы, что книга, которую я предлагаю в настоящую минуту читателям, представляет результат очень большого труда. Найдутся в ней коротенькие главы, которые стоили мне по году изысканий и больше“. С целью проникнуть в сердце старого порядка Токвиль, „не только перечитал знаменитые сочинения XVIII века,“ но и познакомился с „теми многочисленными книгами, которые менее известны и менее заслуживают известности, но, будучи искусно составлены, тем явственнее, может быть, обнаруживают действительные инстинкты времени“. Далее, он имел в своем распоряжении „все официальные документы, в которых французы могли, при приближении революции, высказать свои мнения и вкусы“. Здесь он имеет в виду протоколы старинных провинциальных штатов и более поздних провинциальных собраний, учрежденных при Людовике XVI. Далее, многое извлек он из наказов 1789 года, которыми пользовался, судя по его словам, в копиях, хранящихся в ряде рукописных томов в Национальном Архиве. Это те самые книги, которые, думаю я, потом были изданы в первых томах первой серии „Archives Parlementaires“. Наконец, он употребил очень много времени на изучение того, что осталось частью в Париже, частью в различных провинциях, от административной переписки.

„В XVIII веке, читаем мы в том же предисловии, государственная администрация была уже очень централизована, очень могущественна, необычайно деятельна. Она беспрестанно помогала, препятствовала, дозволяла. Она много могла обещать и многое дать. Она уже влияла тысячами способов не только на общий ход дел, но и на частную жизнь каждого отдельного лица. Вдобавок, она была чужда гласности,

<sup>1)</sup> Имею в виду русск. пер. под ред. П. Г. Виноградова (1896). Основная часть книги стр. 8—282. Пользуясь этим переводом, не делаю ссылок на страницы ни оригинала, ни перевода, а на „книги“ и главы.



вследствие чего люди не боялись открывать ее глазам самые тайные свои затруднения и беды". Токвиль прибавляет, что, работая над документами этой дореволюционной администрации, он приобретал очень точное знакомство с ее действиями, а кроме того, перед ним открывалась вся жизнь страны. Благодаря пользованию таким материалом, протоколами, наказами, административной перепиской и т. п., старый порядок, по словам самого Токвиля „предстал перед ним, как живой, со всеми своими идеями, страстями, предрассудками и обычаями. Таким образом, говорит он еще, я приобрел о старом обществе много сведений, которых не было у современников, потому что у меня перед глазами было то, что никогда не открывалось их взорам". Кое-что, подалеку не все из этого материала приведено было Токвилем в приложении в примечаниях к тексту, но без более точных указаний на отдельные источники. Это очень жаль.

Материал, легший в основу книги, был нов, но и нова была точка зрения, изложенная все в том же предисловии. На самой первой его странице мы читаем следующие строки: „в 1789 году французы совершили величайшее из всех, когда-либо сделанных народами, усилий для того, чтобы отрезать себя от своего прошлого и отделить бездной то, чем они были, от того, чем они желали быть впредь. С этой целью они приняли всевозможные предосторожности, чтобы не перевести чего-нибудь из прошлого в свое новое положение; они всячески насильствовали себя, чтобы сделать себя непохожими на своих отцов; словом, они сделали все, чтобы стать неузнаваемыми. Я, продолжает Токвиль, всегда был того мнения, что они гораздо менее успели в этом своеобразном предприятии, чем могло казаться со стороны, и чем сами они думали первоначально. Я был убежден, что, сами того не зная, они удержали из старого порядка большую часть чувств, привычек и даже идей с помощью которых они вели революцию, разрушившую этот порядок, и что самі того не желая, они воспользовались его обломками для постройки здания нового общества, так что для того, чтобы хорошо понять и революцию, и ее творение (son oeuvre), мне было необходимо на мгновение забыть Францию, какою мы ее видим теперь, и вызвать из могилы другую Францию, — ту, которой уже нет“.

Исполнить это Токвиллю казалось не так-то легко. Если средневековая Франция уже достаточно хорошо была исследована историками, то для XVIII века в середине XIX столетия этого совсем еще не было сделано. О том, как действовали учреждения и велись дела, каковы были отношения между общественными классами, какие в них преобладали мнения, господствовали нравы, существовали учреждения, правильно замечает Токвиль, были лишь смутные и ошибочные представления. Ему пришлось искать самый материал, который сделал бы возможным узнать все это. И вот он погрузился в чтение остававшихся до него неизвестными документов.

Что же он там нашел, в глубине архивов? Опять в том же необычайно содержательном предисловии Токвиль сообщает нам, что, подвигаясь в своем исследовании, он только „удивлялся, встречая на каждом шагу во Франции того времени огромное количество черт, поражающих его в современной ему Франции. Я, поясняет он, — находил множество понятий, которые раньше считал порождением революции, множество идей, исходивших, как мне казалось, от нее одной, тысячу привычек, которые, по общему мнению, дала нам только она; я повсюду находил корни современного общества, глубоко выросшими в эту старую почву“. Мало-по-малу перед глазами историка „открывалась, выражаясь его собственными словами, физиономия этой революции“, то, что он иначе называет ее духом, ее темпераментом, ее гением. Революция представлялась ему при этом разделенною на два фазиса: в первом французы хотели все уничтожить в своем прошлом, а во втором они из прошлого взяли часть того, что ими было покинуто.

Отсюда понятна самая задача, которую себе поставил автор „Старого порядка и революции“. Задачу свою он формулировал так: „объяснить, почему эта великая революция, подготовлявшаяся одновременно на всем материке Европы, вспыхнула во Франции раньше, чем в других местах, почему она как будто сама собой вышла из общества, которое ей предстояло разрушить, и, наконец, как могла старая монархия пасть так окончательно и так внезапно“. Эта задача и исполнена в имеющейся у нас части всего задуманного Токвиллем исследования. Дальнейший план его состоял в том, чтобы через все привратности этой длинной революции проследить, как эти французы старого порядка преобразуются,

оставаясь, однако, верными своей природе, и „являются с несколько отличной, но всегда узнаваемой физиономией“. Это Токвилю не удалось исполнить, а между тем за вторую часть труда должна была следовать третья — рассмотрение нового общества, „в чем оно похоже на предшествующее и в чем отлично от него, что французы потеряли в этой громадной всеобщей смуте (*cet immense mouvement de toutes choses*) и что выиграли в ней“, а в заключение предполагалось сделать попытку предсказания будущего.

Итак, Токвиль хотел написать большой труд по схеме: старый порядок, революция, новое общество. Мы видим, что он ставит вопросы, а не выставляет тезисы, т. е. поступает, как настоящий исследователь, не предвешая ответов на свои вопросы, ищущий причины, но не оценивающий результаты, а где и оценивающий, то ставящий вопрос о могущих оказаться при этом выигрышах, и проигрышах. Токвиль есть именно холодный, спокойный, беспристрастный исследователь прошлого, хотя и имеющий в виду настоящее и даже будущее. Он сам так характеризует себя: „я надеюсь, что настоящая книга написана беспристрастно. И едва ли позволительно французу ничего не чувствовать, когда он говорит о своей стране и думает о своем времени... Моею целью было нарисовать такую картину, которая была бы строго точна и в то же время могла бы сделаться поучительной... Я сознаюсь, что меня не останавливала боязнь оскорбить то или другое лицо, тот или другой класс общества, те или другие мнения и воспоминания, как бы они ни были почтенны, если это оказалось необходимым для выполнения моей задачи. Пусть те, кому я таким образом мог быть неприятен, извинят меня в виду той бескорыстной и честной цели, к которой я стремлюсь“. И к этим словам Токвиль прибавляет еще: „многие, может быть, обвинят меня в том, что я в этой книге высказываю совершенно несвоевременную любовь (*un goût intempestif*) к свободе, до которой, как меня уверяют, никому теперь нет дела во Франции“. Он только просит вспомнить, что эта склонность существует у него очень давно и что еще за двадцать лет в другой книге и о другом обществе он говорил то же самое, что повторяет и теперь. Токвиль приводит здесь основные мысли „Демократии в Америке“ и заключает эту часть предисловия

словами: „так как свое хорошее мнение о свободе я высказал, когда она была в милости, надеюсь, не покажется предосудительным, что я упорствую в этом мнении теперь, когда свободу отвергают“.

Нужно иметь в виду, что это писалось в самый мрачный период реакции, выразившейся в произвольном режиме Наполеона III. „Где тот человек, читаем мы еще здесь, который от природы был бы так низок душой, что, считая нацию способной сделать хорошее употребление из своей свободы, предпочтет зависеть от чужого усмотрения и каприза... Можно с полным правом сказать, что расположение, обнаруживаемое к абсолютному правительству, находится в точном соответствии с презрением, испытываемым к родной стране“.

Конечно, нельзя не пожалеть, что от самого Токвиля мы не узнали, как он смотрел на самый ход революции, но в том же предисловии есть несколько строк, где основной свой взгляд он все-таки высказывает.

В этих строках, намечая содержание оставшихся не написанными частей труда, Токвиль говорит, что в первоначальной эпохе 1789 года „равенство и свобода были одинаково дороги сердцу“ французов, что они хотели создать тогда „не только демократические, но и свободные учреждения, не только разрушить привилегии, но и санкционировать права“, что это было „время молодости, энтузиазма, гордости, великодушия и искренних страстей“. Память об этом времени, прибавляет он, „несмотря на все его ошибки, люди сохраняют навсегда“, и оно еще „очень долго будет тревожить сон всех тех, кто захочет подкупить и поработить“ общество. Повидимому, на этой эпохе Токвиль не думал задержаться, потому что его больше интересовал вопрос: „какими событиями ошибками и разочарованиями те же французы были приведены к тому, что покинули свою первоначальную цель и, забыв о свободе, пожелали сделаться только равными рабами властителя мира?“ Правительство Наполеона I, не называя его по имени, Токвиль характеризует, как „более сильное и гораздо более абсолютное, нежели то, которое было низвергнуто революцией“, как „захватившее все вольности, купленные такою дорогою ценою“ и „отнявшее у нации все средства самоуправления“, равно как „основные гарантии права, свободы мысли, слова и печати“, т. е. все, что по

призванию самого Токвиля, было „самою драгоценною и благородною в победах 89 года“. В другом месте он говорит еще, что ставил себе вопрос не только „о недуге, от которого погиб больной, но и об условиях, при каких он мог бы избегнуть смерти“.

Выше было отмечено, что Токвиль собирался предсказать и будущее. Уже в „Демократии в Америке“ он выступал пророком, оказавшимся правым. Здесь он еще раз повторяет мысль свою о неудержимой силе, „мчащей людей к уничтожению аристократии“, об особой трудности надолго избежать абсолютного правительства демократическим обществам „и об особой гибельности деспотизма“ именно в них, поскольку деспотизм способствует развитию всех пороков, каким такие общества подвержены, содействуя усилению в людях узкого индивидуализма, распыляя граждан, приучая к наживе, поощряя расслабляющие общества страсти. Средство против этого недуга, на самом деле овладевшего нацией при Наполеоне III, когда писалась книга Токвиля, автор видит только в свободе. „Общий уровень сердец и умов никогда не перестанет понижаться, пока равенство и деспотизм будут в них соединены“.

Предисловие к „Старому порядку и революции“, так широко использованное на предыдущих страницах<sup>1)</sup>, имеет несомненный публицистический характер, целиком притом объясняющийся зрелищем нации, поработенной новым деспотом, но из оценки Токвилем современности вытекла несомненно научная задача, как это произошло: уже в самом начале революции, как мы видели, Мунье ставит вопрос о том, что помешало французам сделаться свободными<sup>2)</sup>; в сущности, тот же вопрос поставил себе Токвиль, но придав ему не публицистический, а научно-исторический характер.

Общее содержание его книги таково, причем отмечаются дальше отдельные части и их главы, и приводятся большею частью выражения самого Токвиля. Обзор противоречивые суждения, произнесенные о революции при ее возникновении (I, 1), Токвиль доказывает, что основною и конечною целью (*objet fondamental et final*) революции не было,

<sup>1)</sup> Ссылка на страницы я не делал, потому что они слишком испестрились бы текст при полном отступлении от токвилевского порядка развития мысли

<sup>2)</sup> См. часть I, стр. 27.

как это думали, разрушение религиозной и обессиление политической власти (I, 2). Он говорит здесь, что предсказание Бёрка о будущем обессилении и даже как-бы уничтожении Франции не исполнилось. Произошло совсем наоборот: революция создала громадную центральную власть, подобной которой мир не видел со времени падения Римской Империи. Дальше Токвиль отмечает ту особенность французской революции, что, будучи политической, она в своих приемах походила на религиозную (I, 3). Все революции, говорит здесь он, как гражданские, так и политические, имели свое отечество и замыкались в нем. У французской революции не было определенной территории... „Переройте летописи всех народов, — вы не найдете ни одной политической революции, которая имела бы подобный характер: этот характер вы встретите только в некоторых религиозных революциях“. Французская революция не только подобно им проникает на далекие расстояния, но подобно им же распространяется посредством проповеди и пропаганды. Обычное свойство религий — рассматривать человека в самом себе, а не в его национальных определениях, но ведь и французская революция рассматривала гражданина отвлеченно, вне всякого определенного общества. И, конечно, успех этой пропаганды объясняется тем, что почти вся Европа имела совершенно одинаковые учреждения, притом постепенно падавшие (I, 4). „Я, говорит Токвиль, имел случай ознакомиться с средневековыми учреждениями Франции, Англии и Германии и, подвигаясь вперед в своей работе, все более изумлялся при виде поразительного сходства, обнаруживающегося между этими законодательствами“. Очень коротко, но и весьма вышукло он характеризует эти учреждения, ибо это ему было нужно для лучшего понимания всего последующего: „кто изучал и видел только Францию, поясняет он свою мысль, тот, скажу смело, никогда ничего не поймет во французской революции“.

В отдельной главе (I, 5) Токвиль коротко определяет, что же, собственно говоря, сделала революция. Он отрицает, чтобы ее целью было разрушить религиозные верования, ибо, вопреки тому, что он называет внешностью, она была революцией и политической, да и в кругу учреждений этого последнего рода она вовсе не стремилась сделать бес-

порядок постоянным и обратить анархию в общее правило, как выразился один из ее главных противников, а напротив, заботилась об увеличении могущества и прав государственной власти. За результат революции Токвиль признает только отмену тех политических учреждений, которые в течение многих веков нераздельно господствовали в большей части европейских народов и известны под названием феодальных, и водворение на их место более однообразного и простого порядка, основанного на равенстве. Феодальные учреждения так срослись с политическими и религиозными законами Европы, с идеями, чувствованиями, привычками и нравами, что только страшным судорожным порывом (*affreuse convulsion*) могла быть разорвана эта связь. Потому революция должна была показаться современникам еще более огромною, нежели она была на самом деле. Токвиль находит справедливым сказать, что она разрушила и еще разрушает, в сущности, продолжалась, все то, что в старом обществе вытекало из аристократических и феодальных учреждений, что так или иначе связывалось с ними, что в какой бы то ни было степени носило малейший их отпечаток. Из прежнего она сохранила только то, что всегда было чуждо этим учреждениям и могло существовать без них. Если ею мир был достигнут врасплох, то на деле она была лишь завершением более продолжительной работы, стремительным и бурным окончанием дела, над которым трудилось десять поколений. Токвиль уверен, что если бы она и не произошла, старое общественное здание, все равно, пало бы, где раньше, где позже, но только распадалось бы постепенно, вместо того, чтобы рухнуть сразу. Он удивляется, как это столь ясное соображение так долго не приходило в голову самых проницательных умов.

Подчеркивая общеевропейский, универсальный характер революции и вместе с тем длительность процесса ее подготовки, Токвиль ставил далее вопрос, почему же эта революция началась во Франции и почему во Франции она имела некоторые такие черты, каких нигде больше не было или которые в других местах обнаруживались нецелно. Отвечая на этот вопрос, он объясняет, почему во Франции феодальные права, сравнительно с другими странами бывшие наименее тяжкими, стали ненавистны народу в гораздо большей

степени, нежели у соседей (II, 1). В ней крестьянин перестал быть крепостным и даже сделался земельным собственником. Токвиль разрушает здесь господствовавший прежде взгляд, по которому раздробление земельной собственности во Франции ведет свое начало от революции и произведено ею одною. Он доказал ошибочность этого мнения, вместе с тем выяснив значение революции, как события, освободившего крестьянскую собственность от всех стеснений феодального происхождения. Правда, революция распродала все земли духовенства и значительную часть дворянских, но Токвиль заглянул и в некоторые акты распродажи, чтобы сказать, что не крестьяне были главными покупателями, а люди, уже имевшие землю. Целый важный научный вопрос был здесь поднят Токвилем,—вопрос, потом породивший целую литературу. По вопросу о том, как управлялись деревни, Токвиль также высказал новый взгляд, показавши, что помещик в XVIII столетии превратился не более, как в „первого обывателя“. Здесь же, в этой главе, он рассматривает, какие феодальные права продолжали существовать во Франции в 1789 году. Весь сельский быт старого порядка получил у Токвиля совершенно новое освещение. Феодализм во Франции оставался в урезанном виде, и разрушение одной части средневековых учреждений во сто раз увеличивало ненависть к той их доле, которая оставалась в силе.

Как не революции обязана была Франция развитием мелкой собственности, так, далее, и административная централизация, по изысканиям Токвиля, оказалась учреждением старого порядка, а не революции или империи, как это говорили (II, 2). Не называя Тьера, он приводит его слова об административной централизации, как „прекрасном завоевании, которому завидует вся Европа“. Токвиль, с своей точки зрения на такой предмет зависти, иронически соглашается с тем, что это—прекрасная вещь, но убедительнейшим образом доказывает, что это—наследие старого порядка и, вдобавок, единственная его часть, пережившая революцию, благодаря тому, что могла приспособиться к новому общественному строю, созданному этой революцией. Равным образом, и так называемая правительственная опека, как показал Токвиль, есть учреждение старого порядка (II, 3). „При старом порядке, как и в наши дни, говорит он, во Франции не было



города, местечка, или даже самой маленькой деревушки, больницы, фабрики, монастыря или коллежа, которые смели бы иметь независимую волю в своих частных делах или управлять по своему желанию своим собственным имуществом". Такими же учреждениями старого порядка Токвиль, совершенно правильно, признал административную юстицию и судебные изъятия в пользу чиновников (II, 4). На деле оказалось, что демократическая революция разрушившая столько учреждений старого порядка, только упрочила централизацию, которая и стала казаться одним из созданий революции (II, 5). Если деятели 1789 года разрушили здание прежней централизации, то его основа осталась цела в душе самых разрушителей, на основе же этой, оказалось возможным сразу воздвигнуть его вновь и дать ему такую прочность, какой оно ранее никогда не имело (II, 6). В этом же направлении оказало свое действие и то обстоятельство, что уже при старом порядке во Франции столица успела приобрести такой перевес над провинциями и поглощала соки всего государства в такой степени, как нигде в Европе (II, 7). Париж стал хозяином Франции, а в нем уже собиралась армия рабочих, которой суждено было приобрести господство над Парижем. Административная централизация и всемогущество столицы значительно содействовали падению всех правительств, сменявших друг друга. Если принять в расчет то, как Токвиль смотрел на правительственную централизацию с точки зрения интереса политической свободы, будет понятно, в чем он видел одну из причин того, что свобода во Франции не удалась.

Свойством единоличного правления Токвиль считал еще способность его нивелировать людей, делать их похожими друг на друга и, вместе с тем, равнодушными к судьбе друг друга. И это влияние абсолютизма вскрывает он в обществе старого порядка, называя Францию страной, в которой люди стали наиболее похожи друг на друга (II, 8), хотя, в то же время, эти похожие друг на друга люди, благодаря феодальным учреждениям, более, чем когда-либо и даже где-либо, делились на маленькие группы, взаимно чуждые и равнодушные одни к другим (II, 9). В связи с этим, Токвиль и рассматривает те привилегии, которые сделались столь ненавистными для большинства населения Франции. Все эти

перегородки, разделявшие похожих между собой людей, им самим казались противными как общественному интересу, так и здравому смыслу, и они в теории уже боготворили единство. Каждый из них держался своего особого состояния потому, что и другие также обособлялись своим состоянием, но все они были готовы смешаться в одну массу, под условием, чтобы никто ни в чем не стоял отдельно от других и не выделялся таким образом из общего уровня.

В уничтожении абсолютизмом политической свободы и в разобщении классов Токвиль усматривает причины почти всех общественных недугов, разрушивших старый порядок (II, 10). Абсолютное правительство, боясь, как бы нация не потребовала возвращения своей свободы, всячески старалась разобщать людей и классы. Оказалось, что разединить их было гораздо легче, чем снова их соединить. Когда, во время революции, различные классы общества пришли в соприкосновение после долгого и глубокого разобщения, они коснулись друг друга своими большими сторонами и встретились лишь для того, чтобы начать междоусобие.

Однако, в этом старом порядке, бывшем отрицанием свободы, Токвиль обнаруживает своеобразную свободу, по его убеждению, оказавшую влияние на революцию (II, 11). Поощренные этим правительством учреждения, старые обычаи и нравы и даже злоупотребления стесняли свободу его действий, поддерживая вместе с тем, в душе большего числа личностей, дух сопротивления и многим характерам обеспечивали устойчивость и яркость. Только все существовавшие в обществе преграды для абсолютизма административной централизации имели аристократический или корпоративный характер. Лишь один народ и особенно сельский люд почти никогда не имел возможности иначе противиться угнетению, как путем насилия, потому что ему была недоступна большая часть легальных средств к самозащите. Мало того. Токвиль находит, что французам XVIII века была совершенно чужда унижительная форма рабства, потому что они не знали подчинения незаконной или спорной власти, мало вызывающей уважения, часто презираемой, но которой охотно покоряются, как оказывающей услуги или могущей вредить. Эту свободу, существовавшую в старом порядке, Токвиль называет своеобразною, неправильною, перемежающеюся,

всегда ограниченной пределами классов, всегда связанной с идеею изъятий и привилегий, дозволявших почти столько же презирать закон, как и произвол, свободою, которая не распространяла на всех граждан хотя бы самых естественных и необходимых гарантий. Даже свободу в таком с ущемленным и обезоруженным виде он признаёт плодотворной. Благодаря ей, сложились сильные души, гордые и отважные умы, появляющиеся в эпоху революции, делая ее предметом и удивления и ужаса. Было бы очень странно, по словам Токвиля, если бы такие мужественные характеры могли развиваться в обществе, утратившем чувство свободы, но в то же время он находит, что этот особый род беспорядочной и нездоровой свободы, готовя французам к низвержению деспотизма, делал их всего менее способными к водворению на его месте мирного и свободного господства законов.

Только положение французского крестьянина, по Токвилю, в XVIII веке порою бывало хуже, нежели даже в средние века (II, 12). Остальные классы отделились от народа, и он был так одинок, как едва ли бывал когда-либо крестьянин в других странах. В ярких чертах автор „Старого порядка и революции“ рисует то угнетение, в каком находился сельский люд Франции, между прочим, со стороны государства.

Изобразив таким образом внутреннее состояние французской нации перед революцией, чего до того времени не делал ни один историк, Токвиль переходит к тому, что можно назвать революционным воспитанием нации в последнюю пору старого порядка. Прежде всего он рассматривает, каким образом около середины XVIII века литераторы (*les hommes de lettres*) сделались главными государственными людьми во Франции и какие были последствия этого обстоятельства (III, 1). Он превосходно характеризует новое направление, принятое французской литературой в середине века, ее политический, но вместе с тем отвлеченный и чисто книжный характер. При крайнем разнообразии мнений у всех писателей была общая черта: все они думали, что на место многосложных и традиционных обычаев, правивших современным им обществом, нужно было поставить простые и элементарные правила, почерпнутые в разуме и в естественном праве или законе природы. Самое удаление писателей от практики жизни делало их отвлеченными и мало понимавшими реальные условия

общественного существования, но и читатели их находились в таком же положении. Все политические страсти облеклись в философский наряд, политика стала предметом ожесточенных прений в литературе, и писатели, приняв на себя руководство общественным мнением, заняли такое место, какое в свободных странах обыкновенно занимают вожди политических партий, люди жизненной практики, а не отвлеченной теории. Как и в других местах, Токвиль сравнивает французские отношения с английскими, а в Англии нельзя было отделить политических писателей от государственных деятелей, которые во Франции были отделены одни от других пропастью. То обстоятельство, что все политическое воспитание великого народа было целиком выполнено литераторами, было едва ли, по мнению Токвиля, не главной причиною, сообщившею французской революции ее особый дух. Между прочим, он отмечает влияние этой литературы на наказания 1789 года, которыми занялся в своей книге и по другому поводу. Особому рассмотрению подверг Токвиль и неверие, ставшее общею и преобладающею страстью у французов XVIII века (III, 2). Страшный вид, какой получила революция, он объясняет из этого источника, хотя одного неверия не коснулось — веры в самих себя. Французы, совершившие революцию, ни на одну минуту не сомневались в своем призвании преобразовать общество и возродить человеческий род, что сделалось для них как-бы новой религией. „Я, говорит по этому поводу Токвиль, долго изучал историю, смею утверждать, я не знаю другой революции, с самого начала которой такая масса людей проявила бы такой искренний патриотизм, столько бескорыстия, столько истинного величия“.

Но главный недостаток Токвиль усмотрел в том, что французы стремились к реформам раньше, чем стали желать вольностей (III, 3). Из всех идей и чувств, подготовивших революцию, идея политической свободы в собственном смысле и любовь к ней явились последними и первыми исчезли. Находя, что физиократы выступили в истории с меньшим блеском, чем философы, и менее, чем последние способствовали наступлению революции, Токвиль думает, что именно по их сочинениям лучше всего ознакомиться с ее истинным характером. В их книгах сказывается демократический и революционный дух, но они так увлечены равенством, что готовы

ему поклоняться даже в рабстве. Они требовали не уничтожения абсолютной власти, а обращения ее на путь истины. Нация, утратив политическую свободу, разучилась ее ценить и забыла о ней, желая реформ больше, чем прав. Так было еще в 1750 году, но через двадцать лет образ политической свободы открылся французам и с каждым днем все сильнее влек их к себе. Французы уже не ограничивались желанием, чтобы дела их велись более удовлетворительно: они испытывали желание вести их сами, и с этого момента стал неизбежным радикальный переворот. Народ, так плохо подготовленный к самостоятельной деятельности, должен был все разрушить. Абсолютный монарх, думает Токвиль, был бы менее опасным новатором, а революция, будучи совершена деспотом, не оставила бы французов настолько неспособными сделаться со временем свободною нацией, какими они стали после революции, совершенной во имя народного верховенства и самим народом. К тому времени, когда у них пробудилась любовь к политической свободе, они уже усвоили себе по вопросам государственного управления целый ряд таких понятий, которые не только не согласовались легко с существовавшим свободным учреждениям, но были почти и враждебны им. Нация, как целое, получала права в верховной власти, но каждый гражданин подчинялся самой гнетущей зависимости при развитии единой и всемогущей администрации, правящей государством и опекающей частных лиц. Желание ввести политическую свободу в круг таких учреждений и понятий, которые были чужды и враждебны ей, но в которых французы привыкли, и привело к тщетным попыткам установить конституционное правление, — попыткам, сопровождавшимся революциями, пока, утомившись и сделавшись равнодушными к свободе, множество французов примирилось с мыслью, что пользоваться равенством под властью одного повелителя имеет свою прелесть. Кто ищет в свободе чего-либо другого, а не ее самой, тот создан для рабства.

В числе главных тезисов труда Токвиля был еще и тот, что царствование Людовика XVI было наиболее благополучною эпохою старой монархии, и что именно это самое благополучие приблизило революцию (III, 4). Рассуждая на эту тему, он подошел близко к экономической истории эпохи, которую до него историки пренебрегали. Рядом с развитием

материального благосостояния, сделавшим нацию более требовательною, и само правительство, а особенно просвещенные классы, стали более думать об облегчении народа, говорить о необходимости этого облегчения и тем самым подготавливать его к восстанию (III, 5). Энтузиазм просвещенных классов, вдохновлявшихся и приводившихся к революции бескорыстными верованиями и великодушными симпатиями, довершил действие тех причин, которые зажгли гнев и возмездия народной массы. Токвиль добавляет к этим соображениям и то еще, что самим правительством было довершено революционное воспитание народа внедрением в умы народа идей, враждебных личности, противных частным правам и благоприятных (amis) для насилия (III, 6). Кроткое и прочно стоявшее правительство, пользуясь произвольной властью, изо дня в день, как выражается Токвиль, преподавало своими действиями кодекс преступности, пригодный для времен революции и наиболее удобный для тирании. Токвиль прямо утверждает, что многие из приемов, применявшихся революционным правительством, имели своими прецедентами и образцами те меры, какие принимались по отношению к простому народу при старой монархии. Старый порядок оставил революции многие из своих форм, и она добавила к ним только суровость своего духа.

Последним этапом в революции у Токвиля является крупный административный переворот, предшествовавший политическому (III, 7). Говоря об этом, он особенно имеет в виду, между прочим, те провинциальные собрания, которые были введены во Франции в 1787 году и о которых историческая литература до Токвиля молчала. Протоколы этих собраний были одним из источников для „Старого порядка и революции“. Автор этой книги совершенно правильно писал: „эта внезапная и громадная перестройка всех административных норм и обыкновений, предшествовавшая политической революции, почти не упоминается в настоящее время, а между тем, она сама по себе уже представляла один из крупнейших переворотов, когда либо встречавшихся в истории великих народов“. Токвиль первый заговорил об этой стороне дела.

Последняя глава (III, 8) в книге Токвиля есть рассуждение на тему: „как все предшествующее само собой при-

вело к революции". Это—общее подведение итогов под всем исследованием, из которого приведем только наиболее важные соображения автора, касающиеся более революции, чем старого порядка, а если и старого порядка, то в его отношении к революции. „Кто, говорит здесь, он между прочим,—кто по этой книге внимательно изучил Францию XVIII века, тот мог заметить, как в ее недрах возникли и развились две преобладающие страсти, которые отнюдь не были ровесницами и не всегда стремились к одной цели. Одна, более глубокая и более древняя, это—жестокая и неискоренимая ненависть к неравенству. Ее породил и воспитал самый вид этого неравенства... Другая, более близкая к нам и менее укоренившаяся, порождала во французах желание быть не только равными, но и свободными. К концу старого порядка эти две страсти одинаково были искренни и кажутся одинаково живыми. На пороге революции они встречаются, смешиваются и сливаются на мгновение, в этом соприкосновении усиливают друг друга и, наконец, сразу воспаляют сердца всех французов. Это—89 год, время неопытности, без сомнения, но также время великодушия, энтузиазма, мужества и величия, время вечно памятное, к которому с восторгом и почтением будут обращаться взоры людей. Тогда французы верили в возможность равенства при свободе и потому среди демократических учреждений везде поместили учреждения свободные. Они не только уничтожили законы, разделявшие людей на касты и корпорации, вносившие в их права еще больше неравенства, нежели было в их положении, но отменили и позднейшие создания королевской власти, лишившие нацию свободного пользования своими силами и приставившие к каждому французу правительство, чтобы оно его учило, опекало, а при нужде и притесняло. Вместе с неограниченной властью пала и централизация. Но когда это могучее поколение, начавшее революцию, было истреблено или обессилено, любовь к свободе остыла и утомилась среди анархии народной диктатуры, и нация начала как-бы ощупью искать себе господина, тогда абсолютная власть нашла для своего возрождения и обоснования удивительно легкие пути, которые и были без труда открыты человеком, ставшим и продолжателем революции, и разрушителем ее дел. Привычки, страсти и понятия, прежде разобщавшие людей и державшие

их в повиновении, были пущены в ход; централизация была восстановлена, и все, что ее некогда ограничивало, осталось разрушенным. В конце концов, из недр нации, только что низвергнувшей королевскую власть, выросла столь обширная, разветвленная (*detaillé*) и абсолютная власть, какую не пользовался ни один из французских королей. Наполеон пал, но воссозданная им централизация осталась и оставалась при всех последующих правительствах. Когда после этого французы желали уничтожить абсолютную власть, то ограничивались тем, что приставляли голову Свободы к телу раба. За все это время, страсть к свободе не раз погасала и воскресала вновь, легко давая себя обескуражить, запугать и победить, поверхностная и мимолетная, страсть же к равенству с тех пор продолжает укореняться в сердцах, которыми она первая овладела. Тогда как страсть к свободе то убывает, то растет, страсть к равенству остается всегда одною и тою же, готовая всем жертвовать для тех, которые ее удовлетворяют, и доставляет правительству, ей благоприятствующему и льстящему, привычки, понятия и законы, нужные деспотизму<sup>4</sup>.

Токвиль еще раз повторяет, что французская революция будет всегда загадкою для тех, кто не имеет отчетливого представления о старом порядке, но и этого еще мало. Нужно, говорит он, проникнуть в самую природу французской нации, исполненную таких противоречий и крайностей. Мастерскою рукою он набрасывает ее характеристику, называя ее самою блестящею и самою опасною из европейских наций. Только из ее недр могла выйти революция, до такой степени внезапная, радикальная, стремительная в своем течении и вместе с тем столь преисполненная отступлений, противоречивых фактов и противоположных примеров.

Этим и кончается текст „Старого порядка и революции“, не считая приложения о провинциальных штатах и ряда примечаний, принимающих иногда вид экскурсов даже по истории других стран. Токвиль, как было уже сказано, не исполнил своего плана рассмотреть революцию не только в ее причинах, но и в ней самой и в созданном ею обществе, потому что смерть его застигла на работе над самым началом второй части, где обращает на себя внимание рассуждение о попытке Тюрго реформировать Францию бюрократическим порядком<sup>1</sup>).

<sup>1</sup>) Эти отрывки имеются в полном собрании сочинений Токвиля.



Книга Токвиля оказала громадное влияние на последующую историографию французской революции, внесши в нее более спокойный, научный, последовательский дух и показавши, как важно более глубокое изучение старого порядка. До Токвиля преобладала склонность резко отделять революцию от старого порядка, протавополагать их друг другу, разрывать связь времен, последующего с предыдущим, считать старое похороненным, а новое только-что родившимся. Токвиль блестящим образом показал, что дело обстоит не совсем так и даже совсем не так. Из старого многое сохранилось при новом, и многое же в новом зародилось при старом. Между прошлым и настоящим Токвиль восстанавливал эволюционную связь. С другой стороны, автор „Старого порядка и революции“ является ни ненавистником ее, ни ее панегиристом, а историком *sine ira et studio* и в гораздо большей степени, нежели кто-либо из предыдущих историков и даже иногда из последующих. Два крупных историка революции конца XIX века, Тэн и Сорель, усвоили точку зрения Токвиля на связь революции со старым порядком, но только один из них, Сорель, остался на высоте научного созерцания, характеризующего Токвиля.

Возбудив научный интерес к старому порядку, книга Токвиля дала толчок работе французских историков в этом направлении и тем самым вызвала ряд сочинений, имеющих своим предметом отдельные стороны в истории дореволюционной Франции. В конце пятидесятих и в шестидесятих годах вышли в свет книги, д'Юга об административной деятельности Тюрго <sup>1)</sup>, Астра о лангедокских интендантах <sup>2)</sup>, Дареста об административной юстиции во Франции <sup>3)</sup>, д'Арбуа де-Жюбенвиль об интендантской администрации <sup>4)</sup>, Эдмонда Лабуле об администрации при Людовике XVI <sup>5)</sup> ряд более специальных исследований об отдельных провинциях <sup>6)</sup>, работы Лаверня о провинциальных собраниях при

<sup>1)</sup> D'Hugues. Essai sur l'administration de Turgot dans la généralité de Limoges. 1839.

<sup>2)</sup> Astre. Les intendants de Languedoc. 1860.

<sup>3)</sup> Darest. La Justice administrative en France. 1862.

<sup>4)</sup> D'Arbois de Jubainville. L'administration des intendants d'après les archives de l'Aube. 1864.

<sup>5)</sup> Ed. Laboulaye. L'administration française sous Louis XVI. 1865 — 7.

<sup>6)</sup> См. в указанной выше книге. А. И. Ардашева.

Людовике XVI (1789 г. <sup>1)</sup>), Шассена о выборах и наказаниях и о сельском хозяйстве при старом порядке <sup>2)</sup> и пр. и пр. На некоторых из этих произведений исторической литературы ясно сказывается непосредственное влияние Токвиля <sup>3)</sup>. В следующие десятилетия эта литература только разрасталась, не всегда, однако, следуя заветам своего инициатора. Лучшие произведения в этой литературе были созданы на основании архивных материалов, путь к которым показал Токвиль, и были написаны в совершенно научном, исследовательском духе, часто отражая на себе мнения Токвиля или, по крайней мере, возбужденные им вопросы, хотя бы ответы на них давались и иные, нежели у Токвиля. В дальнейшем придется вообще еще много раз указывать на значение, какое принадлежит „Старому порядку и революции“ в разработке истории Франции в конце XVIII века.

### Кинэ <sup>4)</sup>.

Другим общим трудом по истории революции, вышедшим в свет во времена второй империи и отразившим их на себе скорбь лучших людей Франции об утраченной политической свободе, была „Революция“ Эдгара Кинэ <sup>5)</sup>.

Эдгар Кинэ был только двумя годами старше Токвиля (род. в 1803 году). Начав свою литературную деятельность двадцатилетним юношей, он, между прочим, еще совсем молодым приобрел известность своим французским переводом „Философии истории“ Гердера, которой он очень увлекся. Он изучал историю литературы и сам писал поэмы в прозе и в стихах, а с 1839 года профессорствовал сначала в Лионе,

<sup>1)</sup> Lavergne. Les assemblées provinciales sous Louis XVI. 1863. L'économie rurale depuis 1789.

<sup>2)</sup> Chassin. Le génie de la révolution. 1863 — 1865.

<sup>3)</sup> В предыдущем изложении не нашлось места, чтобы отметить появление, еще до книги Токвиля, крупного труда Лаферрье (Laferrrière. Histoire des principes, des institutions et des lois pendant la révolution française, второе издание которого помечено 1832 годом. Еще ранее произведение автора „Essais sur l'histoire du droit français“ (1836 — 1838) создало ему славу первоклассного юриста, вследствие чего неоднократно переиздавалась, а его „Histoire du droit civil de Rome et du droit français“ (1846 — 1858) не считалась устарелой и в начале XX века.

<sup>4)</sup> E. Quinet. La révolution. 1865. Два тома. Есть русск. перев.

<sup>5)</sup> Вдова Кинэ издала две его книги: „Edgar Quinet“ (1889) и Cinquante ans d'amitié. Michelet — Quinet (1899). О нем Heath (Лондон. (1881)).

потом в Париже, где сделался, как мы видели, в начале сороковых годов соратником Мишле по „созданию душ“ молодежи и в борьбе с клерикализмом. Эта борьба лишила его кафедры в 1845 году, но зато приобрела ему репутацию республиканца, каковым он и оказался на самом деле. Февральская революция открыла перед ним путь к политической деятельности. В Национальном Собрании 1848 года и в следовавшем затем Законодательном Собрании он занял место среди радикалов и был одним из наиболее стойких противников принца-президента, этого будущего владыки Франции. Результатом декабрьского переворота лично для него было изгнание из Франции, продолжавшееся до падения второй империи. Кинэ связывала с Мишле полувековая дружба, свидетельствующая о сходстве их политических взглядов и объясняющая нам одинаковость их, в общем, отношения к революции. Собственно говоря, хотя Кинэ и писал исторические сочинения (об итальянских революциях, об известном деятеле нидерландской революции XVI века Марниксе де Сент-Альдегонде, о компании 1815 года), историком по призванию он не был.

По литературной манере он ближе подходил к Мишле и потому он далек от спокойного тона, в каком написана была книга Токвиля, за то и на Кинэ оказалась та же злоба дня, которая проходит через все исследование Токвиля. На первой же странице текста своего труда Кинэ писал: „французская революция не имеет надобности в апологиях; верными или неверными, ими наполнен целый век. Еще одно слово было бы излишним. Что же остается еще сказать? Остается открыть и показать, почему столь многие и столь громадные усилия, столько принесенных жертв, такое страшное расхождение людей (*dépense d'hommes*) оставили после себя до такой степени пока неполные и бесформенные результаты. Целый народ миллионами голосов воскликнул: быть свободным или умереть! Почему люди, умевшие так удивительно умирать, не сумели быть свободными? Вот вопрос, который ставится сам собою“ (I, 1). Кинэ вспоминает, что в такой форме вопрос ставился уже у Муше и у г-жи Сталь. „Но здесь, прибавляет он, это будет благожелатель (*ami*) революции, который уважает ошибки революционеров“ (2). Такая постановка темы роднит книгу Кинэ с книгою Токвиля, между

которыми и в частности находятся также сходные черты. Главное, это—то, что Кинэ, как и Токвиль, был поклонником индивидуальной и политической свободы, которой Францию лишил новый Наполеон.

Кинэ, как и Токвиль, прежде всего, хочет узнать правду, одну правду вне всяких партийных „идолопоклонств“ и инвектив. „Истина создана для зрелого возраста народов, говорит он в предисловии. Только ею они могут питаться и укрепляться. Обещания забавляют детство и юность, мы начинаем, мне кажется, из них выходить. Не будем больше играть с собою“. Здесь же, в предисловии, Кинэ указывает, что, когда его книга, „труд долгих годов“, была окончена, в его руки попали драгоценные мемуары, которые можно было считать потерянными, и которые сообщили ему новые факты и свидетельства и позволили ориентироваться „среди отвлеченных систем, придуманных после событий“, но сам он не снабжает свой текст подстрочными примечаниями, чем лишает нас возможности видеть, какими же источниками и пособиями он пользовался.

Итак, вопрос поставлен, а из него вытекла и программа книги. „Я, читаем мы на странице 2 первого тома,—я предполагаю исследовать, почему произошли наши революции, как их понимали современники во время их возникновения, какое значение эти революции получили на другой день, почему они породили такие широкое надежды, за которыми последовали столь необычайные неудачи (avortements) и, наконец, есть ли средство против таких зол и что нужно делать, чтобы его найти“. Иными только словами, но, в сущности, подобным же образом ставил свою задачу и Токвиль. „Другим, продолжает Кинэ, пришлось рассказывать о триумфах, считавшихся ими окончательными, о восторгах, о правах, о политических и нравственных завоеваниях. Пришедши позже, я получил на свою долю только неудачи, отречения. Это именно тот вид вещей, объяснять который я обречен“. Кинэ прибавляет, что он ищет свою книгу среди глубокого мира и уединения: „шум борьбы мнений“ доходит до меня настолько издали, что я надеюсь из-за нее не волноваться. Уединение поможет мне быть беспристрастным, или если я и войду в борьбу партий, то для того, чтобы исследовать, как примиряли они свои принципы со своими

действиями". Вместе с этим он выражал еще желание ввести (faire rentrer) в историю человеческую совесть в момент, когда она кажется исчезнувшей из мира.

На этих страницах лежит какой-то меланхолический оттенок. Кинэ не хочет „искажать истину и, чтобы искать призрачного утешения, питаться софизмами, меняя по произволу природу вещей и называя прогрессом то, что доселе называлось упадочностью“ (1,3). Он просит не обвинять его, если в его книге найдут безразличие и отсутствие чувства, и если иногда о своем отечестве он будет говорить, как будто оно ему чуждо. „Мы, прибавляет он, создаем из нашей истории какую-то богиню, Рому, Минерву-Афину, непогрешимую, всегда справедливую, всегда человеческую. Такое идолопоклонство пало и более уже не поднимется. Мы освободились от своего язычества. Сумеет, по крайней мере, потерять идола, найти правду“ (4).

Кинэ начинает со старого порядка и кончает общим взглядом на новое общество после 18 брюмера. Он не рассказывает факты в их подробностях, но следит за их последовательностью, ставит в причинную и эволюционную связь отдельные моменты и этапы революции, обобщает и сравнивает, обсуждает и произносит приговоры. Весь труд разделен на 24 книги с такими заголовками, как „Пожелания“, „Генеральные Штаты“, „Версаль“, „Религия“, „Конституция“, „Варенн“, „Ни монархия, ни республика“, „Жирондисты“, „Конец монархии“ и т. д., причем каждая такая книга, размерами в среднем страниц по сорока-пятидесяти, разделена на большее или меньшее число глав, от трех до семнадцати, с особыми заголовками для каждой. Это расчленение всего труда сотни на две кусков имеющих каждый как-бы свою индивидуальность, очень способствует ясности всего построения, тем более, что стиль автора отличается сам большою сжатостью и определенностью. Иногда заголовки этих скорее параграфов, чем глав, заключают в себе целые проблемы, например, такие: „Мог ли Людовик XVI помешать рождению свободы?“ „Подготовило ли разрушение провинциальных вольностей при старом порядке новые виды свободы?“ „Было ли средство направлять революцию?“ „Было ли соотношение между жертвами революции и полученными результатами?“ А иногда ставятся и более общие теоретиче-

ские вопросы. Кинэ прямо мог бы назвать свою книгу „Философией истории французской революции“: не даром в юности он увлекался Гердером.

На одной из первых же страниц своей „Революции“ Кинэ говорит: „то, что мы называем порядком, т. е. повиновение под властью господина и спокойствие при произволе, у нас пустило корни в скалу и почти безошибочно возрождается само собою и из незапамятного предания. В таком понимании порядок находится под покровительством веков; его древность работает для него и составляет его охрану. Но свобода есть тростинка, появившаяся на свет только вчера, и эта столь новая вещь никогда не бывает в столь великой опасности, как тогда, когда мы думаем, что вполне обладаем свободой. Все прошлое вооружается и непрерывно работает против нее; для ее спасения нужна была бы нация, которая никогда бы не спала“ (1,9). Старый порядок затянул такой гордый узел, что рассечь его оказалось возможным только мечом: если люди революции берут в руки этот меч, ответственность падет на тех, которые „заведомо составили им неизлечимые болезни и вопросы, мирным путем неразрешимые“ (10). Нужно не упускать из виду эту связь революции с прошлым, под бременем которого революция находилась, которое она часто воспроизводила, даже с ним борясь (11). Терпение французов было так продолжительно, что отсутствие недоверия к ним Людовика XVI было вполне извинительно (15). „Свобода до такой степени была утрачена Францией, что нужно было искать за границей человека, который мог бы ее представлять“, замечает Кинэ по поводу назначения Неккера (18). Это старинное рабство ослепляло короля на счет настроения народа, бывшего невидимым для глаз в какой-то бездонной пропасти (20), а относительно среднего класса думали, что он не пойдет дальше чисто материальной реформы (21). Созыв Генеральных Штатов разбудил Францию. Кинэ, не по примеру своих предшественников, на нескольких страницах 27—42 передает содержание наказов 1789 года, при чем, как знаменательный факт, отмечает отсутствие в наказах третьего сословия желания опереться на что-либо в прошлом Франции для обоснования своих пожеланий. Кроме того, это — общий призыв к свободе. Кинэ очень высоко ставит наказания и

радуется появлению о них книги Шассена (*Le génie de la révolution*). В массы проникла наконец мысль нескольких людей, бывших, как горные вершины, освещенными солнцем, когда низы были еще в полном мраке (43). Так Кинэ определяет значение отдельных личностей и массы в революции.

Следя за происходившими событиями, Кинэ не забывает иметь в виду отношение к ней разных людей революции. Едва свобода явилась, она навела страх на самых горячих своих поклонников. Историк имеет в виду Мунье, которого я уже назвал на одной из первых же страниц своего труда (I, 26). Дело в том, что для таких людей, как Мунье, свобода была „умственным стремлением (*goût*), роскошью, с трудом приобретенным понятием“, а „не инстинктом, унаследованным от предков, не необходимостью, не принципом самой жизни, не *causa vivendi*“. На другой же день эти люди начинают радоваться, что они ошиблись, а прежних своих единомышленников, делающих из свободы условие своего существования, называют упрямыми, химерическими или опасными умами. „Вы не хотите просто-на-просто копировать Англию; поэтому вернемся к рабству, — такова их система“ (61). Люди еще сами не знали, чем они будут, как то же самое можно было бы сказать и о Сен-Жюсте (66). Кинэ приветствует горячо все факты, утверждавшие во Франции свободу, как прежде всего, взятие Бастилии, этой тюрьмы для представителей свободной мысли (67). По его мнению, будь нация в тот момент более сознательной, она не оставила бы Людовику XVI корону, отняв у него силу ее носить (88). После 5 — 6 октября, опять думает он, нужно было бы расстаться со старой династией: сколько крови было бы спасено в будущем (93). Слишком была „продолжительна привычка жить вместе, чтобы она могла быть покинута в один день... Конституционалисты упорствовали оставить в ране старое железо; она им только заразилась“ (94).

Общий взгляд Кинэ на людей 1789 года может быть выражен словами: для них на первом месте стояла свобода. Он думает, что концом революции могло бы быть 5 августа, после удивительной ночи, когда произошли, как он выражается, материальная революция, обновившая Францию, и общественная, установившая гражданское равенство. Но

в нации была жажда независимости, политической свободы и люди 1789 года считали все приобретенные блага за ничто, пока к ним не была прибавлена свобода (98 — 100). На этих страницах, как и вообще довольно часто, Кинэ выступает не аналитиком, а импрессионистом, видя свои идеи, свои чувства воплощенными в целом поколении. Ему как-будто хочется при этом устыдиться сравнением с людьми 89 года их потомство, „основавшееся на другом правиле, что материальные выгоды — единственная вещь, достойная уважения и что где они есть, свобода бесполезна или вредна“. Кинэ даже удивляется, что это один и тот же французский народ в промежутке каких-нибудь шестидесяти лет (101). Он, несомненно, ошибается, утверждая, что ночь 4 августа во Франции не произвела почти никакого впечатления, хотя и повторяет это неоднократно. Вопрос об отмене привилегий, требовавшей наказания, кажется Кинэ делом легким, которое совершилось бы само собою, делом притом неизбежным, не вызывавшим сопротивления (105). Столь же простым делом оказалось уничтожение старых провинций, этого дела веков (109), потому что у французов было страстное желание, какого не было в такой степени ни у какого другого народа, тесно соединиться, иметь одно сердце, одну душу (112), но историк не радуется этому, так как одна из причин бедствий революции лежала в том, что убитые провинции очутились во власти столицы, где все сосредоточилось. „У колосса с огромной головой оказались глиняные ноги“, как выражается Кинэ (112). У Токвиля старый порядок уже начал нивелировать классы и провинции, почему так легко и прочно во Франции установились бессловное общество и национальное однообразие. В сущности, здесь Кинэ высказывается в том же смысле, как и Токвиль. „Я видел, говорит он, что все наши истории приветствовали разрушение провинциальных вольностей при старом порядке. Хорошо было, по их мнению, что все было распылено; это должно было облегчить задачу революции. Я должен возразить на этот софизм, потому что как раз провинция, вспомнившая в 88 и 89 годах свои местные вольности, была первой давшей жизнь революции (114)... Так это верно, что свобода не может обойтись без предков. Если бы удалось изгладить память, потушили бы будущее“ (115).



Приветствует Кинэ очень уничтожение интендантской централизации, этого „византийского“ учреждения (117). „Все было легко, читаем мы дальше, все делалось само собою, поскольку не касались власти... Но в тот день, когда захотели политической свободы, все изменилось, и казалось, что нужно было меряться силами с невозможным. Тогда родились бури“ (119). Кинэ кажется, что в делах человеческих трудность не с материальной стороны, развивающейся неизбежно действием скрытой силы. „Я не вижу, говорит он, чтобы человеку было когда-либо нужно вооружиться громами, дабы повыситься на одну ступень в богатстве или в благосостоянии. По крайней мере, в мире не было революции, которая была предпринята лишь для подобного завоевания. Но как трудно подвинуть человека хоть на шаг вперед в моральном порядке... Трудность не в перемещении вещей, но в перемене чувств, в приобретении новых, в обогащении себя невидимыми вещами. Еще не испытанное чувство, новый способ смотреть на жизнь, вот из-за чего нужно было переходить через потоки крови. Значит, если вы хотите знать, удалась ли революция или нет, не на вещи нужно смотреть, а на человека... И если вы увидите, что он не преобразовался внутри, что его внутренний мир не изменился, скажите смело об этой революции, что она не завершилась или что человек был ей неверен“ (120). Ведь это опять токвилевская мысль, выраженная только другими словами. Вещи делались сами собою, революция их только ускорила. „Например, поясняет свою мысль Кинэ, уже до революции была масса мелких собственников... Движение в сторону раздробления собственности началось вне политики, а революция его ускорила“. В революции и не было надобности для того, что произошло бы и без нее. Но тут Кинэ не ссылаясь на взятое им у Токвиля, упрекает его за то место, где он будто-бы даже жалеет, что революция не была совершена во имя абсолютной власти, хотя, собственно, слова Токвиля, на которые ссылается здесь Кинэ (121), имели несколько иной, как мы видели, смысл<sup>1)</sup>. Провинциальные собрания 1787 года, думает Кинэ, бесшумно могли бы дать новое гражданское право и без политического права (122).

<sup>1)</sup> См. выше, стр. 29.

Если во Франции разразились грозы, то из-за „вопросов религии и политики, т. е. свободы“: из-за них одних текла кровь и люди ожесточались хуже смерти. Значит, „когда французы так легко забывают свободу, они вторично казнят тех, которые за нее умерли“. (123).

Отдельная „книга“ посвящена у Кинэ религии. Автор тут является критиком религиозной политики людей революции. „Люди, говорит он, не сразу поднимаются до идеи свободы культов. Наоборот, это последний вид свободы, которого они достигают, и часто те, которые с этого начинают, остаются при одних словах. Есть, продолжает свое рассуждение Кинэ, два способа решить религиозные вопросы: или запрет, или свобода. Революция не употребила ни того, ни другого из этих способов. Революционеры на деле преследовали культ, а в теории сохраняли терпимость, что отнимало у них сразу выгоду, извлекаемую новым временем из терпимости, и выгоду, получавшуюся в старину из преследования“ (125). Вопрос дает историку повод высказать свои теоретические мысли о религии вообще, мало интересные для понимания им французской революции, кроме той идеи, что революция не пошла ни по одному из возможных путей, а по обоим и впадала в противоречие со своим принципом (153). Указав, что все писатели высказались против гражданского устройства духовенства, „этой первой попытке согласовать старую религию с новым обществом“, Кинэ спрашивает: что же было нужно? Обычный ответ таков: „нужно было, чтобы великая революция прошла так, что церковь этого и не заметила бы“, т. е., говорит Кинэ, чтобы „круг стал квадратом, сам того не подозревая“ (157). У него был ответ свой очень радикальный. „Имея намерение возродить мир, революция побоялась порвать со средними веками... Здесь — глиняные ноги революции. Мирабо и другие ни разу не осмелились высказать против папства, против средневековой церкви того осуждения, которое земля слышала тремя веками раньше. О Ян Гус! О Лютер! Цвигли! Савонарола! Арнольд Брешианский! Смиранные монахи, бедные пустыньки, придайте смелости этим трибунам... Они заявляют пригизание на изменение всего, и у них не хватает храбрости ударить по тому, что вы вырвали с корнем... Где секрет вашей силы? Где секрет их слабости“

(163—164). Франции, говорит в другом месте Кинэ, не удалась ее реформа в XVI веке, и не случится ли того же в конце XVIII (169)? Гражданское устройство церкви имело целью эманципировать священников от епископов, но не это было нужно сделать, а эманципировать верующих, о чем никто и не подумал (170). Гражданское устройство церкви напоминает Кинэ попытку реформы византийской церкви, сделанную императорами-иконоборцами VIII века и вызвавшую гражданскую войну, которая кончилась ничем. Французская революция обнаружила такое же бессилие преобразовать католицизм (173). Время показало, пожалуй, что лучше было бы не трогать культов и держаться принципа невмешательства светской власти в религиозные дела (174), но, говоря о такой возможности, Кинэ находит мотивы для извинения членов Учредительного Собрания и признаётся, что будь он на их месте и в их время, он, может быть, сделал бы так же, как и они (175). К чему привела свобода культов в III году, как не к торжеству старой церкви? (176) Во время революции следует, рассуждает еще Кинэ, или принять новую веру и идти за нею, или отбросить старую и открыто от нее отделиться. Французские революционеры не пошли ни по одной из этих дорог и потому не могли выйти из путаницы (173). Об этой стороне революции в книге Кинэ говорится довольно много (стр. 124—192), но здесь он выступает не как историк, а как публицист, много в свое время, о чем было выше упомянуто, повоевавший с клерикалами и даже из-за этой войны лично пострадавший за двадцать лет до выхода его книги в свет.

Следующий (VI) отдел посвящен в заголовке конституции и первая в нем глава в две страницы — „правам человека“, в декларации которых Кинэ находит какое-то блуждание оцупью (194), причем указывает только на нерешительность прямо объявить свободу культов (195), да и о конституции самой по себе у него сказано мало. В этой части больше говорится о тогдашней политике Людовика XVI, о политике Мирабо, „первого апостола революции, бывшего вместе с тем ее Иудой“ (121), политике дворянства и т. д. Интересно одно соображение Кинэ. Махивации Мирабо впервые возбудили в нации подозрительность и заставили ее искать „неподкупного“, каким истом и оказался Робеспьер (221).

В этой же „книге“ Кинэ говорит, что контр-революции не удалось обмануть народ, „который обыкновенно только и желает быть обманутым“: народ еще был весь инстинктом, а инстинкт не обманывает (231). В то время думает Кинэ, народ был занят не материальными вопросами (sic!), а находился под влиянием своего рода религии справедливости и идеала равенства (232 — 233).

В 1790 году якобинцы еще не льстили народу, но только стоило ему показать свою силу, его, народ, тотчас же стали боготворить (234). Интересна та же глава о буржуазии и народе. Кинэ отмечает тот общий факт, что из глубины народных масс не вышло в качестве их представителя ни одной личности, необразованной, но рожденной бурями, какого-нибудь ремесленника или крестьянина, который имел бы свой день власти и славы, ни в роде флорентийского прядильщика Микеле Ланде, ни неаполитанского рыбака Мазаньелло, ни немецкого ткача Иоанна Лейденского. Вождями толпы (la multitude) были люди из другого класса. „Народ стал быстро повиноваться прессе и трибуне. Он сам не писал и не говорил. Можно бы подумать, что он был нем. Он действует под чужим импульсом и остается анонимным. В клубах, даже у якобинцев человек из народа не делается органом народа, это всегда человек более высокого положения (236). Нет революции, где настоящий пролетарий менее выделялся бы из рядов, чтобы приобрести личный авторитет. С трудом можно было бы назвать одного, кто имел бы известность хоть на один день“. В этом Кинэ видит признак „известной скромности, боязни быть смешным, которых не было бы в варварские времена. Все следующие друг за другом трибуны, Марат, Дантон, Робеспьер, Сен-Жюст входили в состав буржуазии, которая и была органом масс, прирученных старым порядком к молчанию“ (237). Поэтому Кинэ думает, что некоторые писатели слишком поторопились увидеть даже в 1789 году глубокие несогласия между буржуазией и народом. Различия, конечно, были, но совсем не такие, какие вообразили себе после. „Для чего, спрашивает он, вносить в рассказ о тех временах наши теперешние несогласия и страсти?“ (238) „Народ вовсе не начал с того, чтобы быть чернью (plèbe), он чувствовал себя равным с высшими классами во всем, что имеет значение для чело-

века. Во всех крупных вопросах его чувства и мысли были такие же, как у буржуазии. Сводить все его заботы к голоду и к заработку значит сразу отнимать у него и прошедшее, и будущее“ (239). Вопрос о богатых и бедных поставился позднее и не без содействия Учредительного Собрания, различившего активных и пассивных граждан (240). Однако, скромность народа даже не дала ему возмутиться против этого неравенства между гражданами. В авангарде революции не было ни одного пролетария. Потребовалось три года проповеди образованного класса, чтобы вызвать народ на сцену. Значило бы совершенно перевернуть историю, если бы признать, что народ шел впереди своих вождей (241). Кинэ признаёт только, что „сама буржуазия разделилась: одна часть испугалась и захотела остановиться, другая продолжала идти навстречу неизвестности. Ни в каком случае инициатива не принадлежала пролетариям. Народ входит в дела только в 1793 году“ (242). Интересны еще соображения о том, как быстро утомлялись революцией и партии, и сам народ (244—250).

Передавая события, Кинэ очень часто сопровождает свой рассказ мелкими замечаниями или более подробно развитыми соображениями, весьма оригинальными, не приходившими в голову другим историкам, иногда меткими, иногда парадоксальными, но большею частью интересными, свидетельствующими о его вдумчивости. Прощаясь с Учредительным Собранием, он напутствует его таким образом: „несмотря на свое величие и свой гений, оно оставляло наследие слабости и развалин всем тем, которые будут подражать его функциям, или его легковурию. Уходя, оно думало оставить после себя короля; из всех его иллюзий это была самая крупная. Тот, кого она оставляла в Тюйлери, был во Франции единственным несвободным человеком. Правда, с него сняли арест, но одна смерть могла его освободить. Учредительное Собрание не решилось его низложить; из уважения оно оставило ему в наследие эшафот. Людовик XVI не мог хотеть конституции, а конституционалисты хотели видеть королем только Людовика XVI; их предприятие становилось невозможным. Республика приходила быстрыми шагами, но не была еще в умах (299—300).—Для образца мелких замечаний приведу такое: „эмигранты играли в руку

(favorisèrent) революции, покидая Францию, а революция — в их руке, заставляя их вернуться; каждая сторона делала то, что было подходящим для другой“ (304).

В центре внимания Кинэ при рассмотрении эпохи Законодательного Собрания стоят жирондисты, именем которых обозначена IX книга. Эта партия сразу же является у него госпожкою положения, сделавшейся популярною, благодаря своей новости в то же время, когда только узнали о ее существовании: „для нее пальма шла впереди битвы“. Да и сами они возвестили народу о полной победе преждевременно (309 — 310). Участие жирондистов в министерстве открыло им глаза: они увидели, что королевская власть была только тенью, и потому они первыми обратились к республике. Отставка их оставила Людовика XVI в одиночестве, и против него поднялся весь народ (316 — 317). На жирондистов Кинэ смотрит, однако, как на людей, способных жить иллюзиями, противопоставляет им Дантона, бывшего для своих приверженцев „законным государем (souverain) революции“<sup>1)</sup>, прибавляя, что он один только стоял на настоящей почве (sur le terrain véritable), другим же предоставлял облака. „Одним словом, говорит Кинэ, Дантон был реальностью, Робеспьер — утопией“. Дантонисты ставили ему в заслугу, что он не думал переменять „основные формы человеческого общества“, а потому и историю считает его наиболее верным выразителем „идей и видов людей революции на общественный строй“ (318 — 321). Более всего обольщались фейльяны, закрывавшие глаза на действительность, только и думавшие о сохранении королевской власти (323), да и жирондисты взялись-было прикрыть собою короля. „Если бы, замечает Кинэ, дело шло только о свободе! Видали, как народы без труда от нее отказываются, но теперь вопрос был о национальной независимости, т. е. о самом существовании“. Людовика XVI бросил в революцию элемент обмана, послуживший закваской для людей страстей, и сделал из самой вооруженной революции мрачную ярость (320). Роялисты предавали Францию, конституционалисты не могли или не хотели ее спасти, а потому республика стала необходимостью

<sup>1)</sup> Тогда как для дантонистов Робеспьер был узурпатор. Здесь Кинэ ссылается на неизданные мемуары Baudot.

момента (330), как необходимостью была и война, объявленная жирондистами (332).

Учредительное Собрание умело заставляло уважать себя как друзей, так и недругов. Оно не пропускало толпу переступить его порог, не позволяло оружию ни народа, ни правительства проникать в святилище законов. Наоборот, Законодательное Собрание не было счастливо в этом отношении и первое дозволило улице (*le tumulte*) ворваться туда. Когда была растоптана ногами заграда уважения, уже нельзя было ее поднять. Сначала проникают с видом доверия, потом с угрозами и оскорблениями, а в результате собрания делаются потом пленниками: в этот день республика также была загублена, как и королевская власть. Такими соображениями начинается Кивэ рассказ о 20 июня 1792 года (334 сл.). Собранию и в голову не пришло воспрепятствовать вторжению толпы, а это значило, что его власть была призраком, а начиналась чья-то другая власть. Опять ставится автором вопрос, почему тотчас же не произошло низложение короля: „было ли тут суеверие, слабость, ослепление, неспособность отличать будущее от завтрашнего дня?“ (337). Победителем 20 июня остался король, отказавшийся уступить, побежденным — народ, который не смог покорить королевскую волю и, однако, не смог сам сделаться королем. Смелость действий народа противоречила его мысли. Одним ударом были поражены и король, и в лице Собрания республика, „прежде нежели она успела родиться“, и тем была подготовлена вообще неудача (*avortement*) революции (338). „Не было более священного места, чтобы приютить свободу; она в этот день потеряла свое святилище. Конечно, соглашается Кивэ, — говоря условным языком историков, революция идет вперед, но она столь же быстро идет к своему падению, как и к своему торжеству. Ибо, раз Собрание было растоптано ногами толпы, что останется? Необходимость льстить самому смелому, потом диктатору, наконец владыке. Кивэ восторгается поведением Людовика XVI, которому его вера в королевский сан придала силу сопротивления, хотя, оговаривается он, сюда примешалась и боязнь все потерять (339). Гигантское усилие 20 июня не привело ни к чему: громадная буря не заставила слабую тростинку сломиться (340).

Во французской революции Кинэ удивляет нечто, противоречащее тому, что известно о других революциях: это — возникновение великих перемен без особой подготовки. „Вожди революции начинали видеть очень поздно, очень медленно то, чего хотели; когда они это узнавали, они еще долго делали из этого тайну для народа, — так они боялись опередить его и удивить“ (341). Кинэ часто возвращается к мысли, что в головах слишком крепко засели средневековые догматы, как это вышло и с религией. Только 10 августа народ проявил понимание, что или Людовик XVI должен перестать царствовать, или же должна погибнуть национальная независимость (354). Для Кинэ это был „день инстинкта, день, когда лучше всего проявилась сила, разражающаяся в толпе, когда все политические средства были исчерпаны“. Вот почему трудно узнать, что делали тогда вожди (355). Историку кажется, что и Дантон был здесь ни при чем (356 — 357). Но как-то невольно бросается в глаза противоречивое отношение Кинэ к толпе, то как к силе, губившей революцию, самой республику и свободу, то как к носителнице верного народного инстинкта. Чаще, однако, он ссылается просто на силу вещей. Из всех „дней“ (jours) революции Кинэ признает десятое августа „лучше других и с гораздо большею необходимостью вышедшим из силы вещей“ (374).

Очень верно рассуждение Кинэ о том, что будь у Парижа муниципальные традиции фландрских или, по крайней мере, итальянских городов, были бы у него правила, пределы власти, но Коммуна десятого августа, без прошлого, без воспоминаний, опьяненная своим торжеством, наследует традиции абсолютной власти у только-что низверженной монархии. Члены Коммуны не могут выносить контроля Национального Собрания, унаследовав от Людовика XVI отвращение к нему (377). Единственным инициатором вскоре последовавших сентябрьских убийств Кинэ считает Марата (378 и сл.), за которым пошли члены Коммуны, „побоявшиеся не оказаться настоящими политиками в уровень с великим моментом“ и „горевшие желанием доказать, что были достойны доставшейся им власти, не останавливаясь ни перед каким родом варварства“. У них просто закружилась голова от столь быстро приобретенной власти (380). Национальное



Собрание превратилось во что то вроде старинного французского парламента, регистрирующего верховную волю Коммуны. Но и среди людей, забрызганных кровью стольких священников, были люди, потом преклонявшие колена в соборе Нотр-Дам на праздниках конкордата и коронации, как это здесь считает нужным напомнить Кинэ, постоянно обращающийся к проявлениям рабских чувств и до, и после революции (385).

То же случилось со всем Парижем, оставшимся инертным. Когда страх входил в души, из-под новой Франции выступал темперамент Франции старой, совершенно пассивный, раз исполнялось приказание власти. Французы при старом порядке терпеливо смотрели на несправедливости, совершавшиеся от имени короля, при чем даже самые лучшие люди молчали, а может быть, и одобряли. Перед правосудием Коммуны также преклонились головы, как преклонялись перед правосудием от имени короля (387). Сентябрьские убийства, кроме того, образовали кровавую реку между жирондистами и монтаньярами, но рок стал тяготеть над теми и другими (390). И все-таки Кинэ дальше говорит „о необъятной жажде свободы, пожирившей тогда Францию“ (416).

Изображая борьбу жирондистов и монтаньяров в Конвенте, Кинэ бросает мимоходом замечание о том, что первые более всего видели опасности в других речах против их речей, в декламациях на декламации: для профессиональных ораторов все было в слове, как единственной силе, которую они уважают и которой боятся. Разница между обеими партиями в глазах Кинэ была такая: жирондисты считали революцию делом легким и начали удивляться при первом встреченном препятствии; притом они хотели возродить мир, сохраняя свободу, в чем шли против (*se mettaient en révolte*) всего прошлого Франции. У якобинцев в этом отношении было более ясное понимание действительности. Они заметили, что дело было в том, чтобы заставить народ быть свободным... Этим своим деспотическим инстинктом они соответствовали темпераменту старого порядка. Можно было бы подумать, что в них возродился дух Людовика XI, Ришельё, откуда и их сила внутри, и их престиж вне Франции (422 — 423). Монтаньяры вступили в борьбу с силою вещей, а жирондисты думали, что все легко, что гордиевы узлы развяжутся сами собою, то будет довольно

энтузиазма для управления обновленным миром, что слово и просвещение организуют старый раболопный хаос, а потому и средствами они хотели пользоваться только правильными (424). В процессе короля этот темперамент партий, говорит Кинэ, вполне проявился (425). Что касается отношения самого историка к этому процессу, то понимая, как дело возникло и кончилось, он, историк, должен отнестись к нему отрицательно с точек зрения и целесообразности, и высшей справедливости (425-435). Король умер, а везде мерещилось возрождение королевской власти, которую „каждый носил в себе самом“ по долговременной привычке: ее стали подозревать в вождях партий, потом в самых партиях. Настроение партий получило мрачный характер, свойственный тиранам: в партиях как-бы возрождалась политическая душа старого порядка, ибо тем, что тогда больше всего разделило, были, по убеждению Кинэ, не принципы, а желание господствовать (436). Каждый придумал привидение и решился ему всем жертвовать. „Слова, которых не было ни в чьих сердцах: роялизм, федерализм приняты были за реальности большинством, и этим видениям стали приносить в жертву своих противников“. В Конвенте боролись между собою не две партии, а как-бы две нации, которые одна другую обвиняли в одном и том же воображаемом преступлении (437). Если с обеих сторон ненависть была одинакова, то сила была только на одной стороне, на другой же слабость. Жирондисты, обладая большинством Собрания, имея на своей стороне право и законность, сделали ошибку, свойственную теоретикам, думая, что их право составляет и их силу (439). Имея за себя только красноречие и веру в справедливость, они вступили в смертельную борьбу с теми, за кого было все: „народ, оружие, уличные крикуны (les clameurs de la foule), Коммуна, секции, пабаты, тревожные сигналы, суверенные клубы, леса пик“. Они думали, что речью, словом правды можно прогнать бури в их пещеры, и эта их вера в силу духа их погубила (440).

Кинэ указывает еще на то, что ни революционный суд, ни комитет общественного спасения не могли быть орудиями такой партии, как жирондисты, да и не верили, чтобы этим они искренне могли пользоваться: думали, что здесь только фокусы (artifice), а между тем обе партии хотели одного и того же.

По мнению Кинэ, вся беда в том, что у них не было общей религии, что, как он выражается, „между этими двумя сторонами не стоял бог“ (445). „В сердце каждого, по другому его выражению, был воздвигнут эшафот“. Инстинкт зверя просыпался в человеке (447). Взаимная ненависть заставляла монтаньяров смешивать всех жирондистов с фейльянами, а жирондисты ответили на это отождествлением Горы с Маратом (458).

В этой борьбе двух партий сочувствие Кинэ на стороне жирондистов. Они ни под каким видом не хотели господина, а среди якобинцев было много таких, которые согласились бы поставить над собою господина, лишь бы он назывался диктатором. У первых было все ново, т. е. и цель, и средства, так как они хотели прийти к свободе через свободу, а у вторых, хотя цель была нова, но средством были власть и принуждение, бывшие во Франции уже целые века. Монтаньяры склонялись перед старой традицией, пользовались политической системой старой Франции, чтобы ее разрушить, но, в сущности, ее воссоздавая. Они были одной породы со старым деспотизмом и в силу атавизма воспроизводили в себе черты своих предков. С духом жирондистов это было несовместимо. Между их системой и деспотизмом не было ни малейшего родства, между ними было зияние (hiatus). В 1793 году Наполеон был якобинцем школы Робеспьера (464). Кинэ приглашает проследить во французской революции действие старой централизации, которая не только пережила старый порядок, но сделалась главным орудием новых людей. Токвиль не мог бы лучше выразить свою мысль о роли централизации в истории старой и новой Франции, как и о преобладании Парижа. „Когда, говорит Кинэ, эта большая голова издает приказание, послушные члены повинуются; ее приказание дойдет до самой маленькой деревушки. У кого эта голова в руках, тот поведет за собою и остальное. Но также горе тому, кто станет поперек ее в ее капризах, в ее ярости, или захочет хоть немножко смягчить последнюю“ (465). Желая децентрализации, жирондисты напали на старый порядок в его собственном доме, а нападая на абсолютное владычество столицы, ошиблись в расчете на поддержку провинций. Доверяясь „этому призраку свободы и провинциальной жизни“, они

дразнили эту всемогущую голову, не видя, что другие члены — ничто (466), или что везде их встретил роялизм. Республика также централизовалась в Париже, как прежде монархия: ссора с Парижем была ссорой с революцией. Якобинцы, поступая наоборот, были дальновиднее, но они и меньше были новаторами, нежели жирондисты (467). Падение Жиронды переместило центр из Конвента в Коммуну. Останавливаясь здесь „на пороге террора“, Кинэ сравнивает людей революции с их потомками, своими современниками: первые могли не верить в то, чем обладали, а вторые почти хвастаются обладанием того, что допустили погибнуть. „Скоро мы увидим, заключает Кинэ, как французы, потеряв свободу, будут ставить себе в задачу ее забвение и эту первую добродетель рабства считать за лучший признак хорошего вкуса“ (470). Опять, читая такие строки, вспоминаешь Токвиля.

31-ое мая Кинэ считает величайшею гибелью для революции. После падения жирондистов победители стали тотчас же „заниматься делами“ и работать „в общем интересе“, перенимая самую фразеологию тех, которые прежде обладали абсолютною властью (II, 14). Произошло возвращение „к старому политическому темпераменту Франции“ (16). 31-ое мая решило, что возрождение Франции не будет совершено „этою новою вещью, свободою, но как-раз методом старого порядка тирании“ (17). Отменить свободу под тем предлогом, что ее восстановят после, было общим местом всей истории Франции. Но этот путь был плохим, потому что он вел к рабству (18). Жирондисты были необходимою для республики, даже якобинской, представляя идеи и интересы, без которых республика не могла жить (19). Кинэ выступает критиком якобинизма и его людей, принимавших свои страсти за *raison d'Etat* (20 и сл.). Гражданская война и первые казни жирондистов дают повод Кинэ еще раз повторить свои замечания о борьбе двух систем.

С торжеством якобинцев начинается царство „книги закона“ революции, т. е. *Contrat Social* Руссо (84 и сл.). Дух Конвента лучше всего выражает конституция 1793 года, но этот дух был искажен историками, от страшного напряжения сил заключивших к необъятности целей, поставленных

себе Конвентом. Воображение создало какой-то „социалистический Конвент“, каких то „монтапьяров-коммунистов“ (91), когда ничего подобного не было. Кинэ опровергает эту легенду, между прочим, пользуясь мемуарами Бодо (Baudot), бывшими у него в руках в рукописном виде. Чувствуется, куда метил Кинэ, когда писал: „когда я вижу, как история искажается в наших руках, на наших глазах, как она может превратиться в бич в угоду страстей каждого, я вооружаюсь против идолов, увеличенных на другой день, я стараюсь удержать единственную живую вещь, остающуюся у нас еще из прошлого, — опыт. Все погибло у народа, когда самые типы его истории переделаны, изменены до такой степени, что начинают обозначать противоположное тому, чем были“ (106 — 107).

Вопросом о терроре Кинэ занимается в своем труде очень много. Родоначальника системы террора он видит в Моисее и находит в обоих терроризмах, еврейском и французском, внутреннее родство, быть может, и бывшее причиною тайного расположения Жозефа де-Местра <sup>1)</sup> к комитету общественного спасения (II, 132 — 134). Из всего предыдущего можно вывести безошибочное заключение о том, как Кинэ судит о терроре, о фактах которого рассказывает достаточно подробно, коснувшись, между прочим, и вопроса о религии при терроре. В последнем отношении к революции он применил те же идеи, которые были высказаны им хотя бы по поводу гражданского устройства церкви. Причины террора были в непримиримости старой и новой Франции, при чем провокация шла со стороны первой, в психологии толпы и в презрении к личности (*mépris de l'individu*), которые историк здесь называет „печальным наследием прежнего притеснения“ (181 — 185). Даже филантропия, — кто поверил бы этому, — наталкивала на террор. Революционеры исходили из мысли Руссо, что от природы человек и народ добры, но, видя, что благо не осуществляется, они стали думать, что сделались жертвою обмана, потом измены, и стали всех подозревать, не думает ли кто восстановить старый порядок (187). Террором французы

<sup>1)</sup> Ср. стр. 35 первой части. Кинэ здесь как-бы отождествляет авторитарный клерикализм де-Местра с нетерпимостью мозаизма.

расплачивались за прошлое: как Людовик XVI погиб за несправедливости своих предшественников, так и французы в 1793 и 1794 годах карались за рабский дух (servilité) своих предков (189), террористы же лишь пользовались способами, уже бывшими в ходу у старой монархии, хотя бы, например, во время отмены нантского эдикта (190 и сл.). „Как только революционеры создали себе сильную власть в комитете общественного спасения, они ее обоготворили. Ничего новее в мире не казалось им, как это обоготворение. В основе это был старый культ французов абсолютной власти; чем более возвращались к старым формам, тем более казалось людям, что они делают что-то новое“ (199).

Кинэ даже думает, что, в сущности, в самом комитете общественного спасения террористами по темпераменту было незначительное меньшинство (204 сл.). По отношению к террору он вообще ставит ряд вопросов не только о его происхождении и его образцах, но и о его условиях и морали, о деморализации в революции, о том, узаконили ли успех его и почему он так долго держался. По предпоследнему вопросу Кинэ возражает историкам, доказывавшим, что террор был нужен для спасения французского общества, но это аргумент, которым пользовались и во время Варфоломеевской ночи, и при драгонадах, и 18 брюмера, словом, всегда, когда нужно было оправдать какую-нибудь узурпацию (237). При том же смерть могла бы быть заменена изгнанием (233 и сл.). В особом параграфе Кинэ говорит, что военное искусство, а совсем не террор спасло Францию на войне (409—423). Но почему же террор держался так долго? „Народ, говорит по этому поводу Кинэ, не сожалел ни об одном из своих вождей, даже самых любимых, когда до них доходила очередь идти на эшафот... От человека, которому много рукоплескали, тотчас же, как он лежал на земле, отвергивались и его забывали. Удар, его поражающий, делал его и виноватым... Это обстоятельство менее всего замечалось, потому что было наиболее частым; оно касается самого существа характера демократии. Странное дело! вы можете избивать, искоренять ее вождей, тех, которые наиболее для нее радели, и вы можете все это делать, ничуть ее не огорчая. Демократия в истреблении людей, идущих во главе ее и всем

ей пожертвовавших, видит, я не знаю, какое-то начало равенства, внушающее ему что угодно, только не негодование. Она не чувствует себя задетой и оскорбленной в людях, за нее страдающих. Это своего рода аристократия, за освобождение от которой нас еще поблагодарят“ (243 — 244).

Особый параграф отводится историком Робеспьеру (219 — 225). Только после 31 мая Робеспьер начал ссорить народ с буржуазией. Он исключительно опирался на народ, думая найти в нем твердую опору, но опыт показал, как он ошибся. Правда, на несколько месяцев он получил власть, но когда он, при первой опасности, обратился к народу за помощью, поддержки он не получил. Кинэ хорошо обрисовывает и деспотизм Робеспьера, и покорность двадцати пяти миллионов, какой, быть может, еще и не видали. Борьба и расправа Робеспьера с Эбером и с Дантоном и их сторонниками рассказана Кинэ с захватывающим интересом, как и гибель самого Робеспьера, при чем в этой части своего труда он особенно много пользовался бывшими неизданными мемуарами Бодо <sup>1)</sup>.

В сущности, общий взгляд Кинэ на революцию высказан в предыдущем. Дальше идут или вариации на основную тему, или суждения о более мелких подробностях.

Мы видели, что в самом начале своего труда Кинэ говорит о своем желании „faire rentrer la conscience dans l'histoire“. Этому желанию было где найти применение в последних пяти книгах „Революции“, где уже рассматривается наступившая после падения Робеспьера реакция. В одном месте после стольких десятков, даже сотен страниц о борьбе, происходившей наверху, Кинэ вспоминает о народе. Народ за это время изменился больше, чем вожди партий, в эпоху реакции продолжавшие войну между собою. По мере того, как у него отнимали его вождей или сам он допускал их гибель, убежденный в преступлениях, им приписывавшихся партийною враждою, народ чувствовал себя одиноким и как-бы заблудившимся, говорит Кинэ. Вера в себя и в свои силы стала его покидать. Началось разочарование, возобно-

<sup>1)</sup> Рукопись их вдова Кинэ принесла в дар Национальной библиотеке, а изданы они были в 1893 году под заглавием „Notes historiques par M. A. Baudot“. Автор был видным монпаньяром.

вилось большое голодание (II, 353). Потом произошли вспышки 12—13 жерминаля и 1 прерияля. В этих движениях Кинэ не находит и следов своего рода дисциплины, которая, как-никак, наблюдалась 20 июня и 10 августа. Жерминальский и прерияльский дни были, по его характеристике, днями все охватившей безнадежности. Народ более не верит в народ. Никакого плана, ни одного вождя, нет даже цели, а только жалкая толпа, без главаря, без руководителя, анонимная, разъяренная и бессильная (337). Самы террористы перепугались этой толпы, а рядом выступает раззолоченная молодежь. С этого времени, по словам Кинэ, происходит большой разрыв между классами, рожденными в революции. Народ возвращается к своей работе, богатые или вновь разбогатевшие классы разбредаются по своим углам. Каждый удаляется из общественной жизни и исчезает (568). Движение 13 вандемьера историк считает чисто роялистическим (400 и сл.), а подавление его „первым публичным доказательством (avénement) милитаризма“ (402). Между тем раньше, в 1793 году и в 1794 году, Франция избежала милитаризма. По мнению Кинэ, Рубиконом для французских армий был сам террор, столь губительный внутри страны, но сдерживавший военную силу на границах государства, а командный состав сдержали конвентские комиссары (413 и сл.). Впоследствии в армии все изменилось (446 и сл.).

Что народ стал сходить со сцены, это Кинэ постоянно при случае отмечает. Свобода и братство перестали его волновать, и только за равенство можно было еще ухватиться, чтобы поднять народ на немедленный, осязательный и материальный выпрыг, чем и хотел на него подействовать Бабеф. Его заговор Кинэ уже называет первым „красным призраком“ (456), потому что писал уже после 1848 года, когда этого призрака так испугались, но, в сущности, большего значения этому эпизоду историк революции не придает. Он только пользуется данным „заговором писцов“, чтобы, имея в виду уже свое время, сказать два-три слова по поводу обращения к абсолютной власти только потому, что где-то увидели утописта (462).

Последняя (XXIV) книга „Революции“ Кинэ представляет собою очерк „общества, рожденного революцией“.



В одной из глав (2) он как-бы возвращается к теме, уже рассматривавшейся Токвилем, именно о влиянии писателей на общество в XVIII веке, но только для того, чтобы изобличить современников в малом интересе к вопросам ума (557 и сл.). Другой пункт соприкосновения с Токвилем — вопрос о гражданских реформах без свободы, рассмотренный особо (595—599): „все, сказано здесь, было принесено в жертву равенству, божеству, пожирающему все остальное“. В другом месте автор говорит: „есть на свете два правительства, осуществивших идеал гражданского равенства без свободы. Эти два правительства остались в памяти людей, как позор рода человеческого. Одно из них — Византийская империя, другое — правительство Турецкое“ (627). Есть дальше и еще несколько страниц (607 — 613), заставляющих вспоминать о Токвиле. Кинэ сопоставляет на них две демократии — французскую и американскую, но, в сущности, он сравнивает американскую действительность, основанную на собственности и на личности, с французскими утопиями, в которых для автора „Революции“ было неприемлемо все, что противоречило его индивидуализму.

Но особенно напомним настроение Токвиля заключительные строки: „но, скажете вы, ваши идеи не приобрели себе силы. Они не восторжествовали. Вы побеждены. — Я это отрицаю. Я остался один, это правда, но мне повезло в том, что, потеряв все, я видел, как осуществились все мои предчувствия, подтвердились мои предупреждения, все мои принципы получили освящение моею добровольною гибелью. Это не значит быть побежденным“.

Токвиль и Кинэ принадлежали к одному поколению и писали о революции в близкие между собою годы, под влиянием одного и того же зрелища Франции, утратившей политическую свободу и моральное достоинство. Они принадлежали разным общественным направлениям: на одном лежал отпечаток некоторого аристократизма, и в общем этот писатель был умеренным, другой был демократом и радикалом, но оба они любили свободу, и как-раз потери французами свободы, из-за которой они столько боролись, поставила перед ними исторический вопрос: почему так произошло? Ответ они оба нашли в том, что старый порядок воспитал нацию совсем в ином духе, нежели дух свободы,

что из старого порядка они вынесли много идей, чувств, стремлений, привычек, несовместимых со свободой, и что революцию пережила та административная централизация, которая стянула всю Францию к правительству и к столице.

Но их книги все-таки получились разные, одна больше о старом порядке, другая о революции; одна более научная и оказавшая громадное влияние на все последующее развитие историографии французской революции, другая с сильным публицистическим налетом и без какого бы то ни было влияния; одна, можно сказать, более объективная, другая, напротив, очень субъективная, судящая иногда с очень личной точки зрения, как это особенно видно в тех местах, где говорится о религиозной политике революции.

Этой своей стороной, своим субъективизмом, как мы видели, „Революция“ Кинэ ближе подходит к трудам Мишле и Луи Блана. И, конечно, Кинэ особенно близко стоит к первому, с которым был связан тесною дружбой, как Тьер с Минье. У обоих было одинаковое нерасположение и к якобинизму, идеализированному у Луи Блана, и к новым социальным теориям. Но ни тот, ни другой еще не представляли себе, чтобы во французской революции были „социалистический Конвент“ или „монтаньяры - коммунисты“, как стали говорить впоследствии.

## ГЛАВА VІІ.

### Начало третьей республики. — Труды Тэна и Сореля.

Историки французской революции, которыми мы до сих пор были заняты, в общем относились сочувственно к французской революции, как бы они ни осуждали сопровождавшие ее насилия и жестокости. Историография революции приняла у Тьера и Минье характер ее апологии, у их ближайших преемников даже панегирика, и только у Кинэ начинает преобладать элемент критики до такой степени, что русский переводчик не усумнился озаглавить свой перевод: „Французская революция и ее критика“, но Кинэ, друг и единомышленник Мишле, не представлял собою реакционного отношения к революции. Особо стоит Токвиль. Он

выступает, главным образом, не в качестве сторонника или противника революции, а в роли исследователя, спокойно рассматривающего, почему и как революция началась. Правда, до самой революции его книга не дошла, но уже по той части его труда, которую мы имеем, можно сказать, что он брал революцию, как событие, подлежащее историческому изучению, а не как предмет защиты и даже восхищения или осуждения и крайнего негодования.

Было бы ошибочно думать, что одновременно с развитием того положительного отношения к революции, которое ведет свое начало от „*Considérations*“ Сталь, не появлялись книги с отрицательным отношением к революции, как Бёрка или Жозефа де-Местра.

Первым видным писателем и автором крупного труда о французской революции после Луи Влана, закончившего свою историю в начале шестидесятых годов, и после Кювэ, издавшего свою книгу в середине этого десятилетия, был Ипполит Тэн, написавший во второй половине семидесятых и в первой восьмидесятых первые четыре тома „Происхождение современной Франции“, посвященных старому порядку и революции. У Тэна в отрицательном отношении к революции были, однако, предшественники не только в лице, напр., Бёрка, оказавшего на его суждения большое влияние, но и в более близкие к нему времена, хотя бы на нем и не оказалось никакого влияния со стороны этих, более поздних предшественников.

Прежде нежели говорить о Тэне и его труде по истории революции, мы рассмотрим теперь двух его предшественников, равно как исторические обстоятельства, отразившиеся на его отношении к революции. Начнем с одного автора, проявившего несомненную приверженность к старому порядку, в чем Тэн ни малейшим образом повинен не был. Автор, к которому мы переходим, принадлежал к числу очень незначительных писателей эпохи июльской монархии, когда еще продолжали высказываться представители дореволюционной Франции, готовые идеализировать старый порядок. Конечно, взгляды таких людей не оказывали никакого влияния на хотя бы сколько-нибудь широкие круги общества, но характерно, что после книг Тьера и Мишье были еще возможны такие истории революции.

В промежуток между 1834 и 1841 годами, т. е. одновременно с „Парламентской Историей“ Бюшеза и Ру вышло двенадцать томов „Histoire de la révolution de France“, автором которых был виконт Феликс-де Конни и которые имеют совершенно популярный характер. Изложение фактов не прерывается рассуждениями, подстрочных примечаний не имеется. Только после больших периодов автор помещает на значительном количестве страниц дополнения, заключающие в себе и оправдательные документы, большею частью печатные, но иногда и остававшиеся до того времени неизданными. Особенное внимание было автором обращено на документы консервативного содержания <sup>1)</sup>, а в дополнительных примечаниях собраны сведения, в том или другом отношении бросающие тень на революцию. Так, в одном месте дается целая хронологическая таблица с указаниями на количество жертв революции (*des individus qui ont péri par le fait de la révolution*), от 24 августа 1787 года до 29 сентября 1789 года, т. е. еще в эпоху Учредительного Собрания в сумме 3753 (III, 414 — 415). В другом месте (VII, 57 — 106) приведен алфавитный список специально жертв сентябрьских убийств с названиями тюрем, где кто был убит, с итогом в 1806 человек. В одном томе с этим списком приведены и поименные перечни лиц, дававших те или другие ответы на вопросы, разрешившиеся голосованиями в процессе короля (115 — 260). Конечно, перепечатаны и такие документы, как завещания Людовика XVI (VII, 261 — 268) и Мария-Антуанеты (IX, 176 — 179), причем приводятся и документы, касающиеся заключения их в Тампле, погребения, смерти дофина и т. п. (IX, 130 — 172); де-Конни собрал их в парижских архивах. Подбор всего этого материала указывает на характер рассматриваемой книги.

Во введении де-Конни указывает сам, что в своих общих соображениях о революции он следует за Бёрком и известным помощником Меттерниха Генцем, которые „выяснили, по его убеждению, истинный характер революции“ (I, 2). Старая монархия в этом, очень, впрочем, кратком введении представлена в самом привлекательном виде. Правительство

<sup>1)</sup> III, 273 — 413; IX, 193 — 194.

„подняло провинцию на самую высокую ступень процветания... Живая любовь к королевской власти породила чувство чести, составившее основу национального характера (6)... Догматы христианской религии привели Францию к самому высокому общественному состоянию (7)... Дворянство, укрепляя королевскую власть, сделалось самой прочною опорой монархии и общественной свободы“ (9), а „защищая интересы народа против захватов со стороны королевской власти, стало связующим звеном всех интересов, охранителем всех прав (10)... Охрана законов была вверена корпорации мудрых, просвещенных и по своему состоянию независимых людей (11)... Поучения религии воспитывали деревенский народ, провинция была облагорожена, и существование самого грубого человека в моральном порядке было поднято высоко... Мудрое учреждение цехов укрепляло общественные связи и поддерживало на путях порядка людей, предававшихся в городах промышленным трудам (12)... Религия, мораль и законы помогали великому делу социальной гармонии, и на этом фундаменте выросла великая нация (13)... Достоинство и доброта оставались в течение веков отличительными признаками того августейшего рода, последним королем из которого был Людовик XVI, когда вспыхнула революция“ (14).

Так де-Конни представляется старый порядок. Распространенные мнения о происхождении революции кажутся ему „ложными, порожденными невежеством или поверхностными знаниями и пущенными в ход слепым энтузиазмом“. Она не вытекала из гражданских и политических отношений Франции, которые „никогда бы сами ее не произвели“, не могли бы „оправдать насильственную французскую революцию“, ибо старинная французская конституция была „проникнута свободой, составляющею самое существо французского характера (14—15). Свобода, собственность и личная безопасность охранялись законами“ (16). Нужды народа тоже не были причиной революции (18). Правительство делало важные ошибки, а его противники ловко пользовались ими (14). Просвещение века тут было ни при чем (14, 16), причина же была в „сильных страстях, вдруг явившихся разрушить общественный порядок“ и „нарушить вечные законы“ (16). Французская монархия отнюдь не была в состоянии упадка (20), но школы воспитали в обществе

культ античных республик, который ослабил любовь к национальным учреждениям и породил стремление к новизне (33 — 34). „Какое-то неопределенное недовольство, беспредметные и бесконечные жалобы на власть, ненасытные желания, безграничное беспокойство сделали господствующим настроением“ (35), и все это в соединении „со страстною жаждой наслаждений“ (36). В этом „странном расположении умов составила привычка смотреть на установленный порядок, как на хаос несправедливостей, безумств и узурпаций, видеть в необходимости полной метаморфозы управления доказанную истину, признавать веру в эту необходимость первым из признаков ума“ (37). Это было во всех сословиях, но особенно завидовало высшим классам и преувеличивало свои права на общественное значение третье сословие (42), которое автор понимает в смысле высших слоев нации, за исключением привилегированных (10). Философия, сделавшаяся при Людовике XVI „смелою до цинизма“, стала „делать вечные истины предметом народного презрения“, потрясать основы общества, поощрять чувства зависти и пр. (44 и сл.).

При всем этом де-Бонни находит, что люди, писавшие о революции, мало ее знали и понимали (51, 57 и др.). Сам он обещает в своем введении быть беспристрастным, оговариваясь, однако, что если бы для писания нужно было быть чуждым негодованию, внушаемому преступлением, нужно было обладать „подлым равнодушием, которое некоторые дерзают назвать умеренностью, чудесным искусством держать равновесие между преступлением и добродетелью“, то он, автор, конечно, сделал бы ошибку, взявшись писать историю (58—59). В общем, уже одно это введение производит впечатление чего-то весьма элементарного, поверхностного, местами прямо наивного с первых же страниц о царствовании Людовика XVI до самого конца<sup>1)</sup>. О характере дальнейшего можно судить по двум примерам. В рассказе о ночном заседании 4 августа 1789 года автор выдвигает на первый план бла-

<sup>1)</sup> Вдохновителем де-Бонни в первых страницах был Sallier, автор *Essai pour servir d'introduction à l'histoire de la révolution française*, который де-Бонни называет (I, 87) одним из самых замечательных произведений, когда-либо опубликованных об этих временах. Мне эта книга неизвестна.

городное бескорыстие привилегированных, негодует на революционные страсти, на легкомыслие, на нарушение права собственности со стороны Собрания, узурпаторски называвшего себя Национальным, называет его акты принесением жертвы всеожжения (holocauste) ради популярности и т. п. „Права народа, читаем мы здесь, были растоптаны (foulés aux pieds) этим Собранием, которое освящало принцип народного верховенства, показывая миру скандальный пример всечеловеческих узурпаций“ (II, 33—41). Другой пример, это — отношение де-Конни к Декларации прав человека и гражданина, которую он называет „настоящим кодексом бунта и анархии“, „нечестивым“ документом, в котором будто бы не было упоминания о боге, поговню за „самыми безумными химерами“, отдаaniem „на посмеяние народов вечной истины“, призывом всех наций к восстанию. При этом автор высказывает полное свое согласие с приговором Бёрка об этом документе и опять говорит об узурпации Собранием права, ему не принадлежавшего, прения же о Декларации именуует безумными (folles) и т. п. (II, 55—57). В своих приложениях он сопровождает самый текст декларации примечанием, содержащим в себе отзыв о ней Бёрка в речи, которая была им произнесена в палате общин в начале 1790 года (III, 254—255).

Другим предшественником Тэна, но не из лагеря легитимистов, был Мортимер-Терно, бывший политическим деятелем и при второй и в начале третьей республики, но выступивший также с большим историческим трудом под заглавием „История террора 1792—1794 годов на основании подлинных и неизданных документов“<sup>1)</sup>, первый том которого вышел в 1862 году, восьмой — в 1881. Автор этой книги стоял совершенно на иной точке зрения, нежели де-Конни. Он, так сказать, „принимал“ революцию, неприемлемым же для него был террор, историю которого он и написал.

С первых строк „Истории террора“ выясняется основная точка зрения автора. „Деспотизм, говорит он, может иметь свой трон на улице так же, как и в королевском дворце, опираться на толпу так же, как и на преторианцев, практиковаться комитетом общественного спасения так же, как

<sup>1)</sup> Mortimer-Ternaux. Histoire de la Terreur (1792—1794) d'après les documents authentiques et inédits. Восьмой том вышел уже по смерти автора.

Тиберием или Нероном. Демагогия, сказать правду, есть только одно из воплощений деспотизма... Демагоги и деспоты чудесно понимают друг друга, когда они, повидимому, находятся в борьбе; они знают, что они являются назначенными преемниками, естественными наследниками одни других... Борьбаться с демагогией и осуждать ее, это значит бороться с деспотизмом и его осуждать" (I, 1—2). Автор просит читателей не приписывать ему желаниа воздать хвалу, хотя бы и косвенным образом, идеям торжествующим, повидимому, в данную минуту. Он вспоминает одну свою речь во французском Законодательном Собрании в марте 1850 года, когда вокруг него раздавались похвалы Робеспьеру и его adeptам. „История, говорил он, именно, свидетельствует нам, что коллективная тирания во сто раз более сурова, во сто раз более жестока, более невыносима, нежели индивидуальная тирания, ибо у коллективного тирана нет ни сердца, ни ушей, он даже не слышит стонов своих жертв. Мы это хорошо видели в эти времена позорной памяти (*hideuse mémoire*), в этом 1793 году, который вспоминают теперь с таким удовлетворением" (2). Мортимер-Терно прибавляет, что именно призывание призрака террора несколькими безумцами привело к тому, что Франция была сдвинута с путей прогресса и свободы и пала к стопам владыки. „Преступления 1793 года были совершены во имя свободы, но свобода не была их соучастницей, и она не может считаться солидарною с ними". Он возводит, однако, тиранию 1793 года не к старому порядку, а к рабскому подражанию античной тирании: „картина децемвиров 1793 года, черта в черту, представлена у Тацита" (3).

Осуждать самое преступление недостаточно: нужно осуждать и доктрины или системы, старающиеся их оправдать: Мортимер-Терно специально вооружается против утверждения, что террор спас Францию (4). К 1792 году нация находилась под действием двух направлений, одного „рожденного любовью к отечеству и энтузиазмом к свободе" и спасшего Францию, и другого, „происходившего из низости, ненависти и мстительности, которые накопились в мелких (*avilies*) душах", и возбуждавшего все дурные страсти, зверские стремления сентябрьских убийц, якобинских трикотёз и фурий гильотины. „В понятном партийном интересе, продолжает Мортимер-



Терно, некоторые писатели не хотели делать различия между действием этих двух течений, столь непохожих одно на другое по происхождению своему и по своим проявлениям. Они утверждали, что совершенно тождественная мысль влекла одних и тех же людей и в бюро, где записывались добровольцы, и в тюрьму Аббатства, и что массовые убийства, покрывшие кровью мостовую столицы, были совершены теми же самыми, которые спешили остановить успехи пруссаков в аргоннских проходах" (5). Автор обещает показать в своем труде в настоящем свете этих людей, „напрасно признанных со стороны многих великими“ и поставленных на пьедестал из совершенных ими злодеяний: они „представляли только страсти, предрассудки, ненависть и гневность революционной толпы“, видевшей в них „своих вождей и героев, потому что они были их образом и подобием. Их хотели изобразить, как фанатиков, но в большинстве случаев это были комедианты (histrions) без убеждений и без энтузиазма“ (6). Из сеидов Комитета общественного спасения и поклонников бога Марата оставшиеся в живых монтаньяры бросились в переднюю счастливого солдата, севшего на трон в Тюйлери. Эти „подлые персонажи не заслуживают ни малейшей жалости, да и те из их вождей или их сторонников, которых гильотина сгубила на середине их жизненного пути, не более достойны иного к ним отношения. Мы решились в нашем повествовании не пропустить ни одной вины, ни одной ошибки, ни одного преступления и покрыть позором как трусливую слабость одних, так и холодную жестокость других. После стольких более или менее замаскированных апологий нужно наконец, чтобы был услышан голос вечной морали. Наступило потомство для всех актеров драмы 1793 года, и оно должно быть без всякого милосердия. Пусть картина яростных поступков демагогии заставит в ужасе отступать тех из наших современников, которые, увлекаемые своим воображением, сбитые с толку пустыми софизмами, введенные в заблуждение фаталистическими учениями, подкупленные примером обаявшихся счастливыми насильем, стали бы мечтать о возвращении господства грубой силы“ (7). Мортимер-Терно прибавляет, что он не рассчитывает на успех у „бесстыдных честолюбцев“, у которых расправа с противниками очень коротка.

Начало террора его историяк относит к 20 июня 1792 г. и в восьми томах доводит ее до 29 октября 1793 г., не успев за смертью довести свой труд до конца. В основу его Мортимер-Терно положил „подлинные и неизданные документы“, как это значится и в заглавии его истории. В предисловии он говорит, что большинство историков, писавших о революции, пользовались, как материалом, мемуарами, памфлетами, газетами, но все это источники мало достоверные. Автор ими, конечно, пользуется, но особенно он обращался к архивному материалу. Более девяти десятых документального материала, даваемого им в тексте, в подстрочных примечаниях или в виде приложений в конце отдельных томов, как он утверждает, относится к числу такого неизданного материала, и, повидимому, это количественное определение очень близко к истине. Он, действительно, повидимому, не жалел ни времени, ни хлопот, ни труда, ни расходов, как он сам говорит, чтобы собрать побольше материала в архивах как Парижа, так и департаментов (стр. VIII). В конце отдельных томов „Истории террора“ мы находим обыкновенно несколько десятков страниц „с примечаниями“, разъяснениями и неизданными документами<sup>1</sup>; например, в первом томе таких приложений около 130 страниц на приблизительно 300 страниц текста, во втором столько же на 365 страниц и т. д.

Среди этого архивного материала есть очень важный в том отношении, что подлинники документов, использованных Мортимером-Терно, до нас не дошли. Это — документы, хранившиеся в архиве префектуры полиции, между прочим протоколы парижских секций, и сгоревшие во время большого пожара в дни падения Коммуны 1871 года. К сожалению, приводи целые документы или выдержки из них, автор не дает точных указаний ни на места их хранения, ни на шифры, под которыми они сохранялись. В некоторых бывших в руках Мортимера-Терно протоколах секций оказалось вырванным большое количество страниц, что он объяснял желанием скрыть наиболее компрометирующие известия, но на самом деле, как узнано было после, эти страницы были для чего-то похищены Бартеlemi-Сент-Илером и сохранились в библиотеке Виктора Кузена, где я сам их читал и делал из них выдержки<sup>1</sup>).

<sup>1</sup>) Напечатаны мною в брошюре „Революционные комитеты секций“ (1923).

Собственно истории террора автор предпосылает краткое изложение своих взглядов на предшествовавшее время, где он довольно сурово относится к „трем основным столбам старого монархического здания: к парламентам, к дворянству и к духовенству“, ссорившимся и взаимно подрывавшим друг друга, равно как и самоё власть (I, II и сл.). Об Учредительном Собрании он говорит, что по самому характеру своего труда не станет распространяться о его благодеяниях, а скажет лишь о его ошибках. Принципы 1789 года он ценит очень высоко (23) и прибавляет, что в качестве сына революции никогда не произнесет против нее кощунственных слов. „Не без скорби я нахожусь вынужденным, по долгу историка, признать, что великое собрание в практическом применении провозглашенных им принципов совершило громадные ошибки“, как думает он, „потеряв хладнокровие и лихорадочно бросившись в область утопий“. Едва кто-либо указывал в Собрании на английские или американские порядки, как на достойные подражания, тотчас же на трибуне, в прессе, а скоро и в клубах „невежды, пустые люди (*les vaniteux*) и утописты поднимали крик, что Франция должна создавать совсем новые учреждения“ (23).

Мортимер-Терно особенно критикует административную систему по конституции 1791 года вообще, а в частности организацию парижских секций (27). Кроме того, отступивши от трудности упорядочить свободу печати и собраний, Учредительное Собрание дало демагогии средства опрокинуть все возведенное им здание (28). Ультра-революционеры проповедовали свободу печати, когда им нужно было сражаться со своими противниками, но едва потом они очутились у власти, как уничтожили свободу печати и королевскую цензуру заменили гильотиной. Собрание не осмелилось поднять руку на якобинский клуб, это дерево им самим посаженное (29). В самом Собрании постоянно росло число людей, „искателей дешевой популярности“, умевших, „создавать себе имя только угождением страстям, подчиненным предрассудкам масс“ (31). Но автор порицает и роялистов за их поведение, порицает и конституционалистов (32 — 33). Но более всего критика Мортимера-Терно направляется на „демагогическую партию“, затеявшую известную демонстрацию 17 июля 1789 г., но не явившуюся на место, где разыгралась

трагедия, а предоставившую действовать своим агентам (35). Одних в этой демагогической партии он называл искренними фантазерами (*sincères dans leurs illusions*); это, говорит он, были только политические художники, „которых позднее назовут жирондистами“ и которые „опомнятся только у подножия гильотины“. Другие, по определению автора, в их числе Дантон со своими друзьями, „искали удовлетворения своих грубых (*brutaux*) appetitов и чувственных страстей“, стремились „во что бы то ни стало приобрести те почести и богатства, которые должны были быть источником всех их наслаждений“. Наконец, третьи, „как Робеспьер и Марат, служившие различным богам, видели в готовившемся катаклизме только торжество своей гордыни. Они домогались всемогущества, чтобы растоптать своих врагов ногами и испытать величайшее удовольствие мщениа“ (33). А под ними стояли „люди, которых заставлял действовать только страх“, люди, искавшие в якобинских рядах приюта от воспоминаний о их грехах и подозрительных деяниях или о их принадлежности к дворянству или духовенству. Они хотели давать неопровержимые доказательства своей преданности демагогии и думали, что очиститься от первородного греха, следы которого на себе носили, только посредством кровавой купели“. Наконец, внизу всего толпа, думавшая лишь о том, чтобы, добравшись до хорошего места, „безнаказанно предаваться воровству и грабежу“ (37).

Еще резче, чем об Учредительном Собрании, отзывается Мортимер-Терно о Законодательном. „Оно гремит против деспотов, против преследований, против инквизиторских мер старого порядка, против доносов, *lettres de cachet* и против драгонад Людовика XIV, и оно им подражает, даже их превосходит“ (39). Очень резко говорит он и об объявлении войны (42—43). Этих немногих указаний на отношение Мортимера-Терно к первым двум национальным собраниям достаточно для характеристики его общего, в сущности, отрицательного взгляда на революцию, взгляда, притом пессимистического; потому что и представители старого порядка, хотя Мортимер-Терно мало о них говорит, у него не были пощажены.

После этого отступления о де-Конни и о Мортимере-Терно, как представителях отрицательного отношения к революции при июльской монархии и второй империи, переходим

к Ипполиту Тэну, главному критику революции при третьей республике.

## ТЭН<sup>1)</sup>.

Познакомимся прежде всего с личностью Тэна. Годы его университетского учения совпали с эпохой второй республики, — он, родившись в 1828 году, поступил в Высшую Нормальную школу в 1848 году, — когда во Франции, между прочим, происходила реакция против царившей до того времени в высшем преподавании эклектической философии Бузена с ее ненаучными элементами и в гуманитарные науки проникал объективный дух естественно-исторического реализма и философского позитивизма, враждебных всякому романтизму и метафизике. Тэн усвоил новое направление и дал ему полную волю в своих книгах „Французские философы XIX века“ (1857) и „Английский позитивизм“ (1864), а также в диссертации на ученую степень об ощущениях, не бывшей пропущенною словесным факультетом за свое вольномыслие. Его философское направление сделало для него по тогдашнему времени невозможным преподавание в высшей школе, хотя он и получил потом степень доктора за диссертацию на безобидную тему о Лафонтене. И в средней школе, где он начал было преподавать, он оказался тоже неподходящим. Только в 1863 году, имея 35 лет от роду, он сделался профессором в Школе изящных искусств. В шестидесятых годах он был уже очень известен, как человек оппозиционного направления, но больше это касалось его философского вольномыслия, чем политической неблагонамеренности. Тэн был по натуре человеком апо-

<sup>1)</sup> Литература о Тэне очень обширна. О нем есть книги Margerie, Biré, Monod (*Maîtres de l'histoire*), Lacombe (все 1864 г.), Barzelotti (ит., франц. пер. 1895), Giraud (1901), Boutmy (1901), Labarde, Picard (обе 1909 г.), а также четыре тома публикации: H. Taine, sa vie, sa correspondance (1902 — 1907). Специально о его труде по истории революции есть книга Aulard'a (*Taine historien de la révolution française*, 1907), повторившего главные ее положения в „Сов. Мире“, за 1908 г.) и вызвавшего ответ Cochin'a *La crise de l'histoire révolutionnaire*. Ср. статьи Mathiez (*Annales Révol.* 1908), П. Ардашева, В. Герье, (в его книге, названной ниже) мою (Рус. Бог. 1908). Исторически более всего о нем писал Герье (ст. в „Вестн. Евр.“ за 1878, 89, 90, 94 и 95 г.) в Энцикл. Слов. Брокгауз-Ефрон, книга „Франц. революция в освещении Тэна“. Кроме того, статья К. Арсеньева (*Вестн. Евр.* 1891, 93), П. Пванова (Рус. Богат. 1901) и брошюра Э. Гримма (*Политические воззрения Ип. Тэна.* (1908).

литичным. Даже революция 1848 года не бросила его, двадцатилетнего в то время юношу, в водоворот политической жизни. Более по нравственным, чем по политическим мотивам он мужественно отказался дать потребованное у него, как у преподавателя, письменное одобрение перевороту 2 декабря 1851 года. Впрочем, его отношение ко второй империи было отрицательным опять-таки, главным образом, за ее связь с клерикализмом, как врагом духовной свободы и научного исследования. Сами занятия его отвлеченною философией, психологией, историей искусства и изящной литературы, т. е. вопросами человеческого духа и духовной культуры не имели никакого отношения не только к текущей политике, но и вообще к политической теории, а тем более к вопросам публичного и частного права или народного хозяйства. Восторженный, одно время, поклонник позитивизма Конта, которого он рекомендовал изучать всякому любящему умственные занятия, Тэн менее всего интересовался социологией, будучи, главным образом, психологом и теоретиком и историком духовной культуры. Во всех темах, за которые он брался, он проводил один и тот же научный дух, пользовался одним и тем же объективным, реалистическим методом. Стоя во враждебном отношении к клерикализму, он был, однако, далек от той романтической восторженности, которая характеризует Мишле. Это был ум трезвый, спокойный, уравновешенный ум настоящего ученого. „На свете, писал Тэн, есть только одно дело, достойное человека: раскрытие какой-нибудь истины, которой отдаешься и в которую веришь“.

Кроме названных выше книг и массы статей, впоследствии перепечатававшихся, хотя и не все, в сборниках, Тэн издал капитальную „Историю английской литературы“ (1864), ряд небольших теоретических и исторических монографий об искусстве (1865—1869), в более поздних изданиях объединенных под общим заглавием „Философия искусства“ и др., а в 1870 году выпустил двухтомный труд по психологии познавательной способности человека под названием „De l'intelligence“. Все эти темы показывают, куда тяготел за все это время научный интерес Тэна. Очень для него характерно одно место в его „Истории английской литературы“. „Я, писал он здесь, отдам пятьдесят томов хартий и сто томов

дипломатических нот за мемуары Челлини, послания ап. Павла, за застольные беседы Лютера или за комедии Аристофана". В этих словах хорошо рисуется тогдашний Тэн.

В самой истории он видел чисто психологическую задачу, на свои работы, кроме последней, смотрел, как на посвященные частной психологии, книга же „Об уме и познании“, как она названа русским переводчиком, была переходом к занятиям общей психологией. Дело в том, что в замысел Тэна входило написать еще другой таковой же психологический трактат, на сей раз о воле. Об этом уже было объявлено, но задуманный труд так-таки и остался ненаписанным. Остальные годы своей жизни Тэн посвятил работе над большим исследованием „*Les origines de la France contemporaine*“, первый том которого под заглавием „Старый порядок“ был в предисловии помечен августом 1875 года. Предполагалось, что весь этот труд составит три тома: второй о революции, третий о современной Франции, — совершенно токилевский замысел, но средняя часть разрослась сама в три тома, вышедшие в свет в 1878, 1881 и 1884 годах, под общим заглавием „Революция“ и с подзаголовками „Анархия“, „Якобинское завоевание“ и „Революционное Правительство“. Третья часть (*Le régime moderne*) осталась неоконченной: при жизни Тэна вышел только первый том (1891), посвященный Наполеону и реорганизации им Франции, а во второй, неоконченной и изданной уже по смерти автора (1893), вошли два этюда о церкви и школе в ту же эпоху. Намечался еще третий том об отношении государства к местным учреждениям, но от него остался только отрывок в одну страницу. Таким образом, если в первой половине своей литературной деятельности, охватывающей лет пятнадцать (1855—1870), Тэн выступал философом, психологом, теоретиком и историком словесного и художественного творчества, то во втором периоде, продолжавшемся немного более двадцати лет (1871—1893), он является историком революции и обоих „порядков“, старого, который она сменила, и нового, который был ею порожден. Психологический трактат о воле так-таки и не появился. Столь быстрый и решительный перелом в научной деятельности Тэна не хронологически только совпадает с политическими переживаниями Франции в 1870—1871 годах.

Во время осады Парижа немцами Тэн жил в провинции, но по снятии осады вернулся к своему преподаванию в Школе изящных искусств, живя на даче в Орсе. Ездить на лекции он продолжал и во время Коммуны, сразу напешней в нем непримиримого противника. О том, что делалось в Париже, он узнавал, главным образом, из консервативных газет. Его патриотическое чувство было удручено унижением Франции и гражданской войною, вызванною политическим выступлением демократии. Коммуна и превратила Тэна из мирного вольнодумца в „воинствующего консерватора“, выражаясь словами Олара. Когда в начале апреля 1871 г. события сделали невозможным продолжение лекций Тэна, он уже писал своей жене, что намерен написать книгу о современной Франции. И вообще он в это время отзывался на злобы дня, написав статью об условиях мира с Германией и о патриотическом содействии граждан уплате контрибуции, брошюру о том, как лучше всего организовать всеобщую подачу голосов, и т. п., но никто не думал, что он так решительно порвет со всем своим литературным прошлым, чтобы погрузиться всецело в остававшуюся ему прежде совершенно чуждою область политики.

Еще до Коммуны он высказывался в интимных беседах о своем неверии в возможность республики во Франции, а после Коммуны, то и дело, пророчил скорое падение республики от междоусобий и после временного торжества демагогов победу бонапартизма с восстановлением империи, как естественного результата анархии. Первый том с его отрицательным отношением к старому порядку еще не раскрывал вполне основного отношения автора к революции, и только второй том, вышедший тогда, когда острый период реакции уже закончился, показал, до какой степени было отрицательно отношение Тэна к революции. Прогрессивные круги французского общества от него отшатнулись, а консерваторы и реакционеры, ранее ненавидевшие его, как свободного мыслителя, наоборот, стали относиться к нему благосклонно, видя в нем как-бы своего союзника. Вслед за выходом второго тома была поставлена кандидатура Тэна в члены Французской академии, но против него была выдвинута другая, — республиканского историка Франции Анри Мартена с несомненно меньшими, чем то было у Тэна, чисто литературными пра-



вами на звание „бессмертного“. По этому случаю общественное мнение было страшно взволновано, пресса разделилась на два лагеря, придав академическим выборам значение политического вопроса. Многие были тогда убеждены, что отрицательное отношение и к старому порядку, и к революции только указывало на бонапартистское настроение Тэна. Особенно думали так люди, знавшие, что он обычный посетитель салона принцессы Матильды, родственницы Наполеона III, но уже первый отрывок V тома, напечатанный в „Revue de deux mondes“, в особенности же весь этот том обнаружили, что и к наполеоновскому режиму автор отнесся отрицательно. В светских кругах говорили, что принцесса Матильда в вежливой форме дала понять Тэну, что дальнейшее его появление в ее салоне было бы ей неприятно, а один из членов фамилии Бонапартов, принц Наполеон, грубо ответил Тэну книжкой „Napoléon I et ses détracteurs“.

Как историк французской революции, резко порвавший с господствовавшей революционной традицией и тем списавший расположение консервативных кругов, Тэн сделался зато предметом нападений с другой стороны, своего рода даже, так сказать, притчей во языцех. Как читались „Les Origines“, можно видеть из того, что до конца XIX столетия отдельные томы разошлись: первый в двадцати пяти изданиях, второй в двадцати, третий и четвертый приблизительно в пятнадцать каждый. Тем более, конечно, противники Тэна находили нужным бороться с его влиянием на общество. Профессор истории французской революции в Сорбонне, Олар, даже читал в начале XX века публичный курс о Тэне, как историке революции, с крайне отрицательным и очень пристрастным к нему отношением, что вызвало полемику в защиту Тэна со стороны Кошена, а в России — возражения проф. Ардашева и Герье против этого, как выразился последний, „якобинского суда над Тэном“<sup>1)</sup>. Конечно, в споре о значении „Происхождения современной Франции“ играли большую роль соображения чисто политического характера, переносившиеся в область научной оценки всего труда. Можно сказать, что палку, согнутую в одну сторону, выпрямляя ее, Тэн слишком перегнул в другую, откуда получилась одно-

<sup>1)</sup> См. выше, прим. на стр. 69.

сторонность, усугубляемая еще тем, что он отнесся к своему предмету более всего, как психолог, менее всего, как социолог. Действительно, он интересовался гораздо более людьми, их культурными типами, характерами, темпераментами, поведением, правами, обычаями, нежели государственными учреждениями, гражданскими законами и экономическими отношениями.

В небольшом (т. I, стр. I—VIII) предисловии Тэн, прежде всего, говорит, что когда в 1849 году ему исполнился двадцать один год и он получил избирательное право, он был в крайнем затруднении, так как ему приходилось выбирать не только между кандидатами, но и между теориями. Ему предлагали быть монархистом или республиканцем, демократом или консерватором, социалистом или бонапартистом, а он не был ни тем, ни другим, ни третьим и т. д. Ознакомившись с разными доктринами, он тогда же еще пришел к той мысли, что в его уме есть какой-то пробел (*lacune*). Аргументы, бывшие убедительными для других, для него не имели никакой силы: „я, признаётся он, не мог понять, что в политике можно принимать решения на основании своих предпочтений. Личные вкусы, говорит он еще, мне не казались авторитетными“. Он сравнивал составление конституции с постройкой дома для целей нации и находил, что „внезапное изобретение новой конституции, приспособленной к условиям и нуждам и прочной, есть предприятие, превосходящее силы человеческого ума“. Отсюда он сделал тот вывод, что если такая конституция существует, то ее нужно открыть, а никак не поставить на голоса. Предпочтения тут ни при чем: „наперед, по убеждению Тэна, природа и история выбрали за нас, и это нам нужно к ним приспособляться, ибо нет сомнения, что они к нам не станут приспособляться. Общественная и государственная форма, которую может применить народ, чтобы в ней остаться, не предоставлена его произволу, но предопределена его характером и его прошлым. Нужно, чтобы даже в мельчайших подробностях она приходилась к живым существам, к которым прилагается, иначе она треснет и распадется по кускам. Поэтому, продолжает он, если мы найдем нашу форму, то только изучая самих себя, и чем точнее мы будем знать, что мы такое, тем вернее мы разберем, что же к нам подходит. Значит, нужно

перевернуть обычные методы и представить себе нацию прежде, чем составить ее конституцию. Конечно, первый прием длиннее и труднее второго... Но это единственное средство не сделать ложного шага после рассуждения в пустую (*de ne pas constituer à faux après avoir raisonné à vide*), и я обещал себе, для себя, по крайней мере, что если когда-либо я буду искать политического мнения, то лишь путем изучения Франции“.

Это—очень важное место для понимания Тэна. Совсем молодым человеком он был уже совершенно аполитичен и скептиком в политических вопросах, каким, в сущности, остался и впоследствии. „Я не люблю политики, писал он однажды другу, но люблю историю“, и он действительно занимался историей, но как-раз не политической, а культурною, и не историей Франции, а историей Англии, Италии, Нидерландов, Греции. За занятия историей родины он взялся, только прожив на свете более сорока лет. Другая характерная черта Тэна—его недоверие к конструктивному, рационалистическому методу и решительное предпочтение, отдаваемое им методу исследовательскому, научно-позитивному: конституцию, пригодную для нации, можно только открыть, отнюдь не изобрести. Тэн вообще был преимущественно наблюдатель действительности, объективности и реалист, индуктивист и позитивист в духе естественно-исторического метода, далекий от всего метафизического, романтического и „ораторского“, называя последним именем то, что в античной историографии было так развито в Тите Ливии. Наконец, на значение в истории народа—его характера и его прошлого, противопоставляемых его стремлениям, Тэн, в сущности, занимает ту же позицию, которая отличает особенно Токвиля. Вообще „Старый порядок и революция“ оказал на Тэна большое влияние. Само построение „Происхождения современной Франции“ чисто токвилевское.

В самом деле, три состояния Франции, т. е. дореволюционное, революционное и послереволюционное, он сравнивает с метаморфозой насекомого. Франция в конце XVIII века „подвергается метаморфозе. Ее старинная организация распадается; она сама разрывает наиболее ценные ее ткани и впадает в конвульсии, которые имеют вид смертельных. Потом после ряда повторных содроганий и тягостной летаргии

она выпрямляется. Но ее организация не та, что была прежде. Путем неслышной внутренней работы новое существо заменяет собою старое“. Определяется это новое, по мнению Тэна, уже в 1808 году, но весь процесс, взятый в целом, является для него, как и для Токвиля, эволюцией, естественной метаморфозой, в которой новое возникает или вытекает из старого, становится его продолжением, хотя и в иных уже формах. Применяя к нациям это понятие метаморфозы, Тэн находит, что одинаково невыгодны и слишком большая медлительность в такой метаморфозе и „слишком насильственная и внезапная ( *brusque* ) эволюция“ с „мало уравновешенною внутреннею экономией“ (конечно, общественных сил, а не в смысле хозяйства) и всеми потрясениями.

„Когда, читаем мы дальше, нам желательно понять наше теперешнее положение, наши взоры всегда обращаются к этому ужасному и плодотворному кризису, посредством которого старый порядок произвел революцию, а революция—новый порядок“. Эти три состояния Тэн обещает, в предисловии же, „описать с точностью. Я, говорит он, осмеливаюсь заявить, что у меня нет никакой другой цели. Пусть позволят историку поступать по примеру натуралиста; я стоял перед своим предметом, как перед метаморфозой насекомого. Впрочем, событие столь интересно, что стоит наблюдения ради него самого, и нет надобности в усилнии, чтобы исключить задние мысли. Отрешенная от всякой предвзятости, любознательность ( *la curiosité* ) становится научною и целиком устремляется к сокровенным ( *intimes* ) силам, производящим операцию“. Эти силы Тэн видит в „положении, в страстях, в идеях, в стремлении каждой группы“, которые он признаёт вполне доступными разбору и даже измерению. „Они перед нашими глазами; мы не поставлены в необходимость делать предположения, сомнительные дивинации, неопределенные указания. По особому счастью, мы наблюдаем самих людей, их внешние черты, их внутренний мир“ ( *leurs dehors et leur dedans* ). По старой своей привычке историка искусства и всей материальной обстановки, он здесь перечисляет такие предметы, как барские особняки, их комнаты, их мебель, их картины и эстампы, одежду их обитателей и т. п., по которым можно судить о людях прошлого. В качестве старого историка литературы он указывает далее, как на источник нашего по-

знания людей прошлого, на литературу, на философию, на науку, на мемуары, на произведения иностранных путешественников. Но ко всему этому, для Тэна знакомому, привычному, он присоединил еще то, путь к чему был открыт для старого порядка Токвилем, т. е. деловые бумаги, хранящиеся в архивах и касающиеся не только старого порядка, а также и революции. Он взял этот материал за три последних перед революцией десятилетия, за все время самой революции, равно как и после нее до начала двадцатых годов XIX столетия. Полстраницы перечисления Тэном этого материала можно заменить общим указанием на то, что это были документы административного, финансового, судебного, статистического, военного, церковного и т. п. содержания, т. е. как-раз такой материал, который раньше Тэн готов был в громадных количествах отдать за что-нибудь, в роде застольных речей Лютера. Теперь он сам обратился к этому материалу. Но и в документах подобного рода, он, как это видно уже из предисловия, по старой своей привычке за всем внешним усматривать внутреннего человека, искал „живые фигуры“ разных слоев, классов и групп французского общества, а также указаний на ближайшую обстановку и на образ их жизни, отодвигая на задний план все то, что могло бы специально интересовать государствоведа, юриста или экономиста, т. е. все, так сказать, технические подробности, относящиеся к политическому, юридическому и экономическому быту. Здесь Тэн довольно далеко отходит от Токвиля, бывшего настоящим политическим мыслителем. Если мы вспомним, что книге Токвиля о старом порядке и революции предшествовал капитальный труд о государственном и общественном строе Северо-Американских Штатов, а книге Тэна о тех же старом порядке и революции—также капитальный труд, например, об английской литературе, то мы поймем, в чем могла заключаться разница в подходе того и другого к одной и той же теме. Один, именно, выступил, как социолог, другой—как психолог.

Оба поставили себе, однако, совершенно одинаковую задачу научного исследования прошлого для объяснения настоящего. Если принять серьезно тэновское отождествление историка с натуралистом-наблюдателем, то Токвиль гораздо более самого Тэна соответствовал этому идеалу объективной

научности. Напротив, Тэн, как увидим, не остался на этой высоте научного бесстрастия... и беспристрастия.

Первый том „Происхождения современной Франции“, имеющий своим предметом старый порядок, включает в себе более пятисот страниц, так что своим размером превосходит книгу Токвиля приблизительно на две трети последней. Распадается том на пять частей, носящих заголовки: „Строение общества“, „Нравы и характеры“, „Дух и доктрина“, „Распространение доктрины“ „Народ“. Если эти темы распределить по категориям психологического и социологического содержания, то к последнему должно было бы отнести первую и пятую части, три средние—к психологическому, где Тэн был настоящим хозяином и мастером. Называя первую часть „Строение общества“, он в ней говорит только о трех привилегированных положениях: духовенства, дворянства и короля без всего третьего сословия, как-будто оно в состав общественной структуры не входило. Среднему классу он посвящает одну из глав четвертой части, рассматривающей распространение новых идей и, следовательно, этот класс, как среду, в которой эти идеи распространялись. Наконец, народ рассматривается совершенно особо, причем имеется в виду почти исключительно крестьянство в его отношении преимущественно к фиску: о феодальных тягостях, лежавших на крестьянине, Тэн говорит в первой части, изображая привилегии духовенства и дворянства, а о городских рабочих и об организации обрабатывающей промышленности молчит и в главе о среднем классе, и в последней части, озаглавленной „Народ“, включая сюда, несколько страниц о разложении во Франции военной силы. На мой взгляд, такая разбросанность того, что говорится о структуре общества, весьма характерна для Тэна.

Столь же характерно и то, что, беря королевскую власть, как одну из привилегий, Тэн совершенно не рассматривает, какова была конституция королевства, и оставляет в стороне такие учреждения, как королевские советы, министерства, парламенты, провинциальные штаты, интендантства и пр. и пр., т. е. все такие вещи, с которыми в прежних своих занятиях он не имел случаев встречаться. Быть может, Тэн бессознательно пренебрег всем этим, как слишком „техническим, скучным, мескинным“, подобно отношению к тому же са-

мого французского общества в XVIII веке (т. I, стр. 5). Зато какие блестящие страницы написал он в первой главе второй части о королевском дворе и придворной жизни, о времяпрепровождении короля, его семьи и родни, его общества. Тэн здесь является бытописателем большого света, а в двух других главах той же книги—и вообще великосветской салонной жизни, изображенной у него рукою настоящего мастера. Здесь есть материал для красочной картины, какой не сделаешь из механизма, например, административной централизации, так сильно интересовавшей Токвиля. Конечно, на читателя не может не произвести впечатления контраст между праздной, веселой и роскошной придворной и салонной жизнью, с одной стороны, и придавленностью и нищетой народной массы, с другой, но и здесь это более литературный эффект, нежели научный анализ.

Притом объяснение существования привилегий без оказывавшихся обществу услуг, за которое общество и вознаградило привилегиями, не соответствует исторической действительности. Если во Франции много задолго 1789 года, думает Тэн, духовенство, дворянство и король занимали привилегированное положение, то потому, что в течение многих веков его заслужили (I, 1). Тэн отдельно говорит об услугах и о вознаграждениях всех трех привилегированных положений (3—16), о содержании этих привилегий (17 и сл.) и о том, как привилегированные перестали в XVIII веке оказывать услуги и в местной, и в общегосударственной жизни (гл. II и III). Отсюда нерасположение крестьянина к замку и его обитателям, „существам другой породы, поставленным в выгодное положение ко вреду для других и хорошо оплачиваемым за ничегонеделание“ (52). Самая крупная из этих привилегий была королевская, или, как выражается Тэн, положение „наследственного генерала в главном штабе наследственной знати. По правде сказать, его должность не была синекурой, как положение дворян, но с нею соединялись столь же важные неудобства и еще худшие искушения. Две вещи губительны для человека: отсутствие занятий и отсутствие сдержки; ни праздность, ни всемогущество не соответствуют его природе, и абсолютный государь, могущий все делать, как праздная аристократия, которой нечего делать, кончает тем, что становится бесполезным и вредным (inutile

et malfaisant). Незаметно, прибирая к рукам все власти, король обременил себя всеми делами, задача огромная и превосходящая человеческие силы" (93). Король фактически не мог исполнять все свои обязанности, но совесть его оставалась спокойною (102). В конце концов, "центр правления сделался средоточием зла; все несправедливости и все бедствия исходили из него, как из некоторого фокуса; здесь была сердцевина общественного нарыва, которому предстояло лопнуть". Этот конец Тэн называет "справедливым и роковым следствием привилегии, которою пользуются для личной выгоды, вместо того, чтобы приносить пользу другим" (108). Это относится и к королю, и к другим привилегированным. "Уже перед окончательным крушением, говорит Тэн, Франция разложилась, а разложилась она потому, что привилегированные забыли свое значение" (108). Неверно поняв происхождение привилегий, Тэн односторонне определил и причину крушения ссылкой на то, что король, духовенство и дворянство незаслуженно пользовались привилегиями. — Конечно, как на причины революции, Тэн указывает еще на недовольство своим положением среднего класса и народа. В XVIII веке "буржуазия работала, фабриковала, торговала, приобретала, сберегала и каждый день все более обогащалась" (401), давала деньги в долг государству (403), начала интересоваться государственными делами (404), стала вместе с тем подниматься по общественной лестнице, сближаться с дворянством, получать образование, тяготиться привилегиями (406 — 411), стремиться к равенству, завидуя дворянству (419), и даже считать себя всей нацией (421 — 422), и в этих новых ее стремлениях она находила поддержку в литературе. "Третье сословие, говорит Тэн, считает себя теперь лишенным принадлежащего ему места, дурно чувствует себя на занимаемом им месте и страдает от тысячи мелких уколов, которых прежде и не почувствовало бы. Кто чувствует себя гражданином, тот раздражается, что с ним обращаются, как с подданным, и никто не соглашается стоять ниже того, кого считает себе равным" (417). Автор ссылается и на указы 1789 года, но пользуется старым "Резюме наказов" Приюдома (422 и сл.). Повторяю, что буржуазия интересуется Тэна, как среда, в которую из салонов спустились идеи, бывшие для людей большого света, по образному его



выражению, „иллюминацией вечеров, салонными петардами и забавным бенгальским огнем“ (438), попавшими потом в нижние этажи, где накопилось уже довольно горючего материала, дров, готовых вспыхнуть. „Берегитесь, — так заключает Тэн главу, — в подвале дома, под его обширными сводами находится склад пороха“ (428). Под этим складом разумеется народная масса.

В последней части „Старого порядка“ Тэн не пожалел красок, чтобы изобразить всю нищету, все бедствия народа, преимущественно крестьянина, деревни (429 — 451). „Когда человек несчастен, он огорчается, но когда он в одно и то же время владеет собственностью и несчастен, он огорчается еще больше. Он мог примириться с бедностью, но не примиряется со сполнацией, а таково было положение крестьянина в 1789 году, потому что в течение XVIII века он приобрел землю“ (451). Сколько у него отнимается государством в форме налога, в котором Тэн видит главную причину народной нищеты перед революцией! (456 и сл.) Здесь тоже прекрасные страницы в труде Тэна, который дает так же картину умственного состояния и настроения народной массы. „Возьмите, читаем мы здесь, еще столь грубый мозг одного из наших теперешних крестьян и выньте из него все идеи, которые в течение десятков лет в него проникают разными путями, через начальную школу, устроенную в каждой деревне, при возвращении рекрут после нескольких лет службы, при помощи книг, газет, железных дорог, поездок и всяких иных сношений. Постарайтесь представить себе тогдашнего крестьянина, от отца к сыну прикованного к своей деревушке и замкнутого в ней, без проселочных дорог, без новостей, без какого либо обучения, кроме воскресной проповеди, целиком озабоченного насущным хлебом и уплатою налогов, с его жалким и тщедушным видом, не смеющего починить свой домишко, всегда находящегося в тревоге, недоверчивого, с умом, укороченным нищетой. Его состояние похоже на состояние его быка или осла, и его идеи соответствуют его состоянию“ (489 — 490). Тэн прибавляет, что каждая идея, прежде чем пустить корни в таком мозгу „должна сделаться легендой, столь же нелепой, как и простой, приспособленной к опыту, способностям, страхам и надеждам“ людей, у которых такой мозг. Раз засеяв в мозгу, легенда там растет,

развивается, укрепляется и „чем она чудовищнее, тем более живуча, цепляясь за самое хилое вероподобие и упорствуя против самых сильных доказательств“ (482). Тэн предлагает сообразить, каким должно было быть их политическое понимание, в котором все предметы принимали совершенно ложный вид (493). Народ ему рисуется притом озлобленным и в то же время лишенным вождей и организации, чем-то в роде стада (495). В конце 1788 года „река сделалась бурным потоком, поток превращается в катаракт“ (496). В 1789 году совсем готовы банды, „ибо под страдающим народом есть другой, еще более страдающий народ, бунт которого непрерывен и который, подавляемый, преследуемый, темный, ждет только случая, чтобы выйти из своих укрожных местечек и разнуздать себя на воле“ (497). Это — тоже продукты дурной системы: бродяги, нищие, браконьеры, контрабандисты, разбойники, которых тогда было так много (498 и сл.). Тэн приводит цифры бедняков в Париже, в Лионе, в Ренне. „Неужели вы думаете, спрашивает он, что эти люди согласятся умереть с голоду“? (507). „В каждой революции, замечает он еще, подонки общества всплывают на поверхность. Раньше их не видали, потому что они, как крысы, прятались в своих норах, и вдруг такие фигуры являются на сцену“ (508). А где вооруженная сила против общего возбуждения? спрашивает еще Тэн (510) и рисует развал армии, где были те же беспорядки, что и в обществе, те же привилегии и те же угнетения (409 и сл.). И в эту-то массу, указывает он, были пущены новые идеи, могшие быть понятыми только посвоему. Людям из народа „наговорили, что они суверены, и они стали действовать, как суверены. При данном состоянии их ума нет ничего естественнее их поведения. Несколько миллионов дикарей было выпущено несколькими тысячами говорунов, и политика кофеен получает исполнителей и исполнителей в виде уличных стечений толпы. С одной стороны, грубая сила отдает себя в услужение радикальным догматам. С другой, радикальные догматы отдают себя в услужение грубой силе. И вот в разложившейся Франции уцелели только две силы на развалинах всего остального“ (521). Последняя мысль повторяется Тэном на разные лады. Например, он говорит, что уже „наперед был намечен путь, по которому пойдет рево-

люция: человек из народа обрабатывается адвокатом, человек с пикой позволяет вести себя человеку фразы“ (519) или другое место: „страсти, чтобы себя узаконить, прибегают к теории, а теория, чтобы получить применение, прибегает к страсти“ (520).

Тэн в первом томе этих своих „Origines“ выступает, не только как критик с целым обвинительным актом против старого порядка, наглядным образом показывающим, как старый порядок подготовил и породил революцию, но выступает и критиком политических и общественных теорий XVIII века. Прежде, чем перейти к этой его теме, нужно отметить, до какой степени Тэн далек от той идеализации народа, которую мы находим, например, у Мишле. Это два разные народа: народ-герой у одного и народ-дикарь у другого. Тэн очень ярко изображает все страдания народа под режимом привилегий, произвола, эксплуатации, но и показывает, что этот режим не мог иметь следствием что-либо другое, как не самой этот невежественный, тупоумный, легковерный, озлобленный, насильственный, одержимый страстью к разрушению народ. Политический деспотизм разъединил классы, расплыл общество, отнял у индивида его силу (516 — 517), чем и обусловил дорогу, по которой пошла революция.

Третью часть первого тома „Les Origines“ Тэн начинает следующими характерными словами: „когда мы видим, как человек немного слабого сложения, но с виду здоровый и с мирными привычками, жадно глотает новый напиток, потом вдруг падает наземь с пеною на губах, впадает в бред и корчится в судорогах, мы легко отгадываем, что в приятном питье было опасное вещество, но мы пужаемся в тонком анализе, чтобы выделить и разложить яд. Такой яд был в философии XVIII века и свойства как странного, так и сильного, ибо он не только был делом долгой исторической выработки, окончательным и сгущенным экстрактом, к которому привело все мышление века, но заключал в себе два главных ингредиента, отличающихся тою особенностью, что, взятые в отдельности, они благотворны, а в соединении дают ядовитый продукт“ (222 — 223). Один из этих ингредиентов он называет „научными приобретениями“, или „достоинством науки“ (l'acquis scientifique), другой — „классическим духом“ (l'esprit

classique). В первой главе этой части Тэн говорит об успехах и накоплении открытий в естествознании, о влиянии его на новую философию, в частности на науку о человеке, на историю, на психологию, об отрешении их от теологических предпосылок, об аналитическом методе и его принципе, равно как об условиях плодотворности этого метода. Здесь Тэн выступает, как позитивист, сам работающий научным методом. Он указывает на необходимость „поочередного рассмотрения каждой отдельной сферы человеческой деятельности, разложения основных понятий, в каких мы их мыслим, понятий религии, общества и правительства, пользы богатства и обмена, справедливости, права и долга“, необходимость „восхождения до осязаемых фактов, первых опытов, простых элементов“ и т. д. (238).

Но в XVIII веке еще не было специальной предварительной разработки, а наука только начала овладевать моральными и политическими явлениями, откуда крайняя недостаточность, неполнота, сомнительность ее тогдашних выводов, а от работы, произведенной над теми же вопросами „кабинетным умозрением, салонным любительством или уличным шарлатанством“, получались лишь „зловредные продукты и смертоносные взрывы“ (239). Под вторым ингредиентом философии XVIII в., который у Тэна называется „классическим духом“, разумеется, в сущности, главным образом, рационализм (240 и сл.), хотя этого термина Тэн и не употребляет. Существо дела он видит в применении во всех исследованиях чисто математического метода „с полным к нему доверием, без всяких оговорок и предосторожностей“ (262). Мыслители этого рода никогда не стояли на твердой почве наблюдения, а вечно витали в воздухе, в пустом пространстве чистых отвлеченностей (263). Вместо изучения общества, каково оно есть, строили общество, каким бы желали его видеть (264). Эта „школа“ пережила и революцию, и империю вплоть до реставрации, бывши „столь же опасной, как и полезной, столь же разрушительной, как и творческой, столь же способной распространять заблуждения, как и истину, столь же удивительной по строгости своего кодекса, узкости своего ядра, единообразию своих произведений, как и продолжительностью своего господства и универсальности своего влияния“ (265). Комбинацией обоих направлений

и была для Тэна философия XVIII века, противоположившая разум традиции (266 и сл.). Тэн не признаёт такого противопоставления, потому что считает и „наследственный пред-рассудок своего рода разумом, себя не сознающим (*une sorte de raison qui s'ignore*) и имеющим свои права (*ses titres*), как и сам разум“, ибо, „как и у науки, у него есть источник в долгом накоплении опыта“, множество поисков ощупью и проб, приводящих к наиболее подходящему, практическому и благодетельному строю жизни (270). К сожалению, говорит Тэн, в XVIII веке не было ни приспособленности, ни документов для надлежащего понимания традиции (276). Он прослеживает, как постепенно „классическим разумом“ подрывались вся вообще традиция и все связанные с нею учреждения. „Господствующая философия отняла всякое значение (*autorité*) у обычая, у религии, у государства“, объявив традицию не только ложью, но и „источником несправедливости и угнетения“ (322). В глазах кабинетных законодателей, за которыми последовали законодатели собраний, история прошлого, история человека, еще не обладающего разумом, должна была кончиться и начаться история будущего человека разумного (303).

Целую главу (IV в третьей книге) Тэн посвящает разбору политической теории „Общественного Договора“, отмечая, как ее следствие, подавление индивидуальности, непрочность правительственной власти и всевластие государства, в сущности, собрания, партии или единичной личности, держащих в своих руках власть. Этот „воображаемый договор, резюмирует Тэн, в одно и то же время анархический и деспотический, спускает с цепи восстание и оправдывает диктатуру и все это для того, чтобы придти к противоречивому общественному порядку, который похож то на вакханалию бесноватых, то на спартанский монастырь, и заменить живого человека, прочно и медленно выработанного историей, импровизированным автоматом, который сам собою разрушится, как только внешняя и механическая сила, его воздвигшая, более его не поддерживает“ (328).

Мастерски, как, впрочем, большую частью везде, Тэн в четвертой части первого тома объясняет успех этой философии во Франции и неуспех в Англии с ее большей положительностью и практичностью. Здесь он выдвигает на

первый план французское писательское искусство, предназначение книг для светских людей, светскость самих писателей, проникновение их в салоны, общедоступность содержания и приятность формы этой литературы, сильную приправу к ней в виде непристойностей и насмешки. Во Франции „литература пошла в услужение к философии. Перед их сочувствием публика почти не оказывает сопротивления, и госпоже уже не трудно убедить тех, кого служанка уже соблазнила“ (361). Мастерски же набрасывается далее картина этой публики, праздного высшего класса, любящего разговаривать, скептического, вольнодумного, фрондирующего, склонного к неверию в религии и к оппозиции в политике. Тэн приводит свидетельства современников, характеризующие „эту аристократию, пропитанную гуманитарными и радикальными правилами, этих придворных, враждебных двору, этих привилегированных, содействующих подрыву привилегий“ (388). Он приводит еще пример великодушия чувств и поведения привилегированных перед революцией (391 и сл.). Они хотят добра народу, в принципе признают, что простолюдин добр (395), и это настроение заражает правительство (396—397). Впрочем, мы видели, что в другом месте Тэн все это сравнивает с иллюминацией, с фейерверком, с бенгальским огнем. Для салонов это забава, игра „пусканием со смехом в окна“ (427), но в лавках, в магазинах, в деловых бюро буржуазии дело принимает более серьезный характер. В бель-этаже замечают, что в нижнем этаже и в антресолях как-будто начинается пожар; „нет, говорят наверху, внизу не подожгут дома те, которые в нем живут. Это жгут солому и дальше труб огонь не пойдет; чтобы его потушить, довольно ведра воды, притом, ведь это прочищает трубы от накопившейся в них старой сажки“. А в подвале, между тем, как было уже сказано, имеется целый пороховой склад (428).

Таково содержание „Старого порядка“ Тэна, книги, читающейся с захватывающим подчас интересом, подобно талантливому роману. Тэн крупный мастер слова, литературной формы, писательского стиля. Мы видим, однако, что везде у него на первом плане психология, психология и психология и описание внешних вещей, в которых проявляются настроения, нравы и идеи людей. Банкерство ста-

рого порядка у Тэна изображено превосходно, но не столько в законодательном бесплодии, в административной неурядице, в экономической разрухе, в финансовой недохватке и т. п., сколько в субъективных переживаниях людей вообще и отдельных слоев, классов и групп общества. Старый порядок историком, конечно, осужден, и объяснено происхождение революции, осужден не только автором, но, как он показывал, и современной старому порядку философией, но и сама эта философия осуждена Тэном за свою ненаучность и метафизичность, хотя последнего термина он и не употребляет.

Три тома „Революции“ Тэна, вышедшие в свет в течение семи лет (1878 — 1884), содержат в себе более полуторы тысячи страниц текста, опирающегося на массу изданных и неизданных источников, обильного фактами и написанного блестящим стилем, который сделал Тэна одним из первоклассных французских писателей второй половины XIX века. Его „Революция“ не есть, однако, последовательный рассказ о событиях, какой дали Минье, Тьер, Мишле, Луи Блан, а скорее это — описание быта, нравов, характеров, история не столько событий, а именно быта, не прагматическая, одним словом, история, а культурная с преобладанием притом психологического интереса над социологическим. Как в своих прежних трудах по истории литературы и искусства за словесными и художественными произведениями Тэн искал создателей их или в них изображавшихся людей с их внутренним миром, так и здесь интерес направлен на вождей, деятелей, соучастников, помощников, сторонников революции, на отдельные их группы, на партии, на случайные толпы, на всю народную массу. У Тэна в этих трех томах множество замечательных характеристик, как индивидуальных, так и коллективных. Он оперирует здесь массами фактов, накапливая однородные факты, анализируя их и размножая посредством анализа, указывающего на сложность каждого факта, синтетически сводит их к общим категориям или причинам, дает формулы, их объясняющие, в то же время ища в отдельных людях или группах то, что он называет „la faculté maîtresse“, т. е. главную способность, господствующую черту ума, характера, настроения или основное свойство положения.

Изложение держится, однако, хронологического порядка. Начинает Тэн с изображения стихийной (spontanée) анархии,

с первых месяцев 1789 года до события 5 и 6 октября того же года. (кн. I). Потом он рассматривает деятельность Национального Собрания за все время его существования (кн. 2), и то, как новые законы прилагались при нем к жизни (кн. 3: *La constitution appliquée*).

Все это включает в себе первый том (второй в целом труде) под заглавием „Анархия“. Второму тому дано название „якобинское завоевание“. Это — целый трактат о якобинизме: тут даются психология якобинизма, история образования этой партии и вступления ее во власть с началом Законодательного Собрания, причем хронологически изложение доводится до 31 мая — 2 июня 1793 года (кн. 4). На заголовке третьего тома „Революции“ стоят слова „Революционное Правительство“. Здесь, прежде всего, рассматривается установление этого правительства (кн. 1), затем излагается якобинская программа (кн. 2), даются характеристики правителей (кн. 3) и управляемых (кн. 4) и в заключение рассказывается о конце революционного правительства от 9 термидора до 18 брюмера (кн. 5). Этот конец, охватывающий более пяти лет, умещается всего на 85 страницах, а на менее нежели два года господства якобинцев, по счету Тэна, отведено более тысячи страниц, т. е. две трети всей Революции, причем и два с небольшим года самого Учредительного Собрания занимают менее пятисот страниц. Таким образом, якобинизм у Тэна является как-бы господствующей чертой, основным, наиболее характерным явлением революции, в котором проявился ее дух, выразилась вся ее сущность. Психология якобинца, это, можно сказать, „классический дух“, философия XVIII века в душевном настроении и волевом действии, водворяющем „революционное правительство“, вместо „сверженной монархии“. Мало того, Тэн не только очень резко не противопоставляет жирондистов якобинцам, но скорее включает первых в число последних (11, 107 — 110, 146 — 149, 382 — 388 и др.), более обращая внимание на родовые признаки якобинизма, нежели на видовые различия между жирондистами и монтаньярами. Известно, что в более тесном смысле якобинцы, это — члены определенной организации, знаменитого „общества“ или клуба. Часто, с другой стороны, якобинцы отождествляются с монтаньярами, уже только представителями народа, но у Тэна якобинец — человек извест-



ного настроения вообще, некоторый общий тип, под который подводит он и жирондистов, хотя и отличая их от „чистых“ якобинцев. Его интересуют в деятелях революции некоторые общие черты, в которых для него и заключается психология якобинца. Вот кое-какие места у Тэна, где характеризуются жирондисты. Они являются у него людьми, влюбленными в дедуктивную политику, абсолютными в своих убеждениях и гордыми своей верой. Так как принципы верны, то, по их мнению, их должно применять без всяких исключений. Они считают нужным доходить до конца; с самонадеянностью молодых людей и теоретиков они делают свои выводы и очень довольны, что сильно верят (II, 107). Убежденные в превосходстве своего образования и в чистоте своих чувств, они призывают в принципе, что правление должно быть в их руках... и берут в союзники худших демагогов крайней левой (II, 109). Они выводят на политическую арену колоссального зверя (brute), шесть месяцев раздражают его красным знаменем, подстрекают, пугают и натравливают декретами и прокламациями на своих противников (II, 146). Известно, как жирондисты во времена Законодательного Собрания „преследовали католические убеждения“ (conscience), совершали насилия над феодальной собственностью, захватывали законную власть короля, с каким остервенением действовали против остатков старого порядка, как снисходительно относились к народным преступлениям, какое проявляли упрямство, какую стремительность, какую смелость, какие иллюзии вплоть до того, что втравливали Францию в войну, вооружили последнюю чернь и даже в низвержении всякого порядка видели наступление царства философии и торжество разума. Когда дело идет о его утопии жирондист-сектант и не знает никаких тревог совести (II, 383 — 384), все это, однако,—якобинские черты. Если Тэн и отличает жирондистов от якобинцев, то лишь от „крайних“ (II, 148), от „чистых“ (II, 486). Даже ст. монтаньяров у Тэна они иногда не отличаются. Вследствие своего абстрактного принципа, говорит он в одном месте, Жиронда оказывается в согласии (est d'accord) со своими противниками, и на роковой покатоности, на которой ее удерживают ее инстинкты чести и гуманности, общий догмат своею внутреннею тяжестью заставляет ее катиться все ниже и ниже, до той бездонной пропасти, где государство, по формуле Жан-

Жака, всемогущее, философское, антикатолическое, антихристианское, авторитарное, эгалитарное, нетерпимое и пропагандистское, захватывает воспитание, нивелирует состояния (les fortunes), преследует церковь, угнетает совесть, раздавливает индивида и силою оружия навязывает свою форму за границе. В сущности, за вычетом грубости и стремительности жирондисты, исходя из тех же принципов, что и Гора, идут к той же самой цели, как и Гора; вот почему сектантская, предвзятая мысль (le préjugé sectaire) ослабляет в них моральное отвращение; в глубине их души (dans le secret de leur coeur) революционный инстинкт находится в заговоре с их врагами, и во многих случаях они изменяют сами себе (II, 432 — 433). Тэна интересует не то, чем отличались или в чем расходились жирондисты и монтаньяры, не их борьба, а то, что у них он находит общего, якобинского в расширенном понимании термина. Жирондисты как бы те же якобинцы, но более образованные и совестливые.

Кроме якобинцев, действующими силами у Тэна выступают массы, „народ“, тот самый „народ“, который он изобразил в „Старом порядке“ таким несчастным и таким грубым, и, представительные собрания, издававшие законы и управлявшие Францией.

Народ на сцене у Тэна занимает самое видное место в первом томе „Революция“, где идет речь об анархии. Ее причины он видит в голоде, в дурном качестве и дороговизне хлеба, с одной стороны, и в надежде, рожденной созывом Генеральных Штатов, с другой, причем начинают играть роль бродяги и разбойники, а репрессия до-нельзя ослабляется. О выборах в 1789 г. и о наказаниях еле-эле при этом упоминается, как и об открытии Штатов и о начале Национального Собрания. На первом плане народ, его волнения, восстания, жакерия, давление на Собрание, разрушение правительства с массой подробностей на основании архивных документов. „Довольно было года, говорит Тэн, чтобы превратить глухое недовольство в политическую страсть“ под влиянием брошюрной прессы (I, 35) и агитаторов (I, 41). „Начинается диктатура скученной толпы, а способ ее действия — насилие: всему, что ей сопротивляется, она наносит удары“ (45). С этого момента ни для кого нет безопасности: ни новая милиция, ни новые власти и после 14 июля

не в состоянии заставить уважать закон (64). Позади бездеятельного и безоружного короля и Национального Собрания, не находящего повиновения или самого вынужденного повиноваться (*désobéie ou obéissante*) уже виден „настоящий монарх, народ, т. е. скопище (*l'attroupement*), сто, тысяча, десять тысяч человек, случайно собравшихся на зов, по сигналу и немедленно, непреодолимо делающихся законодателями, судьями и палачами. Страшная, разрушительная, неопределенная сила, на которую никто не может наложить руку и которая со своею матерью, лающею и уродливою Свободою, сидит на пороге революции, как два привидения Мильтока у врат Ада“ (66). Старые власти пали, новые бессильны, везде покушения на личность и собственность, как в провинциях, так и в Париже. Тэн неоднократно повторяет, что настоящим государем сделалась толпа, (109), но этот злосчастный монарх голодает и заставляет оберегать от него самого хлебные транспорты (112). Появляются и люди, которые убивают, и люди, хотящие управлять. „Администраторы и члены собраний дистриктов, инициаторы предложений в жандармериях, в кофейнях, в клубах (*cercles*) и на площадях, изготовители брошюр и газет кишели, как жужжащие насекомые, родившиеся после ночной грозы. После 14 июля тысячи мест открылись для вырвавшихся на волю честолюбив... Каждый хотел быть чиновником, администратором, советником или министром нового царствования, и газеты, основывающиеся десятками, становились постоянными трибунами, с которых декламаторы куртизанят перед народом в свою выгоду. Попавши в такие руки, философия принимает вид пародии на самоё себя, и ничто не равняется с ее пустотою, кроме ее зловредности (*malfaisance*) и ее успеха. В шестидесяти собраниях парижских дистриктов адвокаты развивают трескучие (*ronflants*) догматы революционного катехизиса (116 — 117)... Ораторы воображали себя Мирабо, а слушатели—Национальным Собранием, решающим судьбы Франции. Один и тот же стиль в газетах и в брошюрах. Чад гордости и громких слов заполнил мозги; кто громче всех бредит, тот становится корифеем толпы и руководит экзальтацией, которую подогревает. Посмотрите, говорит Тэн, на главных, на самых популярных: это или засохшие, или зеленые фрукты литера-

туры и адвокатской трибуны... Никакой политической идеи в их неопытности или пустых головах; никакой компетенции, никакой практической опытности". Тэну тут приходят на ум имена Камилла Демулена и Лустало „с их легким багажом школьных реминисценций и общих мест, собранных у Рэйналя и К-о“, и имена Бриссо и Марата, видевших Францию и чужие страны из слухового окна своей мансарды или через очки своих утопий. „Такие умы, продолжает Тэн, обнаженные или сбившиеся с дороги, не преминут принять Contrat Social за Евангелие, ибо он сводит политическую науку к строгому применению элементарной аксиомы, что освобождает от всякого изучения, — и еще подчиняет общество произволу народа, что передает общество в их руки, (118). Поэтому они разрушают то, что от него остается, пока все не сравняется... Прикрываясь великим словом свобода, всякое тщеславие ищет своей мести и добычи. Нет ничего более естественного и более приятного, как оправдывать свои страсти своей теорией, быть смутьяном, воображая себя патриотом, и облекать свои интересы в одеяние интересов человеческого рода (119). Поднявшись так высоко, притом вследствие столь быстрого подъема качелей, разве они захотят спуститься, и разве не видно, что они будут всеми своими силами помогать движению, которое направляет к самым первым вершинам? Впрочем, на такой высоте голова кружится; внезапно поднятые в воздух и чувствуя, что вокруг них все опрокидывается, они восклицают от негодования и страха, они видят везде махинации, воображают, что невидимые веревки тянут назад, кричат народу, чтобы он их обрезал. Всею тяжестью своей неопытности, своей неспособности, своей непредусмотрительности, своего страха, своего легковерия, своего догматического упрямства они влекут народ ко всяким покушениям, и все их статьи и речи могут быть резюмированы в такой фразе: народ, т. е. вы, уличная толпа, меня слушающая! у вас есть враги, двор и аристократы, и есть прикащики, Ратуша и Национальное Собрание. Протяните руку, свою суровую руку, к своим врагам, чтобы их повесить, и к своим приказчикам, чтобы их заставить идти (120). Так изображает Тэн новых вождей народа, приводя далее и ряд фактов, указывающих на то, как народная толпа производила давление на Национальное

Собрание (122 и сл.) еще в Версале. В этих народных выступлениях он различает два течения, могущих слиться в один поток: „с одной стороны, это — желудочные страсти и женщины, взбунтовавшиеся от голода, а с другой, страсти мозговые и мужчины, нуждою направленные к господству“ (126), поток же этот — октябрьские дни 1789 года. После переезда короля в Париж для Тэна „нет уже больше сомнения (on n'en peut plus douter): террор установился, находится у себя дома“ (138).

Изобразив стихийную анархию 1789 года рельефно, красочно, с массою мелких подробностей и рассмотрев в отдельной части первого тома деятельность Национального Собрания, Тэн опять возвращается к прежней теме, к непрерывности беспорядка, к развитию произвола на местах и независимости групп, к бессилию властей, к насилиям, к разгулу страстей, освободившихся от всякой сдержки, к диктатуре низменных инстинктов, к общему развалу и разрушению. И опять идут ряды фактических подробностей в колоритной передаче, в которых Тэн был великим мастером. Подводя итоги, он отыскивает, какая же была у революции „*faculté maîtresse*“, ее наиболее существенная черта. „Каковы бы, говорит он, ни были громкие слова: свобода, равенство, братство, которыми украшает себя революция, она по существу своему есть перемещение собственности: в этом ее внутренняя основа, ее постоянная сила, ее первый двигатель, ее исторический смысл“. Место религиозной и патриотической ревности былых времен заняло стремление к материальному благосостоянию, ибо „в наших индустриальных, демократических, утилитарных обществах эта потребность управляет всеми жизнями и вызывает все усилия. Подавлявшаяся в течение веков страсть выпрямилась, сбросив с себя два бремени, ее тяготивших: правительство и привилегии. Теперь она бурно развязывается во всю, как грубая сила, через все легальные и легитимные, публичные и частные виды собственности. Препятствия, ею встречаемые, делают эту силу только еще более разрушительной: позади владений она нападает на владельцев и завершает свои сползания проскрипциями“ (386 — 387).

Следя за развитием господствующей страсти (*passion-maîtresse*), Тэн, вопреки общему мнению историков, находит, что

„если народная страсть кончается убийствами, то не потому, чтобы сопротивление было велико и сопровождалось насилием. Наоборот, никогда аристократия не переносила отпятие собственности с таким терпением и так мало не прибегала к силе, чтобы защищать свои прерогативы и даже владения. Точнее говоря, она получает удары, их не возвращая, а когда вооружается, то почти всегда с буржуазией и с национальной гвардией по приглашению властей для охраны личной и имущественной безопасности. Дворяне хлопчут о том, чтобы не быть убитыми или ограбленными, больше ничего; в течение трех лет они не поднимают никакого политического знамени“, прибавляет Тэн (388 — 389).

„К несчастью, говорит он дальше, народная страсть — сила слепая, и за отсутствием света она руководится видениями. Воображение работает и работает сообразно с устройством разгоряченного мозга, порождающего эти видения“ (393).

Боязнь возвращения старого порядка вызывает мономанию подозрительности, домашние обыски, преследования, притеснения и т. п., что влечет за собою эмиграцию. То же самое изображает Тэн и в военной среде со стороны солдат по отношению к офицерам (421 и сл.). А что будет еще, когда начнется война (456).

На двух последних страницах тома Тэн рассказывает довольно обычную для бедных кварталов историю рабочего, переутомленного работой, бедного, плохо питающегося и предавшегося пьянству, заболевающего затем частными параличами, воображающего себя потом миллионером, королем, весело поющего и кричащего целые дни, во наконец начинающего видеть вокруг себя все в мрачном виде, одних врагов, одни преследования и кончающего убийством кого-либо, чтобы самому не быть убитым воображаемым разбойником или палачом.

„Так же и Франция, заключает Тэн первый том, — и Франция, истощенная голодом при старом порядке, опьяневшая от скверной водки Общественного Договора и от двадцати других подмешанных острых напитков, потом внезапно подвергшаяся параличу, начинает корчиться всеми своими членами от несвязных движений и противоположных подергиваний всех ее расстроенных органов. Теперь она пережила период светлых бредовых видений и должна перейти в период мрачного бреда, и вот она способна на все дерзать, всему подвергать

себя и все делать, совершать неслыханные подвиги и омерзительные варварства, как только ее проводники, столь же заблуждающиеся, как и она сама, натравят ее ярость на врага или на препятствие“ (459). Этот кусок текста в оглавлении назван „психологией революции“, в которой Тэн больше ничего и не видит.

Этими поводами параличной Франции, идущей спотыкающеюся походкой, дрожащей всеми своими членами, везде видящей опасности, врагов, всякие страхи, сделались якобинцы в самом широком понимании термина, сами прежде всего демагоги. В следующих двух томах Тэн опять показывает нам народные массы в действии и вводит нас в собрания парижских секций. Он рассказывает события 20 июня (II, 199 и сл.), 10 августа (II, 235 и сл.) сентябрьских дней 1792 года (II, 263 и сл.), постоянно отмечая ту или другую из невысоких черт народной психики: „в народном мозгу идеи столь же упрямые, как и короткие“ (201) и т. п. Впрочем, Тэн подчеркивает, что громадное большинство населения даже в самые бурные моменты продолжало заниматься своими житейскими делами. „Политика, говорит он, отрывает от них разве только на четверть часика, да и то, как нечто просто любопытное, как драма, которую можно одобрить рукоплесканиями или проводить свистками, не сходя со своих мест и не всходя на подмости“ (252). В доказательство этого Тэн приводит ряд свидетельств современников. „Такова, продолжает он, холодность или только тепловатость огромной массы, эгоистической, занятой в другом месте и всегда пассивной под каким бы то ни было правительством, настоящее стадо, позволяющее ему делать все, лишь бы оно не мешало пастишь (broucher) и резвиться“ (254). После ухода храбрых для защиты отечества, при „инерции стада“ Париж очутился в руках „фанатиков из черни“ (255), для которых „стихийные убийства становятся административной операцией“ (262). Тэн не устает отмечать, что громадное большинство ступшеывалось, что действовало незначительное меньшинство, „автократия насильственного меньшинства“, как он выражается в одном месте (251). Это фанатическое меньшинство Тэн часто называет „якобинской чернью“. Она, говорит он, смутно сознаёт свою малочисленность, свою

узурпацию, опасность своего положения. Она чувствует себя расположившеюся на mine: а вдруг мина взорвется. Так как ее противники — злодеи, способные нанести удар, устроить заговор или резню, она, сама только на это способная, другого ничего не понимает и по неизбежному предположению приписывает им смертоносную мысль, которая незаметно вырабатывалась где-то в глубине ее мутного мозга“ (299). Люди, захватившие 10 августа Ратушу, царят над 700.000 душ населения столицы „по милости восьми или десяти тысяч фанатиков или забияк“ (coûre-jarrets, 273). В одном месте Тэн дает длинный перечень званий, профессий и т. д. лиц, участвовавших в сентябрьской резне (295), отмечая, что, особенно сначала, убийцы не думали о наполнении своих карманов (296), но самыми реальными чертами характеризуют то нравственное помешательство, которое овладело толпой. Через физиономию палача или каннибала для Тэна сквозит лицо идиота, в мозгу которого „провалились все идеи, кроме двух, рудиментарных, машинных, навязчивых: одна из них — идея убийства, другая — идея общественного спасения. Одинокие в его пустой голове, они соединяются по неодолимому взаимному притяжению, и можно отгадать, какое отсюда получится следствие“ (305). Тот же сброд действует и 31 мая 1793 года, не говоря уже о постоянном посещении толпой заседаний обоих Национальных Собраний и Конвента.

В третьем томе „Революции Тэн отводит одну из пяти частей, на которые том разделяется, изображению быта „управляемых“ при господстве якобинцев. Действующее, в сущности, незначительное меньшинство, на которое опирался якобинский режим, мы уже видели; теперь очередь за большинством нации, всячески угнетавшимся. Здесь собрано Тэном громадное количество фактов, характеризующих, как жилось большинству нации в эпоху террора в разных отношениях. Опять это яркая по форме, но мрачная по содержанию картина нравов, обычаев, характеров.

Как далек „народ“ Тэна от „народа“ Мишле! Посмотрим теперь, как изображает Тэн якобинцев, главных представителей революции, носителей ее духа.

Для Тэна якобинцы не только члены знаменитого клуба, и даже не только политическая партия, но особый



человеческий тип. Он находит основы якобинского духа в двух общих свойствах человеческой природы: это, во-первых, „самоуверенность, крайнее (exagéré) самолюбие“, или гордость, во вторых, „догматическое рассуждение“, т. е. склонность к отвлеченностям. Они, говорит Тэн, вообще „не редкость в человеческом роде. Во всякой стране эти два корня якобинского духа существуют неразрушимые и скрытые. Везде они подавляются установленным порядком общества. Везде они стараются снять с себя старый исторический слой, тяготеющий над ними. Теперь, как и прежде, в студенческих мансардах и в меблированных комнатах богемы, в кабинетах врачей без пациентов или в бюро адвокатов без тяжб есть и Бриссо, и Дантоны, и Мараты, и Робеспьеры, и Сен-Жюсты в зародыше (III, 10), но последние за недостатком воздуха и света не распускаются. В двадцать лет, когда молодой человек вступает в жизнь, его разум оскорблен, как и его гордость. Во-первых, каково бы ни было общество, его окружающее, оно — скандал для чистого разума;.. оно не создание логики, а истории... Во вторых, как бы ни были совершенны учреждения, законы и права, раз они были раньше, он не давал на них своего согласия; другие, его предшественники, выбрали за него и наперед его заключили в моральную, социальную и политическую форму, им понравившуюся... Притом, какова бы ни была организация, раз она — иерархия, почти всегда он в ней бывает и остается лицом второстепенным, солдатом капралом, сержантом“ (II, 11). Именно „корни якобинского духа“ особенно часты в молодежи, только начинающей жить и судящей жизнь с точки зрения усвоенных ею теорий или самолюбия. Это — своеобразная „болезнь роста“, доброкачественная (bénigne) и скоропроходящая в правильных обществах (12), но как только общество разлагается, превращается в неурядицу (pêle-mêle), исчезают всякие сдержки и догматический дух с непомерным самоуверением оказывается на полном просторе (13). Задача создания нового порядка вещей порождает политические мечтания, причем каждый считает себя законодателем и верит в безграничные достижения, а вместе с брожением умов происходит извращение чувств и страстей (14 и сл.). Якобинцы зарождаются в общественном разложении, как

грибы там, где происходит брожение. У них есть внутренняя структура, как некогда у пуритан (18). Очень отчетливыми чертами выводит отсюда Тэн всю психологию якобинца и идеологию якобинизма. Он сравнивает якобинца с теологом, который сделался бы инквизитором. „Необычайные контрасты соединяются для того, чтобы образовать якобинца, говорит он. Это — сумасшедший, у которого есть логика, и чудовище, думающее, что у него есть совесть. Будучи одержим своим догматом и своею гордостью, он приобрел два уродства, одно уместное, другое моральное: он потерял здравый смысл и извратил в себе нравственное чувство. Созерцая свои абстрактные формулы, он кончил тем, что перестал видеть реальных людей; любясь самим собою, он кончил тем, что в своих противниках и даже соперниках видел только злодеев, достойных казни. На этой наклонной плоскости ничто не может его остановить, ибо, понимая вещи противоположно их сущности, он искал в себе ценные понятия, которые нас приводят к истине и справедливости. Никакой свет более не достигает до глаз, принимающих свое ослепление за прозорливость; никакое угнетение совести не затрагивает больше души, возводящей свое варварство на степень патриотизма и из своих покушений создающей свой долг“ (32). Никто из прежних общих историков революции не применял к якобинцам силы психологического анализа, как именно Тэн, и сколько бы ни было преувеличений в его характеристике якобинизма, характеристика в основе своей верна, как выведенная из фактов и факты объясняющая. Тэн анализировал и идеологию якобинца, вскрыв в ней внутреннее противоречие: выступив защитниками свободы и народовластия, они осуществляли принципы авторитета и правительства, корень чего Тэн видит не во внешних обстоятельствах, а в том, что гордость выродилась в якобинцах в самомнение, догматизм — в самоуправство. Добившись своего в крайнем своем самомнении, они проявили величайшее презрение к убеждениям и совести других, а в крайнем самоуправстве — беззастенчивость в распоряжении чужою жизнью и достоянием. Из этих двух основных черт выросла третья — необычайная озлобленность, даже к теоретическому разногласию относившаяся, как к достойному казни преступлению. Целая глава в третьем томе посвящена психологии

вождей якобинцев: Марата, Дантона и Робеспьера, из которых первого он характеризует, как сумасшедшего (fou, III, 159 и сл.), последнего — как леданта (cuistre) весьма притом средних способностей (187 и сл.). Это — очень выдержанные, блестящие характеристики, в общем довольно верные, хотя бы в частности и были сильные преувеличения. Целый ряд всяких якобинцев проходит перед читателем и в следующей главе, а еще в одной главе даются суммарные характеристики низшего персонала исполнителей велений власти. Его, этот персонал, Тэн сравнивает прямо с бандами герцога Альбы и с наемниками Валлейнштейна. Это были уже настоящие бандиты, не выдававшие себя за гуманитарных философов, а просто-на-просто „пользовавшиеся грубой силой для насыщения своей жадности, своей жестокости, своего сладострастия“ (III, 378).

По „Революции“ Тэна нельзя ознакомиться с ходом событий, но зато быт эпохи, приемы управления, отправление правосудия, нравы и обычаи, образ действий всего правительственного персонала, поведение разных классов общества, условия их материальной жизни, все это и многое другое нашли в лице Тэна изобразителя, слишком страстно, правда, ко всему относившегося, чтобы иметь вид беспристрастного исследователя, но собравшего массу фактического материала и подвергнувшего его анализу, классификации и обобщениям. Никогда, говорит он, не было такого контраста между нацией и ее правителями (II, 470). Тем не менее Франция приняла этих правителей или подчинялась им (475). Причину этого Тэн видит в том, что централизация старой монархии так крепко сплотила нацию, что в минуту, когда отечество было в опасности, „нация идет за каждым знаменосцем, кто бы он ни был, узурпатор, авантюрист, негодяй, лишь бы шел впереди и крепко держал знамя в своих руках. Отнять у него это знамя, лишить его самозванного права, прогнать заменить другим, значило бы погубить общее дело. Хорошие люди пренебрегают своим отвращением ради национального спасения и, чтобы служить Франции, служат ее недостойному правительству“ (II, 476). Самоотверженность бросила в войско сотни тысяч буржуа, крестьян, начиная с волонтеров 1791 года и кончая реквизицией 1793 года, и они сражаются не только за Францию, но и

за революцию (477). Никто не желает возвращения старого порядка (478).

Остается теперь рассмотреть отношение Тэна к собраниям, которые призваны были дать Франции учреждения и законы. Данной стороне дела он посвятил меньшую часть своего труда. И в тех главах, где идет речь об этом предмете, также встречаются подробности чисто внешнего характера, не обращавшие на себя внимания прежних историков, например, о том, как велись заседания Национального Собрания (I, 144 и сл.), о размерах залы, об отсутствии наказа, о поведении депутатов и т. п.<sup>1)</sup>

Рассказано все это живо, в шутовском тоне, как заседание принимает вид „не делового обсуждения, а патристической оперы, в которой эклога, мелодрама иногда перемежаются между собою среди рукоплесканий и криков браво“ (I, 151). По мнению Тэна, с Национальным Собранием случилось то же, что и со всей Францией. „В этом большом всенародном банкете, который, как казалось Собранию, оно задавало и на который, широко раскрыв двери, пригласило всю Францию, оно сначала опьянялось благородным вином, но, чокаясь с чернью и постепенно, под давлением своих гостей, обратившись к подмешанным горячительным напиткам, оно дошло до нездорового и грубого опьянения, тем более грубого и нездорового, что упорствовало признавать себя за разум“ (153). Тэн говорит, что „хотя бы еще в светлые промежутки разума брал свое“, а то ведь „ни в одном французском собрании, кроме двух последующих, не было так мало политических голов“. Конечно, думает он, во Франции могло бы найтись пять или шесть сотен людей жизненного опыта, со светлыми головами, но большая часть этих светильников осталась под спудом, только некоторые попали в Собрание, где продолжали гореть, ничего не освещая, и скоро были задуты бурным ветром (154). Тэн самого невысокого мнения о составе Учредительного Собрания (155 и след.) У его членов тоже была теория, освобождавшая их от специальных знаний (160). Этому собранию новичков все казалось легким, стоило только располагать двумя или

<sup>1)</sup> Впоследствии об этом очень хорошую книгу написал G. Dodu под заглавием „Le parlementarisme et les parlementaires sous la révolution“ (1911).

три политическими аксиомами (185). Верх брала революционная партия, на стороне которой была господствующая теория и грубая сила также (165—172). В критике Тэна, в которой он следует иногда за Мунье, есть изредка верное, так, например, указание на то, что господствующая партия отказалась выделить из своей среды министерство (174). Не имея в своем распоряжении министра внутренних дел, который получал бы каждый день все необходимые полицейские сведения, Собрание само учреждает из своих членов, сменяющихся ежемесячно, комитет розысков, где неопытные новички заменяли свою неспособность насилиями, в которых уже таилась будущая „якобинская инквизиция“ (176). Разрушив старые власти и создав новые, оно, в последнем отношении с недоверием, заранее их разъединяя, чтобы они не были ему опасны, но благодаря этому, ни одна не была в состоянии действовать, как следует. „В деле создания, как и в деле разрушения, у Собрания было два плохих советника: с одной стороны, страх, с другой — теория, и на развалинах старой машины, которую оно разрушило без разбора, новая машина, построенная им без предусмотрительности, начнет действовать только для того, чтобы сломаться“ (178).

В критике, которой Тэн подвергает законодательство Учредительного Собрания, все очень пестро: рядом с верными замечаниями есть неверные, одно верное преувеличено, другое требует оговорок и пр. и пр. Войти в подробности было бы здесь слишком длинно. Укажем только, что строгий критик одобрил большую часть законов Собрания, касающихся частной жизни, но во всем относящемся к политическим учреждениям и к социальной организации, „оно, говорит Тэн, действовало, как академия утопистов, а не как легислатура практических деятелей... За двумя-тремя исключениями, допущенными в силу непоследовательности, за исключением сохранения королевской власти для народа и обязательности маленького избирательного ценза, оно провело до конца свой принцип, который был принципом Руссо. Вследствие предвзятости оно отказалось признавать действительного человека, бывшего перед глазами, и упорствовало в своем отношении к нему, как к отвлеченному существу, созданному книгами“. Тэн сравнивает дело Национального Собрания

с лечением больного тела, над которым был бы произведен ряд бесполезных и неумеренных ампутаций и на которое наложены были бы повязки, столь же недостаточные, как и вредные. Удалялись не только опухоли, но и самые органы (277). Когда исчезла всякая субординация или иерархия, когда все связи между людьми были разорваны, не было больше ни вождей, ни рамок, а остались только двадцать шесть миллионов равных и разрозненных атомов, неспособных сопротивляться, годных только к управлению страстью и силой (278). „Образцовое произведение спекулятивного разума и практического перазумия было завершено; в силу конституции самопроизвольная анархия становится анархией узаконенной. Она совершенна: такой не видели с девятого века“ (279). Под многими заявлениями Тэна о дворянстве и о духовенстве подписались бы очень охотно реакционеры и клерикалы всех стран и времен, но другое было и глубоко верно.

К Законодательному Собранию Тэн строг еще более. „Если верно, говорит он, что каждая нация должна быть представлена ее отборными людьми (élite), то Франция во время революции представлялась странно. От собрания к собранию политический уровень понижается; особенно глубоко падение от Учредительного Собрания к Законодательному“ (II, 94). О членах Законодательного Собрания, наиболее видных, он отзывался крайне отрицательно. „Прикрытые газом мифологические непристойности, на заднем плане классическое педанство, укороченные и неопределенные понятия посредственного образования, никаких солидных и точных сведений, пустые и плавные банальности амплификатора, развивающего в длинных тирадах сентенции своего революционного руководства, короче говоря, поверхностная культура и словесное рассуждение, вот из каких вульгарных и опасных ингредиентов состоит вся умственность (intelligence) новых законодателей“, прямо говорит Тэн (II, 102). Это те же черты, что и в Учредительном Собрании, но только в увеличенном виде. Аргументация здесь слабее, инвектива имеет более крайний характер, догматизм является более необузданным. Грубость вырождается здесь в нахальство, предрассудок — в фанатизм, близорукость — в слепоту. Беспорядок доходит здесь до сумятицы, шум —

до оглушительной трескотни... Ничего не достает, чтобы иметь вид влуга низшего разбора“ (II, 103). Вся политика этого собрания рассматривается, как усиление притеснений и развязывание рук притеснителей (122 и сл.). В особую вину ему Тэн ставит объявление войны Европе (129).

Конвенту Тэн даже не посвящает отдельной главы. Оно и понятно: для него это — чисто якобинское учреждение, и тем самым, говоря об якобинском правительстве, он попутно касается и Конвента, и комитета общественного спасения, и революционного суда, и комиссаров в провинциях и при армиях. Праведников в таких компаниях, да и то праведников со значительными иногда оговорками, оказывается для Тэна очень немного: например, в Комитете общественного спасения трое-четверо, в их числе знаменитый Карно, которые делают дело и делают хорошо, а потому „не имеют времени ходить к якобинцам, чтобы болтать, или в Конвент, чтобы интриговать“ (234), но участие в корпорации заставляет и этих „деловых людей“ вместе со своими товарищами, „государственными людьми“, предписывать грабежи и убийства, подписывать приказы, целыми десятками и сотнями, имеющие значение приговоров к смерти (236). Якобинские правители „нашли в арсенале монархии, при разрушенной, самые деспотические учреждения, выкопали древний римский закон об оскорблении величества“, применив его к оскорблению нации (*lèse-nation*) и т. д. (III, 68). За Филиппом II или Людовиком XIV стояла целая нация, как и сами они, столь же нетерпимая, но с якобинскими правителями дело обстояло совершенно уже не так: вместо пятнадцати или двенадцати ортодоксов против одного еретика, при них было пятнадцать-двадцать диссидентов против одного ортодокса. Тоже деспоты, Кромвель и Петр Великий работали с отборными людьми своих народов, вокруг якобинских властей была толпа узких фанатиков и неудачников (III, 152 — 157), т. е. другие деспоты опирались на большинство нации или на лучших ее людей, а эти поступали наоборот.

Как было уже указано, об эпохе директории Тэн говорит, сравнительно с первыми периодами революции, много короче. В том, что наступило после 9 термидора, он отмечает особенно дальнейшую невозможность веры в якобинский

догмат, после того, как сами же монтаньяры расправились с главными его представителями (552), и наступившую, наоборот, возможность свободного разоблачения всего, что перед тем происходило (553 и сл.). Но бывшие террористы хотят себя навязать народу декретами, заставлявшими их переизбирать в новый законодательный корпус по конституции, которую они „сфабриковали“ (659). Тэн почему-то совершенно не остаивается на восстаниях жерминальском, и прерияльском, едва даже упоминая, что таковые были (558, 563), но характеризует движение 13 вандемьера совершенно, по моему мнению, правильно <sup>1)</sup>, видя в нем „не политическое восстание против установленной формы правления, а моральное восстание против всех лиц, занимавших места“ (566). 13 вандемьера, по выражению Тэна, „якобинская клика как бы вторично завоевала Францию“ (572). В 18 фрюктидора он видит повторение 2 июня 1793 года: тогда из Законодательного Собрания изгоняли жирондистов, теперь — умеренных, но с тем различием, что прежде орудием была толпа, в данную минуту военная сила, после чего опять возвратились к режиму 1793 года (590). Период некоторой свободы был кратковременным. „Учреждения, законы, публичное право, частное право, все повержено: и нация, люди и имущество, опять все делается, как при Робеспьере, собственностью правящих, с тем только различием, что короли террора, отсрочивая введение своей конституции, открыто провозглашали свое всемогущество, тогда как эти лицемерно прикрываются конституцией, которую сами же разрушили, и царствуют в силу права, запрещающего им быть королями“ (594). Между поведением директории и Конвента Тэн находит столь же малую разницу, какая есть между выражениями „убивать“ и „предавать смерти“ (faire mourir, 595).

В это время директора только усиливают действие террористических законов (599 и сл.). Мало того: основывая новые республики, „фрюктидорианцы“ и там применяют свои якобинские приемы (607 и сл.). Нация, побежденная

<sup>1)</sup> См. мои работы: 1) Было ли восстание 13 вандемьера революционным? (в сборнике в честь проф. Бузескула. 1914) и 2) Борьба парижских секций против декретов 5 и 13 фрюктидора (Журн. Мин. Нар. Просвещ. 1915). Обе работы вышли и отдельно.



и утратившая свою веру, ненавидит это правительство, но находится в полной прострации (620 и сл.). Сами правители разрушают ими же установленный порядок. Не так важно, говорит Тэн, какой этот порядок: законный ли, или незаконный, но при их правлении (eux régnant) не могут удержаться ни какая-либо конституция, даже сделанная или переделанная по их желанию, ни какое-либо правительство, хотя бы и их вождей. Сделавшись хозяевами Франции, они ее оспаривают друг у друга, и каждый требует для себя одного добычу. Занимающие места хотят их сохранить, а у кого нет места, хотят его получить. Таким образом, возникает две партии в партии, и каждая из них повторяет против другой государственный переворот, который обе вместе делали против нации“, называя своих противников анархистами, робеспьеристами и т. п. (624). Таковы были перевороты 22 флореаля и 30 прериаля, но тотчас же после второго из них победители разделяются на два лагеря, готовые низвергнуть друг друга (626). „Если говорит Тэн, якобинская республика умирает, то не потому только, что она одряхла (décrépite) и ее убивают, но еще и потому, что она родилась неспособною к жизни, с самого ее начала в ней был разлагающий принцип, внутренний и смертельный яд, не только для других, но и для нее самой“ (629). Этот яд Тэн видит в отсутствии взаимного уважения между правившими и управляемыми, в отсутствии общественного чувства, души, телом которой является само же государство. Якобинский режим только разрушал все это (630). Воссоздать себя гражданской Франции (France civile) сделалось невозможным, „столь же невозможным, как построить парижский Собор Богоматери или римский храм св. Петра из уличной грязи и дорожной пыли“ (632).

Иное зрелище представляла собою военная Франция, которая уже дважды давала знать себя в политике: 13 вандемьера и 18 фрюктидора. Генералу, прямому и косвенному участнику в этих двух событиях, и предстояло покончить с создавшимся положением (633). Наполеон сам определял свой режим, как „союз философии и сабли“, и Тэн только перефразировал ту же мысль в заключительной строке 3-го тома „Революции“, сказав, что Франция живет с тех пор в „философской казарме“ (dans cette

caserne philosophique nous vivons depuis quatre vingts ans, 635).

Следует еще отметить, что местами проглядывает у Тэна некоторое отождествление якобинизма с социализмом, начавшееся у Бюшеза и Луи Блана, с тем, конечно, различием, что отношение Тэна к социализму было отрицательным. Недаром русский переводчик одной части третьего тома рассматриваемого труда (кн. II, „Якобинская программа“) озаглавил свое издание словами „Социализм, как Правительство“. Тэн, конечно, не настаивает на том, что якобинизм и социализм синонимы, но местами упоминает о социалистическом характере некоторых мероприятий и особенно стремлений якобинцев. Например, на стр. 165 третьего тома мы читаем: „раз эгоизм есть основной порок, и индивидуальная собственность его питает, почему бы ее не уничтожить? Наши крайне логические головы в Бабефом впереди доходят до этого, да и Сен-Жюст, повидимому, держался того же мнения. Дело не в декретировании аграрного закона, а нация, удержав землю за собою, стала бы разделить между отдельными лицами не землю, а доходы. Как вывод из принципа, рисуется порядок вещей, в котором государство, единственный земельный собственник, единственный капиталист, единственный предприниматель, единственный коммерсант, имея всех французов на своем жаловании и на своей службе, назначало бы каждому работу по его способностям и паек (ration) по его потребностям. Эти неоконченные планы еще витают в далеком тумане, но и их общий предмет уже появляется при белом дне“. Больше, чем с социализмом, Тэн, однако, в подобном направлении видит сходства с античными гражданскими общинами, с армиями и монастырями (121).

Всем трем томам „Революции“ Тэн предпосылал коротенькие предисловия. В первом томе, когда ввиду имелся только еще один, он говорит, что нужен был бы особый том для критики источников, но эта мысль Тэном не была осуществлена. Тут же он заявляет, что не отвечает за намеки, которые иной читатель усмотрит в его книге, ни за практические приложения, какие читатель стал бы делать. „По моему мнению, у прошлого есть свое собственное лицо, и предлагаемый портрет похож только на старинную Фран-

цию. Я рисовал его без всякого отношения к нашим теперешним распрям: я писал, как если бы моим предметом были революции во Флоренции или в Афинах. Это только история, ничего больше, и если уже все сказать, я слишком уважал свое ремесло историка, чтобы делать из него другое, побочное, сам при этом причась" (стр. III). А в предисловии ко второму тому Тэн писал еще и следующее: „в своем прискорбии, я предвижу, что мой труд не поправится многим соотечественникам. Мое изыскание в том, что, более счастливые, нежели я, они почти все обладают политическими принципами и пользуются ими, чтобы судить о прошлом. У меня их не было, и даже если я предпринял эту книгу, то чтобы их отыскать. До сих пор я едва нашел только один, столь простой, что я даже едва осмеливаюсь его передать. Тем не менее за него я держусь, ибо все суждения, которые прочтутся в этой книге, из него вытекают, и мерка их истинности заключается в его истинности. Весь он целиком состоит в том соображении, что человеческое общество, особенно общество нового времени есть нечто обширное и сложное. Поэтому его трудно знать и понимать. Вот почему трудно или хорошо ими управлять. Из этого следует, что ум, подвергшийся культуре (*un esprit cultivé*), более к этому способен, чем ум некультурного человека (*un esprit inculte*) и специалист более неспециалиста. Из этих двух истин вытекает много других следствий; если читатель сообразовит об этом поразмыслить, ему не трудно будет их узнать" (стр. I—II).

В предисловии к третьему тому Тэн говорит еще, что он писал свою книгу только „для любителей моральной зоологии, для натуралистов по складу ума, для искателей истины, текстов и доказательств, только для них, а не для публики, у которой на счет революции есть предвзятость, готовое мнение“. Образование этого мнения Тэн относит ко времени между 1825 и 1830 годами, после удаления со сцены или смерти очевидцев: когда они исчезли, оказалось возможным убедить добродушную публику, что „крокодилы были филантропами, что многие из них были гениальны, что они пожирали только виновных и что если они иногда передали, то без своего ведома и вопреки своей воле или вследствие самоотверженности, самопожертвования ради общего блага“

(стр. III—IV). И здесь мы находим еще такие слова: „к несчастью, промежуток в сто лет слишком большое расстояние для ретроспективного воображения. В настоящее время, с места, где мы находимся, на горизонте, позади нас мы замечаем только формы, кажущиеся более красивыми, благодаря дымке, неясные контуры, которые каждый зритель объясняет и определяет на свой манер, но ни одной отчетливой и живой человеческой фигуры, а пропасть неясных точек, движущиеся линии которых образуются или прерываются вокруг живописных очертаний“ (стр. I—II). И вот ему, Тэну, захотелось рассмотреть вблизи эти неясные точки, для чего он и перенесся во вторую половину XVIII века, в которой он и прожил двенадцать лет.

И еще есть одно место в последнем предисловии, характеризующее отношение Тэна к революции. Он приводит слова Климента Александрийского о египетских храмах, в которых за пышным занавесом, вместо статуи бога, можно было видеть крокодила. „Нет надобности, продолжает Тэн, отправляться в Египет и углубляться столь далеко в историю, чтобы встретить культ крокодила: его видели во Франции в конце XVIII века“ (стр. I). „Я, прибавляет о себе Тэн, наилучшим образом рассмотрел сначала храм, потом бога. Видеть просто глазами было еще недостаточно; нужно было еще понять богословие, лежащее в основе культа. Есть одно такое, которое объясняет данный культ и состоит из догматов, называемых принципами 1789 года, а раньше сформулированных Жан-Жаком Руссо“. Не нужно, говорит еще Тэн, смущаться священными формулами и пышностью этого культа, а нужно наблюдать зловредного едока людей, сделавшегося божеством, как обыкновенное животное, следить за всеми его порядками, когда оно подстерегает в засаде и зацанает (aggarre), жует, глотает и переваривает пищу (стр. II). Я, сказано дальше, изучил в подробностях его строение и движение органов, его образ жизни и нрав, его инстинкты, способности и аппетиты. . . Вот поучительный культ, по крайней мере для историков, для чистых ученых; если он сохранил своих поклонников, я отнюдь не думаю их свращать; в делах веры никогда не нужно вступать в спор с набожным человеком“ (стр. III).

Можно понять, как встречено было такое сочинение о революции в республиканской Франции, где тогда шла упорная борьба с реакцией. Из того места в конце третьего тома, где мимоходом сказано, что в лице Наполеона „вся гражданская Франция приветствует своего освободителя, своего покровителя, своего восстановителя“ (III, 634), сделали заключение о бонапартизме Тэна, не обратив внимание на последнюю строчку тома, с „философскою казармою“. Противники Тэна имели полное право напомнить ему, как строго он сам несколько раньше судил знаменитого английского историка французской революции, Карлейля, именно за его пристрастно-отрицательное, по его мнению, отношение к революции. В своем этюде о Карлейле, которого Тэн ставил вообще очень высоко, он упрекает, однако, автора „Французской революции“ за то, что он „видел в ней только одно дурное“. Карлейль, говорит он, „ищет в революции пуританского чувства и, не находя его, нас порицает“. Тэн даже защищал от Карлейля деятелей революции. „Они, писал он, были преданы отвлеченной истине, как ваши пуритане истине божественной; они следовали философам, как ваши пуритане религии; они ставили своею целью всеобщее спасение, как ваши пуритане спасение личное. Они вели войну со злом в обществе, как ваши пуритане со злом в душах. Они были великодушны, как ваши пуритане добродетельны. У них, как и у тех, было много героизма, но и много симпатичного, общественного (sociable), готового к пропаганде, которая преобразовала Европу, тогда как пуританизм служил только одним вам“<sup>1)</sup>. Впоследствии Олар взял Карлейля под свою защиту, указывая на его беспристрастие, на глубокое понимание духа революции, на его стремление не прославлять, не порицать революцию, а быть истолкователем<sup>2)</sup>.

Критикуя Карлейля, говорили некоторые критики Тэна, он как бы сам себя заранее опровергал, но и Тэн мог бы сказать, что когда он высказал свои упреки Карлейлю, он сам мало был знаком с предметом и держался ходячих взглядов. Во всяком случае все-таки осталось одно: то, в чем он упрекал Карлейля (правильно или неправильно, это дру-

<sup>1)</sup> H. Taine. L'idéalisme anglais. Etude sur Carlyle (1864), стр. 164.

<sup>2)</sup> В статье „La Rév. Franç.“ за 1916 г.

гой вопрос), случилось с ним самим. Однако, голоса о характере труда Тэна разделились. Такие представители французской исторической науки, как Бутми, Моно, Сорель, очень высоко ставили Тэна: первый называл его труд „окончательным вкладом“ в науку, второй говорил о замене у него „мистической легенды ораторских общих мест живою человеческою реальностью“, третий, занявший кресло Тэна во французской Академии, превознес его в своем похвальном ему слове <sup>1)</sup>. Очень не сочувствовавший Тэну Сеньбос и свое несочувствие к нему резко высказавший, тем не менее отдал ему должное, как „добросовестному архивному работнику“, познавшему „опьянение неизданными документами“ <sup>2)</sup>.

Другие, наоборот, не только не признавали в Тэне историка, хотя бы лишь неправильно, но все-таки пользовавшегося источниками, все-таки с ними знакомого, но даже стали отрицать его научную основательность. Таковы более или менее все члены Общества истории революции и Общества новой истории и ряд более молодых историков. Но никто так резко, далеко не во всем справедливо, не критиковал Тэна, как Олар, посвятивший разбору его „Origines“ публичный курс лекций в Сорбонне в 1905—1906 и в 1906—1907 годах и издавший потом (1907) свои лекции отдельной книгой под заглавием: „Тэн, как историк французской революции“, причем его критика вызвала ряд возражений <sup>3)</sup>.

Олар в этой книге в двадцать печатных листов старается развенчать Тэна, как историка, как человека науки. Он предпринял систематическую проверку первых четырех томов труда Тэна, называя эту свою проверку свободной от предвзятости и недоброжелательства, но если Тэн был односторонен в своих суждениях о революции, то же самое можно применить к суждениям Олара о труде Тэна <sup>4)</sup>. По словам критика, его эрудиция слаба, документация крайне несовершенна, приемы торопливы и обнаруживают отсутствие

<sup>1)</sup> Работы первых двух названы выше (стр. 69), а Sorel в его Nouveaux essais d'histoire et de critique.

<sup>2)</sup> В коллективной „Histoire de la langue et de la littérature française“ под редакцией Petit de Julleville (т. VIII).

<sup>3)</sup> См. выше, стр. 69.

<sup>4)</sup> Ср. мой отзыв в статье „Тэн перед судом Олара“, в „Русск. Богатстве“ за 1908 год.

терпения, во всем произведении полная предвзятость и совершенная пристрастность, масса пробелов, заблуждений, искажений, притом искажений не только реальности, но и текстов. Да и нового ничего Олар в труде Тэна не находит: „его взгляды, говорит он, ничего не прибавляют к тому, что было высказано, во время ли революции, или при реставрации, роялистическими памфлетистами“. Тэна даже напрасно считают за историка, говорят серьезно о его научности. Вся его слава, его авторитет — плод недоразумения. Пусть он никого не думал вводить намеренно в заблуждение, пусть он сам только себя обманывал, от этого никому не легче. Он любил литературную славу, а не научную истину, и потому жертвовал историческую правду своим художественным замыслам. В настроении Тэна критик видел даже что-то патологическое. „Его книга, — так заключил Олар свой разбор, — мне представляется почти бесполезною для истории. На самом деле, она полезна только для интеллектуальной биографии Тэна или нескольких современников, его учеников“.

Столь резкий отзыв не мог, понятно, остаться без ответа, со стороны поклонников Тэна<sup>1)</sup>, указавших на преувеличения Олара, неверные толкования и собственные ошибки критика, который, можно сказать, больше принес бы пользы делу, если бы не замалчивал положительных достоинств Тэна, а о недостатках говорил бы более спокойно, без преувеличений и придирок.

Если отношение Тэна к революции встретило такую, можно сказать, шумную оппозицию со стороны прогрессивных кругов французского общества, то здесь, конечно, играли роль и предыдущая литературная известность автора, его выдающийся талант, похвалы, которыми его книгу стали осыпать консерваторы, а главное то, что он не только говорил против крайностей революции, как это делали, напр., и Мишле, и Луи Блан, и Кинэ, но и отнесся отрицательно к самой идеологии революции, к принципам, как 1793 года, так и одинаково и 1789 года, ко всей политической философии XVIII века. Книга Тэна все-таки имела громкий успех, и у него явились подражатели, поспешившие также в архивы для того, чтобы извлекать оттуда новые факты, относящиеся к мрачной стороне революции.

<sup>1)</sup> См. выше, стр. 69.

Особую плодовитость в этом отношении проявил Анри Валлон, консервативный историк и политический деятель с клерикальным оттенком, знаменитая „поправка“ которого решила судьбу французской конституции 1875 года, будучи принята большинством только одного голоса. Историк античного рабства (1847), Жанны Д'Арк (1860) и т. п., он еще в 1872 году издал „критические этюды“ о терроре французской революции, а в восьмидесятих годах шеститомный труд о парижском революционном суде, двухтомный о перевороте 31 мая 1793 года, а также труд о конвентских комиссарах и революционном правосудии в департаментах<sup>1)</sup>. Эти объемистые издания заключают в себе массу нового материала, вынесенного из столичных и провинциальных архивов. Эта специализация Валлона на истории эпохи террора, начавшаяся после гражданской войны 1871 года и усилившаяся под влиянием успеха книги Тэна, не может не быть неотмеченною, как один из признаков времени. Издания Валлона, можно сказать, очень обогатили анекдотическую (тем не менее достоверную) сторону французской революции, что можно сказать еще и о виконте де-Броке, авторе, между прочим, книги, бывшей переведенною и по-русски<sup>2)</sup>. Позднее в том же направлении специализировался еще один писатель, Ленотр, многочисленные труды, которого, менее громоздкие, чем книги Валлона, составлены были для самой широкой публики, отличаясь легкостью изложения, причем, однако, автор также прибегал к архивным источникам<sup>3)</sup>.

Во всяком случае труд Тэна не стоял особняком в современной ему историографии революции, а когда во Франции стали создаваться периодические органы для изучения революции, то не все они оказались прогрессивными<sup>4)</sup>.

Рассматривая отдельные труды по истории французской революции, характеризуя их и даже излагая их содержание,

<sup>1)</sup> H. Wallon. La terreur, études critiques sur la révolution française (1872)— Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris (18e3). — La révolution de 31 mai et le fédéralisme en 1793 (1885). — Les représentants du peuple en mission et la justice révolutionnaire dans les départements en l'an II (1889).

<sup>2)</sup> De Broc. La France sous l'ancien régime. — Де Брок. Французская революция по показаниям современников и мемуаров. 1898. Ему же принадлежат и „La vie en France sous le premier empire“<sup>a</sup>. 1895.

<sup>3)</sup> Lenotre. Paris révolutionnaire (по топографии Парижа). — Le drame de Varennes (1905). — Les massacres de septembre и др.

<sup>4)</sup> См. в следующей главе.



мы постоянно имели в виду исключительно внутреннюю историю Франции, между тем, как некоторые из них заключают в себе изложение и внешней истории революции, дипломатической и в особенности военной. Через три года после начала революции между Францией и другими государствами: в 1792 г. Австрией и Пруссией, в 1793 остальной Германией, Англией и другими государствами начался ряд войн, получивших название революционных и перешедших потом в наполеоновские войны, которые окончились только в 1814—1815 годах. По истории войн, как республики, так и консульства и империи образовалась громадная литература, в которой нужно различать исторические произведения чисто военного содержания и такие, в которых на первом плане политическая сторона международных отношений, причем опять-таки и тут могут быть установлены две категории, смотря по тому, выдвигаются ли вперед отношения, являющиеся предметом дипломатии, т. е. пререкания и переговоры между отдельными правительствами, мирные и торговые трактаты, союзы и коалиции и т. п., или же имеют своим содержанием культурные влияния одних наций на другие. Французская революция как-раз была крупным событием в истории не только Франции, но и остальной Европы и по всему влиянию на внутренние отношения некоторых стран, и по тем осложнениям, какие ею были внесены в международную политику, и, наконец, в чисто военной истории.

Уже в больших историях французской революции Тьера, Мишле, Луи Блана внешняя история революции занимает довольно много места, являясь, однако, все-таки придатком в истории внутренней. Первым капитальным историческим трудом, основанным притом на архивных источниках, о взаимоотношениях между французской революцией и Европой, в котором международная политика не является таким придатком к другой теме, где сама эта другая тема, т. е. французская революция, составляет только часть более широкой темы, была „История революционного времени“ немецкого профессора Генриха Зибеля, одного из видных представителей германской науки в середине XIX века <sup>1)</sup>. Она появилась

<sup>1)</sup> О капитальном труде Зибеля подробно говорится в III части „Историков французской революции“. Общая его характеристика, впрочем, дана и здесь (несколько ниже, на стр. 121—122).

в свет в 1853 и след. годах и была переведена на французский язык. Во французской литературе равного ему не было до конца прошлого столетия, когда вышло многотомное произведение Альберта Сореля под заглавием „Европа и французская революция“.

Начал выходить этот труд в свет в 1885 году, т. е. в середине того периода, который отделяет время выхода последнего тома произведения Тэна от времени выхода первого тома Сореля<sup>1)</sup>, но работу свою Сорель предпринял почти одновременно с Тэном. Можно даже сказать, что обе их истории революции отразили на себе события 1870—1871 г. Мы видели это по отношению Тэна, на которого произвела сильное впечатление парижская Коммуна, бывшая как-бы повторением, в измененном, конечно, виде Коммуны 1792—1794 годов. Сореля направила на тему франко-германская война, в которой Франция потеряла Лотарингию и Эльзас, чем была отрезана от Рейна, старой „естественной границы“ цезаревской Галлии. Весь левый берег Рейна, бывший еще мечтою старой монархии, был присоединен к Франции революцией, удержав в составе ее территории Наполеоном и утрачен после падения его империи. Но примыкающий к Рейну, на протяжении почти двухсот километров, Эльзас, присоединенный еще при Людовике XIV, продолжал принадлежать Франции, пока несчастная война не привела к потере и этой позиции на Рейне, находившейся во французском обладании в течение двух веков.

Эта потеря, как и самая война, оживила во Франции интерес к прошлому франко-германских отношений, к тем временам, когда перевес на Рейне был на стороне Франции, когда не только Страсбург, но и Майнц с Триром, и Кобленц, и Кельн с Ахеном были городами Франции и все население этой части Германии состояло из французских подданных. Французская революция занятнем левого берега Рейна осуществляла мечту абсолютной монархии возвратить Франции старую „естественную границу“ римской Галлии.

Была и другая причина вспомнить внешнюю политику французской революции. Приобретая левый берег Рейна, Франция начала разрушение средневековой Священной Римской империи германской нации, а наполеоновский деспотизм в Германии пробудил в немцах национальное самосознание

и первое в этом народе стремление к национальному объединению во имя того самого понятия нации, как суверенной коллективности, которое было провозглашено французской революцией. Образование в 1871 году Германской империи было хотя и отдаленным, но все-таки следствием нападения Франции на Германию за восемь десятков лет перед тем. Не одна при том Германия осуществляла тогда свое национальное единство, но и Италия, чему начало было опять-таки положено французской революцией, совершившей здесь на время полный фактический переворот и вместе с тем занесшей и сюда новую идею суверенной нации.

Наконец, разгром Франции Германией заставил французов заняться вообще пересмотром внешней политики своего отечества, начало которой было положено революцией и Наполеоном. Одни обращали свои взоры к будущему, в котором мало-по-малу наметилась русская ориентация, другие обратились в этом отношении к изучению прошлого, в частности к временам революционных войн.

Конечно, нельзя утверждать, что если бы не было войны 1870 — 1871 года, книга Сореля не была бы написана, что вообще не могло бы появиться исторического произведения на эту тему. Тема уже разрабатывалась Зибелем и с другой точки зрения поставлена была Токвилем <sup>1)</sup>, но несомненно и то, что события 1870 — 1871 года направили мысль автора „Европы и французской революции“ на исторические занятия именно в данной области и так же, как Тэн, на десятки лет приковали к одному и тому же предмету занятий. Сам Сорель отметил на последней странице VIII тома: „1874 — 1904“. Ведь начало этого периода совпадает с временем, когда и Тэн приступил к своему труду, которому только смерть помешала, может быть, и продолжить его.

## Сорель <sup>2)</sup>.

Альбер Сорель <sup>2)</sup> принадлежит к наиболее знаменитым французским историкам: его Габр. Моно ставит рядом

<sup>1)</sup> См. выше, стр. 21 и сл.

<sup>2)</sup> О Сореле статьи и речи E. Boutmy, G. Hanotaux, Hulot, L. Ancas's'a, A. Vandal'я, L. Devin и Blanchet в книжке „L'Europe et la révo-“

с О. Тьери, Тьером, Минье, Мишле, Гизо, Токвилем, Репаном, Тэнном и Фюстель-де-Куланжем, называя его последним из крупных историков обобщителей, повествователей и психологов XIX века, а Вандаль назвал его труд классическим прежде, чем успел прославиться сам автор<sup>1)</sup> За выходом в свет отдельных томов его труда аккуратно и с сочувствием следили такие солидные органы как „Revue Historique“, где за разные годы появилось о них около десяти статей<sup>2)</sup>, и „English Historical Review“, хотя к хору похвал и пришивалась иногда острая критика, касавшаяся не только подробностей, но и способа пользования источниками<sup>3)</sup>. Нельзя не отметить также очень холодного отношения к Сорелю со стороны „La Révolution Franç.“ Олара, где о таком крупном труде почти ничего не писали, а однажды было даже сказано очень неприязненно, как о труде будто-бы монархическом и даже написанном в интересах графа Парижского<sup>4)</sup>.

Прежде чем перейти к самой книге Сореля, остановимся на самом авторе, поскольку в его биографии есть данные, объясняющие характер его работы над историей французской революции.

Альбер Сорель родился в 1842 году в семье богатого фабриканта, который думал пустить сына по своей части и потому готовил к поступлению в знаменитую парижскую Политехническую школу, хотя ни способности, ни склонности мальчика не соответствовали тем требованиям и тому напра-

---

lution française. Discours prononcés à la fête donnée en l'honneur de M. Albert Sorel à l'occasion de l'achèvement de son ouvrage (1905) г. и некрологи Monod в „Rév. Hist.“, 1906 г. Vandal'я в „Ann. des sciences politiques“ (русск. пер. в „Русск. Мысли“ за 1906 г.), Picot в приложении к „Le Temps“, за 1906 г. R. Doumic в Rév. des Deux Mondes. По русски есть статья П. Г. Вишegradова (Русск. Мысль 1888, IX), С. Ф. Фортунатова (Научн. Слово. 1904, 1905, I и III), А. С. Лаппо-Данилевского (Изв. Ак. Наук, 1907) и др. Мною о Сореле была написана статья в „Изв. Слб. Политехн. Института“, вышедшая в свет отдельной брошюрой (А. Сорель, как историк франц. револ. 1907). Изложение II — VIII томов „Европы и франц. револ.“ дала Т. А. Богданович в книге „Европа и Франция на грани XIX в.“.

<sup>1)</sup> Annales des sciences historiques (1906, 15 juillet).

<sup>2)</sup> В томах 21, 28, 33, 35, 44, 55, 63, 69, 78 и 89.

<sup>3)</sup> Guyot et Muret в „Rev. d'histoire moderne et contemporaine“ (1904), резюме которой в „La Rév. Franç.“ за тот же год.

<sup>4)</sup> Ст. Santhonax'a (псевд. Олар) в 1887 (avril, p. 951). Впоследствии сам Олар от этого отказался (1891, octobre, p. 176).

влению работы, которые господствуют в этом высшем учебном заведении.

На счастье Сореля в той средней школе, где он учился, был хороший преподаватель истории, впоследствии сам сделавшийся известным, как ученый. Это был Гимли (Himly), автор труда об образовании государственных территорий в средней Европе, который мог, пожалуй, внушить Сорелю ранний интерес к подобным темам. Поступив потом в парижскую Школу Права, он слушал также лекции и в Сорбонне, и в Коллеж-де-Франс, и в Школе Хартий (Ecole des Chartes). Все указывало, что в лице молодого студента подготавливался будущий ученый историк, но самого его влекла к себе изящная словесность, так что первоначально он писал только стихи и романы, вырабатывая на этом свою замечательную литературную манеру, которую один из его критиков называл чудесною и волшебною (*la merveilleuse magie de son style*), а другие находили несколько риторичной (*de genre oratoire*). Сам Сорель впоследствии высказывал мысль о родстве между романом и историей: в характеристиках Сореля, действительно, чувствуется романист.

Однако, и в эти годы увлечения литературой он работал над историей. Будучи всего 21 года, он написал статью о необходимости хороших исторических монографий о городах, где высказал некоторые мысли о старом порядке и революции. Тогда же он с увлечением изучал Монтескье, о котором написал впоследствии превосходную книжку<sup>1)</sup>.

Свое образование Сорель закончил путешествием в Германию, во время которого он приобрел знание немецкого языка, открывавшее ему доступ к немецкой исторической литературе. Впоследствии он женился на немке, что было, повидимому, при ненависти французов ко всему немецкому, одною из причин отказа его от дипломатической карьеры, перед ним уже широко открывшейся.

Сорель пошел сначала по дипломатии по совету Гизо, с которым у его семьи, еще при его деде, существовали довольно близкие связи. Когда Сорель, вступивши в 1865 г. на службу в министерство иностранных дел, прославился,

<sup>1)</sup> Имеется в двух русских переводах, из которых один (М. Г. Васильевского) вышел под моей редакцией.

как писатель, Гизо даже хвастался, что это он „открыл Сореля“. Этим поступлением в дипломатическое ведомство определилось главное содержание его будущих трудов. Самый момент, когда он начал свою службу, был весьма важный, критический в истории Франции: готовилась австро-прусская война 1866 г., за которую вскоре последовала и франко-прусская 1870—1871 г. Уже по поводу первой из этих войн молодой дипломат поместил в „Revue de deux mondes“ неподписанную, впрочем, статью, которая обратила на себя большое внимание в обществе, а события 1870 г. уже прямо поставили Сореля в самом центре дипломатических действий. Именно, когда местом пребывания французского правительства сделался Тур и туда переселился кабинет министерства иностранных дел, с ним туда поехал, в качестве его секретаря, и Сорель. Работа требовалась от него здесь громадная. Будучи очевидцем многого из того, как делалась тогдашняя история, он проходил своего рода практическую школу дипломатического искусства, очень пригодившуюся для будущего историка, и почувствовал потребность изобразить в цельном виде ту драму, отдельных эпизодов которой он был хорошо осведомленным и вдумчивым свидетелем. Под влиянием событий 1870—1871 г. дипломат, собственно говоря, и сделался, наконец, историком в двух работах—в „Парижском трактате 20 ноября 1815 года“ и в двухтомной „Дипломатической истории франко-прусской войны“. „Патриотизм, характеризует этот труд Моно, ни разу не исказил верности суждения критика и ясности историка, а когда, много лет спустя, сделано было разоблачение пресловутой эмской депеши, сыгравшей такую роль в истории возникновения войны, этим лишь подтвердилась проищательность Сореля, уже трактовавшего названную депешу, как легенду“.

Дипломатическое поприще Сорель очень скоро оставил, взяв место генерального секретаря сенатского президентства (*secrétaire général de la présidence du sénat*) и стал посвящать значительную часть своего времени и своих сил исторической науке и историческому преподаванию. В это время, по инициативе Бутми, создавалась частная высшая школа для изучения государственных наук (*Ecole libre des sciences politiques*), в которую, среди других выдающихся деятелей, был приглашен и Сорель. Он колебался сначала, принять ли это

предложение; но и на сей раз совет Гизо взяться за это дело положил конец его сомнениям: Гизо победил тем аргументом, что если он чувствует пробелы в своих знаниях, то ведь, уча других, он и сам будет учиться. Первою же лекцией, прочитанной в Свободной Школе политических наук, была лекция Сореля, а содержанием ее был взгляд на Европу до и после 1789 г. То, что сказал ему Гизо, так и вышло: импровизированный профессор и преподавал, и сам учился, а из его курсов мало-по-малу и выработалась его замечательная книга. Сорель постоянно следил за своей аудиторией и присматривался к впечатлению, производимому отдельными лекциями на слушателей, — что их, напр., менее интересовало, и где, наоборот, особый интерес позволял слушателям с полуслова понимать своего профессора. Как лектор, Сорель был одним из великих мастеров своего дела, соперником которого был только Тэн.

Бутми, основатель школы, в своей статье о Сореле сообщает, как шла та закулисная работа, результаты которой выносились на кафедру. У Сореля был такой прием приготовления фактического материала для будущих повествований: бралась особым образом разграфленная бумага, и в отдельные полосы каждого листа вносились указания на документально засвидетельствованные события, совершавшиеся в разных странах, с точными датами этих событий, даже с указанием на часы дня; это давало историку возможность охватывать одним взглядом целые ряды фактов, близких по времени один к другому, а при составлении рассказа элиминировать все, что оказывалось неимеющим существенного значения в последовательности событий.

Первый том „Европы и французской революции“ появился в 1885 г., через тринадцать лет преподавания, а между первым и последним (1904) томами лег период времени почти в двадцать лет. Все это время было заполнено работой над одним трудом, причем, чтобы менее отвлекаться от главного дела своей жизни, Сорель оставил службу в сенате. Уже первый том доставил ему одну из академических премий, а в 1889 и 1894 г.г. перед ним открылись двери сначала Академии нравственных и политических наук, а потом и Французской Академии, в первой из которых он занял кресло Фюстель-де-Куланжа, во второй — Тэна, в одной, как уче-

ный историк, в другой, как мастер литературного положения и художественного стиля. В эти же годы вышли в свет и другие, меньшие работы Сореля, каковы книжки о Монтезкье (1887), о г-же Сталь (1890) и „Бонапарте и Гош в 1797 г.“ (1896). Прибавлю, что в его литературное наследство входят еще написанные в разное время „La question d'Orient au XVIII siècle“ и „Précis du droit des gens“ (составленный в сотрудничестве, с Фулье-Брентано) и первый том „Собрания инструкций французским посланникам в Австрии“, редактированный Сорелем; все эти издания еще предшествовали появлению „Европы и французской революции“.

Как живописец, пишущий большую картину, подготавливает отдельные части в ряде этюдов, так и Сорель написал немалое количество мелких статей, стоявших в том или другом отношении к его главному труду. Сорель сам издавал их отдельными сборниками<sup>1)</sup>. Хорошая половина помещенных здесь статей так или иначе касается или французской революции, или наполеоновской эпохи. Из них одна вызвана чтением „Войны и мира“ Толстого и заключает в себе ряд метких заметок о нашем великом писателе и, между прочим, о зависимости его исторических взглядов от Жозефа де-Местра и Тьера. Интересна и статья о Тэне, где он указывает на односторонность его труда о французской революции, как не истории, а патологии революции. Несколько статей, коротеньких и отрывочных, написал Сорель и по общим вопросам истории; они, конечно, дают кое-что для характеристики его теоретических взглядов, хотя для выяснения того, что можно было бы назвать историологией Сореля, гораздо более могут дать наблюдения над его методом и его выводами, чем все его отвлеченные заявления.

В общей характеристике автора „Европы и французской революции“, как особенно важную черту, следует отметить его беспристрастие. На всех, кто только его читал, он производит впечатление человека с развитым чувством справедливости, в чем и должен заключаться объективизм историка. Во всяком случае, Сорель писал свою историю не в духе партии и одинаково был далек и от восторженных тирад Мишле, и

<sup>1)</sup> Essais d'histoire et de critique, Lectures historiques, Nouveaux essais, Etudes de littérature et d'histoire.



от инвектив Тэна. Вообще он был человеком беспартийным, далеко стоявшим от политики. Что касается политического настроения Сореля, насколько о нем можно судить по биографическим данным, в этом отношении, впрочем, довольно скудным, и по общим его суждениям об отдельных событиях и лицах, его настроение правильнее всего было бы назвать умеренно-либеральным. В молодых годах он был большим поклонником гуманно-расплывчатого социального учения Лепле, но позднейшие его взгляды в этой области остаются неизвестными. Знаменитое дело Дрейфуса, бывшее одно время своего рода оселком для пробы гражданских чувств французов, в глазах многих относительно Сореля служило показателем, для него неблагоприятным: его упрекали за уклончивое отношение к этому „делу“, объясняя эту уклончивость одни — его темпераментом (*timidité*), другие — политиканством (*raison d'état*).

Для определения места труда Сореля в историографии французской революции можно коротко сказать, что автор „Европы и французской революции“ взял тему немецкого ученого Зибеля, автора „Истории революционного времени“, применив к ее разработке точку зрения Товвиля.

В статье о преподавании дипломатической истории, вошедшей в состав „Nouveaux essais“, Сорель, между прочим, говорит, что нельзя изучать историю Европы между 1789 и 1801 г. без внимательного чтения и даже штудирования сочинения Зибеля. „Прочитав эту книгу, однако, оговаривается он, вы хорошо знаете события, но вы не знаете и не видите людей. У вас есть тексты, цитаты, даты; вы знаете, что хотели сделать или сделали прусское министерство или венский кабинет, но народы, их страсти, черты их характера остаются для вас пелеными, перебивая как-бы в полутени“<sup>1)</sup>. В этом Сорель видит главный недостаток истории Зибеля, — недостаток, касающийся, впрочем, больше исторического искусства. Зибель поставил своей задачей и Сорель также — изучить французскую революцию в ее отношении к остальной Европе, но повял, на мой взгляд, эту тему довольно-таки внешним образом, механически связав с переворотом, происходившим во Франции два другие одновремен-

1) Nouveaux essais d'histoire et de critique, 81.

ные с ним переворота в Европе: падение Польши и разрушение Священной Римской Империи германской нации. Задача изображения влияния этих событий одного на другие и их общего взаимодействия, конечно, очень заманчивая тема для историка. Зибель выполнил эту задачу, и Сорель аттестовал его выполнение с наилучшей стороны, но сам он понял ту же самую тему и шире, и глубже, и тоньше. Зибель дал нам общую картину революционной эпохи, как-бы составленную из трех больших кусков, тогда как Сорель каждый из этих кусков разложил на основные элементы, распределил сходные, откуда бы они ни происходили, по соответственным рубрикам, включил в состав этих рубрик и элементы, взятые не только из этих трех больших кусков, и дал общую картину, где не механически только, а более искусно, более органически они соединяются в одно целое, как мелкие камешки в мозаике, или как перелетающие одни с другими нити в узорчатой ткани. У Зибеля нет такого тонкого, как у Сореля, анализа отдельных причин, из которых вытекли все события эпохи, нет той глубины исторического понимания, какое обнаруживает Сорель, восходя к более далекому прошлому всей Европы и разных ее наций, и в частности такой широты взгляда, как у Сореля, сумевшего охватить своим взором весь XVIII век и представить его перед глазами читателей, как систематически распланированное целое. Во всем этом преимущество на стороне Сореля: его анализ и его синтез выше того, что в обоих отношениях можно искать у его немецкого предшественника, как ни велики талант и заслуги последнего.

Зибель, далее, писал свой труд в эпоху, когда подготавливалось объединение Германии. Он принадлежал к так называемой малогерманской партии, которая во главе единой Германии хотела видеть Пруссию, с 1850 г. имевшую конституционно монархический строй. Все это очень заметно отразилось на историческом труде Зибеля, отразилась тогдашняя злоба дня, притом в довольно-таки прусском понимании: именно, в истории революции его исключительно интересует попытка основания конституционной монархии, и он оценивает как войну с революцией и польские дела, так и изменения, происшедшие в Германии, со специальной точки зрения выгод или невыгод для Пруссии. Я не стану отрицать того,

что и у Сореля можно найти тоже свою французскую точку зрения, не позволяющую ему во многом соглашаться с Зибелем, но разница в том, что Зибель на все смотрит как-бы из Берлина и только из Берлина, тогда как Сорель умеет смотреть и не из одного Парижа. „С этого пункта, говорит в своей статье о Сорель, Пико<sup>1)</sup>, с пункта, на который никто не становился до него, естественно и необходимо получилась оригинальная история. Взяв Францию за центр, на заднем плане показывали, по ту сторону дипломатических деппе, движения лиц, действующих в Берлине, в Лондоне или в Вене, чтобы устроить коалицию; но подробности, особенная общая связь ст нас ускользали. С Сорелем мы проникаем в сокровенные намерения правителей; мы слышим Бёрка или Фокса; мы рассматриваем вблизи политику Питта; мы открываем виды государей Пруссии и Австрии; мы созерцаем комбинации Екатерины. Сорель, продолжает Пико, — не ограничивается проникновением в тайны дворов: он исследует и отмечает движения общественного мнения во всех странах Европы. В колоссальной борьбе, продолжающейся двадцать два года, позади борцов, позади армий и министров, он прикладывает руку к сердцу народов и считает его биения. У него живет не только сама Европа, но и каждая ее часть: все одухотворено, все дышит, все высказывает свои мысли, свои желания, свои стремления: это — драма, в которой число действующих лиц все увеличивается без всякого ущерба, ни на одно даже мгновение, для единства действия“. Это — совершенно верная характеристика точки зрения Сореля, а для того, чтобы стать на такую точку зрения, нужно было отрешиться от слишком узкого национализма в пользу всемирно-исторического созерцания. Пусть и Сорель не отказывается отмечать, в чем заключались интересы, выгоды и невыгоды Франции, и пусть даже местами звучат у него прямо патристические ноты, ставимые ему, впрочем, в заслугу его соотечественниками, но они не делают Сореля узким шовинистом; указания на специальные нужды и пользы его отечества не доминируют над его суждениями и приговорами, как в деле констатирования фактов или

<sup>1)</sup> См. выше, стр. 116, прим.

обнаружения связи между ними, так и в деле оценки их общего значения<sup>1)</sup>.

А точка зрения у Сореля была та же самая, что у автора „Старого порядка и революции“, у Токвиля. Припомним, что по словам Токвиля „в 1789 г. французы совершили величайшее из всех, когда-либо сделанных народами усилий для того, чтобы отрезать себя от своего прошедшего и отделить бездною то, чем они были, от того, чем они желали быть вперед“, и что им, однако не удалось. Изучая Францию старого порядка, Токвиль поражался часто сходством с новою, наблюдая сохранение в последней многого из того, что было в прежней, а в прежней — зарождение многого такого, что характеризует новую. Отсюда и вытекала главная задача Токвиля — объяснить, почему революция вспыхнула во Франции раньше, чем в других местах, как будто сама собою вышла из общества, которое ей предстояло разрушить, и как могла пасть старая монархия. Токвиль применил эту точку зрения к одной Франции, Сорель перенес ее на всю Европу, следуя и в этом отношении за Токвилем, который указывал, что в XVIII в. почти вся Европа имела совершенно одинаковые учреждения, повсеместно вместе с тем одинаково приходившие в упадок<sup>2)</sup>.

Задачу своего труда Сорель определил так: „показать во французской революции, которая одним представляется разрушением, другим возрождением старого европейского мира, естественное и необходимое продолжение (suite) истории Европы, и обнаружить, что эта революция не принесла с собою и одного следствия, даже единичного (singulier), которое не вытекало бы из этой истории и не объяснялось бы прецедентами старого порядка“ (I, 8). У Токвиля революция „как бы сама собою вышла“ (est sortie comme d'elle même) из старого порядка, а у Сореля она из него „вытекла“ с полною естественностью и необходимостью. Это лишь два разные способа выразить одну и ту же мысль об эволю-

<sup>1)</sup> Кроме Зибеля, раньше Сореля писал о французской революции с универсальной точки зрения бельгийский профессор международного права Франсуа Лоран, который посвятил этому предмету томы XIII и XIV и часть XVIII-го своих *Etudes sur l'histoire de l'humanité*, но этот его труд о революции не оказал большого влияния на историографию эпохи, кроме того, в чем XVIII том повлиял на Сореля. Об этом см. особую главу в III части настоящей книги.

<sup>2)</sup> См. выше, стр. 21.

ционной связи между старым и новым даже в истории революции.

„Европа и французская революция“ состоит из восьми томов, страниц по пятисот и больше в каждом. Первый том заключает в себе общий обзор „политических нравов и традиций“ старого порядка, как в самой Франции, так и в других государствах Европы. Во втором томе, озаглавленном „Падение монархии“, рассматриваются три первые года революции до 10 августа 1792 г., когда совершилось крушение конституции, созданной Учредительным Собранием. Война французской революции с Европою началась только в самом конце этого периода, — между объявлением ее 20 апреля и 10 августа 1792 г. не прошло и полных четырех месяцев, в течение которых не совершилось еще ничего важного в военном отношении, — и настоящая вооруженная борьба разыгралась только осенью этого года. „Война с королями“ (III т.) должна была заключать в себе поэтому историю событий уже меньшего периода времени, именно неполных полутора года с августа 1792 года по конец 1793 г., когда иноземное вторжение во Францию было победоносно отбито. Следующий, четвертый том, отмеченный подзаголовком „Естественные границы“, тоже охватывает период менее, нежели в два года, — до октября 1795 года, и в общей сложности в третьем и четвертом томах излагаются события только трех лет. С пятого тома — „Бонапарт и директория“ — изложение в каждом томе опять начинает охватывать большие промежутки времени, а именно том V четыре года (1795 — 1799) до 18 брюмера, том VI („Перемирие — Люневиль и Амьен“) — шесть лет (1800 — 1805) до Аустерлица, том VII („Континентальная блокада и великая империя“) — семь лет (1806 — 1812) до катастрофы великой армии и том VIII („Коалиция и трактаты 1815 г.“) — три года (1812 — 1815) до венского конгресса.

Поставив свою задачу собрать воедино главные черты взаимных отношений между революционной Францией и монархической Европой, Сорель во введении ко всему труду заявил, что цель его — выяснение событий, по крайней мере, в существенный период революции, до конца Конвента. Тогда, говорит он, все причины были уже даны (posées), все главные результаты выяснились, все основные отношения опре-

делились“ (I, 6). Издавая первый том, он был уверен, что весь труд будет окончен в трех томах, причем на всю эпоху Конвента, судя по сделанному тогда объявлению, отводился только один том. Вместо трех томов, получилось, однако, четыре, последний из них в 1892 г., через семь лет после первого, и на этом работа могла считаться законченной, если бы сам автор не объявил в четвертом томе, что она будет продолжена еще в двух томах до 1815 г. Этого продолжения читателям пришлось, однако, ждать одиннадцать лет, да и то оказалось, что опять потребовалось четыре тома, которые один за другим и вышли в свет в 1903 и 1904 годах.

Таким образом, весь труд Сореля распадается на два большие отдела. Только к первому отделу, состоящему из первых четырех томов, появившихся в 1885—1892 годах, можно отнести без натяжки название „Европа и французская революция“, тогда как второй отдел правильнее было бы назвать „Европа и Наполеоновская эпоха“. Заканчивая четвертый том, Сорель говорит, что общим итогом всего предыдущего процесса было правление полководца (IV, 469). „То, прибавляет он, что произошло от 1795 до 1799 г., было только интермедией, после которой естественным действием постоянных причин люди и дела очутились в положении, аналогичном тому, в каком находились в 1795 г.“ (IV, 470). Это было временем выступления на сцену армии, сделавшейся главной действующей силой республики, воплощением ее духа и решительницей судеб правительства: она рано или поздно должна была захватить власть, если бы даже республиканцы ее к этому не призывали (IV, 471). При всем том, однако, революция и Наполеоновская эпоха составляют у Сореля одно целое, на что указывается в первых же строках введения. „Война между Европой и французской революцией, говорит он здесь, продолжалась около четверти века. Она началась при Вальми и окончилась только при Ватерлоо“ (I, 1). Кроме того, Сорель видит в Наполеоне, по отношению к Европе, „орудие революции“ (I, 2). Равным образом, и на последних страницах восьмого тома отмечается это внутреннее единство четверти века между Вальми и Ватерлоо, от 1792 по 1815 г. (VIII, 499, 500, 505). Это единство создается не только непрерывностью, или, вернее, почти

непрерывностью военного столкновения между Францией и остальной Европой, но и тем, что в указанный период времени во всей Европе совершалась внутренняя революция, тысячами нитей связанная с тем, что происходило в недрах самой французской нации.

Лучше всего можно понять общий замысел, осуществленный в восьми томах „Европы и французской революции“, обратившись непосредственно к общему введению ко всему труду. Сорель говорит здесь, что старая монархическая Европа встретила французскую революцию, подрывавшую все основы этой Европы, сначала довольно равнодушно, и что когда опасность была понята, борьба с нею стала вестись самым неумелым образом. В самом начале столкновения во Франции все было ниспровергнуто, тогда как в Европе все было цело, и Франция, казалось бы, должна была пасть. „Но, продолжает Сорель, против ожидания анархия организуется, а организованная сила разлагается. Франция побеждает коалицию; она делает еще нечто более удивительное: она ее разъединяет... Крестовый поход против революции, предпринятый королями для защиты установленного права, приводит к разделу континента между защитниками монархического права и теми, кто получил свою власть от революции“ (I, 2 — 3). Такой конец старой Европы Сорель называет „циническим банкротством“: вступая в соглашение с революцией, Европа отрекалась от своего принципа, но, с другой стороны, и французская революция, чтобы поладить с Европой, искажала свой собственный принцип. Франция торжественно отказывалась от завоевательной политики и проповедовала мир всего мира; но вышло иное: война, начатая ею для защиты своей территории, завершилась вторжением в чужие пределы, и завоевания с освободительными целями привели к политике разделов. Победа внушила революции воинственные стремления (I, 3); и результатом был новый цезарь, в одинаковом рабстве у которого очутились и люди, создавшие революцию, и люди, боровшиеся против нее, и Франция, и Европа. „В 1808 г., говорит Сорель, революция имела на континенте только союзников или побежденных“. Но вскоре с Францией случилось нечто еще более необычайное. В 1792 г. она возвестила войну королям и мир народам. Она восторжествовала над королями, но пала под напором народов.

Революция остановилась во Франции и, так сказать, застыла в военном деспотизме; но благодаря этому своему деспотизму, она продолжала распространяться в Европе... Выродившись и извратившись, она все-таки сохранила достаточно энергии, чтобы волновать народы, но как ни искажен был язык свободы в военных лагерях, все-же он еще глубоко потрясал души" (I, 4 — 5). Но, с другой стороны, европейские нации „узнали революцию только под формой завоевания. Под эту форму она распространяла в среде народов свои принципы, но под эту форму, и именно в силу этих самых принципов, народы и возненавидели ее“. Отсюда — возмущение народов против французов и перемена ролей. Раньше государи, предоставленные своим собственным силам и своим рутинным способам управления, были побеждены нацией, с энтузиазмом сражавшейся сначала ради своей независимости, затем ради славы, а теперь сама Европа обратила против Франции ее же собственное оружие (I, 5).

Такова общая схема. „Эти необыкновенные перевороты, говорит еще Сорель, этот неожиданный ход вещей, связывающий такие, повидимому, противоречивые события, не могут, конечно, быть объяснены случайными причинами“, — и к их объяснению история применяет слова Боссюэта, сказанные им о революциях древности: „все кажется удивительным, если рассматривать только частные причины, и тем не менее все идет с правильною последовательностью (I, 6).

Эту-то вот самую последовательность Сорель и поставил своею задачею — уловить и закрепить в своем труде, в следующих словах начертав себе программу; „необходимо рассмотреть, каковы были в конце старого режима отношения между государствами и состояния европейских народов, на каких принципах основывалось международное общение, какие правила руководили их образом действия, какие виды общественного интереса или частной выгоды управляли их политикой, какие идеи были распространены между нациями, какие чувства волновали души людей, наконец, в каких условиях находились правительства и народы, когда началась великая агония старого мира“ (I, 7). При этом Сорель обращает большое внимание на то, как преломлялись идеи века в различных национальных средах. Благодаря своей



абстрактности и универсальности, принципы французской революции быстро и широко распространялись, но результаты получались везде разные в зависимости от среды, в которой эти принципы распространялись. „Эти прекрасные идеи, поясняет Сорель, сохраняют свою метафизическую чистоту только в сознании философа и в уме математика. Малейшее влияние со стороны жизни видоизменяет, разлагает их. Тот, кто желает применить их к делу, претворяет их в себе и, делая их своими, их извращает. Диалектика ускользает от большой массы людей. Они не смотрят на идеи, как на закон, которым должны руководствоваться в своем мышлении; они принимают их за форму, куда беспорядочно бросают все те инстинкты, чувства, знания, предрассудки и заблуждения, какие накопились в них от недостаточного воспитания, от несвязного опыта, от соединенных влияний семьи и общественной среды. Чистый разум, говорит еще Сорель, не есть дело политиков, руководящихся государственной пользой, и не дело народов, управляющихся своими страстями. Как для государства, так и для народов существуют традиции, столь же древние, как их история, ибо они берут начало из одного с нею источника и развиваются параллельно с нею. Их действие на умы инстинктивно, и тем более оно властно, что умы менее всего думают ему подчиняться. В кризисах, которые захватывают человека врасплох, он не находит в себе много ресурсов и волей-неволей, уступая ли, сопротивляясь ли, он поддается неминуемо влиянию унаследованных начал и господствующих в нем самом и вокруг него страстей. С этими-то элементами он и воспринимает новые идеи и пытается их осуществить. Французы и другие европейские народы именно так истолковывали принципы революции и приспособляли их к традициям своего прошлого“ (I, 7—8).

Придавая такое значение старым правам и старым традициям при всей силе действия новых идей, Сорель, конечно, должен был особенно внимательно отнестись к этим правам и этим традициям. Этому предмету посвящен весь первый том, в котором перед нами развертывается целая картина Европы XVIII в. В этой картине автором схвачены и общие, и отдельные, т. е. местные и национальные черты, другими словами, и черты сходства

и черты различия. Революция, разразившаяся во Франции, казалось, грозила вспыхнуть и во всех других государствах (I, 90—99). Если, однако, кризис произошел в одной Франции, то потому, что именно здесь менее, чем в других странах, были прочны старые порядки (143—146). С другой стороны, при общем идейном влиянии Франции на другие нации, каждая из них по-своему понимала новые принципы согласно со своими историческими традициями, в соответствии с которыми Сорель ставит и политические традиции отдельных правительств (I, 182—186). Наиболее места в изложении этих традиций внутренней и внешней политики он отводит Франции. В первом отношении важны сближения между революцией и прецедентами старого порядка (224— и сл.), да и во втором Сорель отмечает аналогичные факты (287 и сл.). Затем то же самое делается и для других государств (Англии, Голландии, Испании, итальянских и германских государств и только на втором плане Турции, Швеции, Скандинавских стран, Польши и России). К сожалению, нашему отечеству посвящено здесь только восемь страниц.

Первый том „Европы и французской революции“ особенно обращает на себя внимание широтою постановки вопроса. Говоря здесь о политических правах старого порядка, Сорель показывает, что из этих прав возрождалось в эпоху революции. Возьмем для примера разделы Польши, не бывшие единственным случаем этого рода в истории XVIII<sup>1)</sup>. Сорель с полным правом говорит, что не французская революция ввела политику разделов. Сами разрушая публичное право Европы, государи XVIII века „открывали пути революции, которой для низвержения их тронов и для переворотов в их государствах оставалось только обратить против них их же собственное поведение и последовать их же примерам“ (89). Изучение европейской политики, говорит еще Сорель, объясняет, как „революция могла безнаказанно развиваться в Европе и победить лиги, образовавшиеся для ее подавления“ (91). Рассматривая реформаторскую деятель-

<sup>1)</sup> Сорель имеет в виду такие факты, как дележ „испанского наследства“, нападение России и ее союзников на Швецию в начале XVIII века, попытки отторжения владений Австрии и Пруссии в середине того же столетия и т. д.

ность правительств, Сорель тоже имеет в виду то, что в ней оказалось сходным с революцией. Между прочим, он отметил ту черту реформ XVIII века, что их цель заключалась в усилении государственной власти, а не в развитии общественных свобод (122). В большей части тома, посвященной политическим традициям разных стран, конечно, Сорель останавливается на Франции очень подробно и в соответствии с общим заданием труда говорит о ее внешней политике, продолжение традиций которой усматривает и в революции (конец 2 главы второй книги).

В общем заключении к первому тому, подводя итоги под его содержанием, Сорель так же не раз отмечает связь революции с прошлым. Французские республиканцы ведут войну как бы для освобождения народов, а в сущности кончают присоединением к Франции стран, которые были предметом вожделений и прежних французских королей (541—542). Республика и империя заключают международные договоры, на деле являющиеся договорами о компенсациях и разделах, — что опять-таки происходило по примерам, уже подававшимся раньше старыми монархиями (546). К таким же отметкам следует отнести указание и на то, что консульство Бонапарта было возвращением к просвещенному абсолютизму, в свою очередь находившемуся для Сореля в родстве с французской революцией (548).

В томах втором, третьем и четвертом, к которым можно присоединить и пятый, отведенный для эпохи директории, Сорель очень искусно размещает отделы, посвященные внутренней и внешней истории Франции за десять лет революции. Ему, действительно, принес большую помощь уже отмеченный выше его прием первоначально размещать свой фактический материал по графам: этот метод давал ему возможность безошибочно каждый раз судить, какое событие во внутренней или внешней политике и как могло отражаться на других событиях, безразлично, совершались ли они в самой Франции или вне ее, в политических ли собраниях или в дипломатических канцеляриях и на полях сражений. По основной теме труда можно было, пожалуй, подумать, что Сорель должен был мало интересоваться главным содержанием всех историй французской революции, т. е. состоянием общества и настроением нации в разные периоды революции,

борьбою партий и народными движениями, деятельностью представительных собраний и законодательною их работою и т. д. вплоть до отдельных событий и участия в них наиболее выдающихся лиц с их характеристиками. Между тем у Сореля и это все есть: дипломатия и война, выдвигающиеся в его труде на такое видное место уже по самому его общему замыслу, отнюдь не заслоняют, однако, той драмы, которая происходила в самой Франции. Мало того: у Сореля так называемая внешняя история излагается так, что даже проливается яркий свет на ее влияние в ходе событий, совокупность которых составляет внутреннюю историю. Революция у Сореля является тесно связанною не только с прошлым самой Франции, но и со всею тогдашнею современностью, с тем, что происходило в остальной Европе. Он даже прямо находил, что внутреннюю историю революции слишком обособляли от совершавшегося в других странах, как-будто бы Франция во всем мире одна-одинешенька. Он своим трудом считал нужным исправить этот недостаток: критики Сореля совершенно основательно ставят эту особенность его труда на ряду с другою, с постоянным подчеркиванием связи революции со старым порядком.

Многие, писавшие о Сореле, сопоставляли его с Тэном, имея в виду при этом, главным образом, с одной стороны, беспристрастие первого и пристрастность второго, с другой— различие в их писательской манере, в способах изображения характеров, т. е. рисования исторических портретов, в способах понимания и связи между фактами и их последовательности и т. п. Я прибавил бы к этому еще одно: оба историка, каждый в своем роде, были мастерами художественного воспроизведения человеческой психики, но если Тэн,— на мой взгляд, по крайней мере,— был сильнее Сореля в психологии, то, наоборот, Сорель был гораздо выше Тэна, как социолог, лучше понимал то, что в общественной жизни представляет собою не простые процессы и результаты психического взаимодействия между людьми, но и практические взаимоотношения членов общества, лежащие в основе социальной организации и обуславливаемые ею. Сорель был понимающим свое дело политиком: политическая сторона революции стоит у него на первом плане и только сторона социальная, в особенности экономическая, редко привлекают к себе его внимание.

„Во Франции, говорит Сорель, приступая к изложению событий самой революции,—во Франции обладали весьма ясным пониманием гражданских реформ, которых требовали, и весьма твердою волею провести их в жизнь; напротив, в деле преобразований собственно политических, проявились одни смутные порывания и неопределенные, полные непоследовательности стремления“ (II, 1). Вот то, что относится именно к области „гражданских реформ“ (reformes civiles), как-раз и остается у Сореля вообще в тени. Возьмем для примера хотя бы знаменитую ночь 4 августа со всеми ее последствиями, общее крушение феодализма, законодательство о выкупе сеньерьяльных прав и т. п., или декреты, создавшие во Франции „национальные имущества“, которые обеспечивали, с одной стороны, национальный долг, а с другой, сыграли свою роль в переходе поземельной собственности в новые руки,—и то, и другое окажется почти вне поля зрения Сореля. Известно, положим, что для разработки декретов 4—11 августа был выбран „феодалный комитет“, в котором видную роль играл Мерлен из Дуэ: если Сорель упоминает об этом комитете и о роли в нем самого Мерлена (II, 95 и сл.), то лишь потому, что в Национальном Собрании возник получивший большую политическую важность вопрос о феодальных правах германских князей, которые владели поместьями в Эльзасе, вопрос из внешней политики. Очень интересен вопрос о религиозном расколе, вызванном гражданским устройством духовенства и получившем такое важное политическое значение, невыгодное для революции: общая разработка этого у Сореля превосходна, но в ней мы не найдем даже постановки других вопросов, касающихся церкви и духовенства, об уничтожении десятины и о секуляризации церковных имуществ.

Таких примеров можно было бы привести не мало, но если бы даже перечислить все пробелы, мешающие полноте и всесторонности понимания внутренней истории французской революции, все-таки отсюда отнюдь нельзя было бы сделать общий вывод, который был бы равносителен упреку. Я отметил это исключительно политическое содержание труда Сореля просто ради его общей характеристики. В нем на первый план выдвинуто непосредственное влияние революции,—притом изо дня в день, так сказать,—на другие страны, и показывается, как события, совершавшиеся в других стра-

нах, отражались на общем ходе самой революции. Поэтому и истории выработки политического законодательства, какая есть у Олара, читатель у Сореля, равным образом, искать не должен. С этой стороны, в его труде отмечаются только результаты законодательной деятельности представительных собраний революции с оценкою этих результатов, оценкою весьма тонкою как в выяснении общего характера законов, так и при определении значения, какое они имели в общем ходе революции. Возьмем для примера хотя бы только-что упомянутый вопрос о гражданском устройстве духовенства: истории выработки его у Сореля нет, даже нет подробного его изложения, дана лишь общая характеристика в сближении с шотландским пресвитерианизмом (II, 121—122), но за то читатель поймет, почему должна была явиться именно такая реформа церковного устройства в связи со всем, что ей предшествовало и ее вызвало, и какие последствия из этого неминуемо должны были произойти для внутренней истории Франции, а так же и для внешних ее отношений: „декреты Национального Собрания о новой организации духовенства, так резюмирует он, заставили Европу прибегнуть к вмешательству и вызвали гражданскую войну“. Здесь действительно хорошо показано (II, 115), что из всех ошибок Учредительного Собрания эта была наиболее губительной (funeste) ошибкой, что здесь „Собрание впало в противоречие, которое погубило все“, что в данном случае оно возобновляло неудачную церковную политику Пасифа II, и что несанкционирование Людовиком XVI декрета было на самом деле равносильно объявлению войны революции (115, 116, 124, 128).

Общее отношение к Учредительному Собранию у Сореля лучше всего определяется его взглядом на Мирабо, как на единственного государственного человека данного момента (599). Это не значит, однако, что Сорель в нем все одобрял или чтобы такая квалификация знаменитого трибуна вытекала из сочувствия историка к его политической идее, т. е. к конституционной монархии. Столь же высоко, как Мирабо, ставит он в следующем, республиканском периоде революции, Дантона (III, 9). „Этот странный демагог, говорит о нем Сорель, как-бы родился для правления: он обладал существенными качествами государственного человека, но они в нем соединились с таким избытком темпера-

мента, с такими недостатками в характере и с таким перво-родным грехом (*vice d'origine*), что, к несчастью и для государства, и для себя, он не мог извлечь из этих качеств всего того, что требовали обстоятельства<sup>1)</sup>. Читая одну за другою характеристики Мирабо и Дантона, мы видим, в чем заключается для Сореля право обоих на название настоящих государственных людей. У Мирабо это было „чувство исторических традиций и инстинкт будущего“, с которыми в настоящем соединялись „понимание практических потребностей, реальный взгляд на вещи, знание людей“ (II, 37). О Дантоне Сорель так же говорит, что „он чувствовал, различал, понимал, что революция исполняла историю французов, отнюдь ее не ломала“, и что „в его предложениях не было ничего абстрактного и химерического“, но что, напротив, „они были совершенно практичны, совершенно реалистичны“ (III, 11—12). В этом одобрении реалистичности и практичности, в этом подчеркивании своего рода исторического чутья у обоих деятелей революции заключается ключ для объяснения точки зрения, с какой Сорель критикует революцию. Отрицательная характеристика Робеспьера, о которой у нас сказано ниже, служит также хорошим подтверждением только что сказанного.

В качестве критика революции, Сорель особенно силен там, где объясняет, как люди вследствие недостаточного понимания создавали на деле не то, что было в их намерениях и к чему сами, собственно, стремились. В деле гражданского устройства церкви Национальное Собрание, воображая, что оно продолжает традиции галликанизма, в действительности как-раз разрушало галликанскую церковь (II, 116 и сл.). Совершенно так же, „воображая, что его работа должна иметь результатом организацию монархии, на самом деле, готовили республику“ (III, 268 и сл.).

Первый период революции Сорель определяет, как период борьбы революции с королевскою властью: он кончается 10 августа 1792 г., и в следующий период уже происходит „борьба революции против Европы и против самой себя“ (II, 515). Королевская власть призывала иностранную силу,

1) Т. III. р. 10. „*vice d'origine*“ объясняется на стр. 13 в смысле возвышения его демагогами, не только без которых, но и против которых он ничего не мог сделать.

революция — силу народную, и эта последняя, поддержанная страстью национального чувства, одержала верх (II, 524).

Излагая во втором томе внутренние события от созыва Генеральных Штатов до падения монархии, Сорель отводит очень много места впечатлению, произведенному французской революцией на Европу, и суждениям о ней иностранных политиков, бельгийской революции, прусскому сближению, восточному и польскому вопросам, эмигрантским проектам загравицей, вопросу о войне и мире в Учредительном и в Законодательном Собраниях и, конечно, началу самой войны. Военную пропаганду революции автор объясняет характером французов и характером самой революции (105). Люди революции считали победу новых принципов обеспеченною во Франции только при условии торжества новых начал и в остальной Европе. Уже члены Учредительного Собрания мечтали об этом, что, конечно, предполагало развитие заграничного влияния Франции. В их мыслях величие Франции сливается с счастьем человеческого рода. „Таким образом, говорит Сорель, непредвиденными путями и по неожиданным мотивам прежняя политика королей, политика территориального приращения и главенства, проникает в революцию, и новая Франция готовится также господствовать над народами, как старая часто стремилась господствовать над государствами. Люди 1789 года претендуют нарушать все традиции, но они, наоборот, их возобновляют и продолжают. Франция без ведома своих законодателей остается прежнею (*se perpetue*). Весьма лояльно перед Европой и перед самими собой они прикрывают самыми прекрасными предложениями мероприятия, внушавшиеся им естественным чувством интересов Франции и тайным инстинктом ее традиций“. Сначала они думают, что Франции необходим мир, который они всячески прославляют, и они благородно отказываются от побед. „Но вот, продолжает Сорель, вследствие самой же революции представляется случай дополнить совершенное национальное объединение территориальным: вековое честолюбие в свою очередь облекается в новые цвета, и благородный мотив освобождения народов будет впредь оправдывать присоединения чужих территорий“ (106). Один и тот же инстинкт заставлял французов распространять революцию в Европе и бояться, как бы Европа не задушила революцию во Франции



(112). В этом настроении Законодательное Собрание пошло дальше Учредительного, когда сценою завладели новые партии, которые Сорель представляет, как „людей пера и риторов“ с очень большим самолюбием, способных к мелочному, ревнивому соперничеству, к взаимной ненависти. Так характеризует Сорель якобинцев, страсти которых исказили революцию, а партийные стремления заступили место, принадлежавшее до того времени принципам (300). К жирондистам, собственно, и начавшим войну, отношение Сореля несколько иное.

Именно, они представляются ему не столько деятелями великого исторического кризиса, сколько героями трагедии, которыми движет невидимая рука, заранее начерчивая их роли. Они прониклись своими ролями, исполняют их с верою в них. Народ ими восторгается, потому что в них воплощаются все их надежды, чувства, противоречивые стремления. И он не мог простить их бессилие осуществить все эти упования, вообразив себя обманутым, обойденным, сделавшимся предметом измены. Изучать их, говорит Сорель, нельзя без симпатии, ни осуждать — без сожаления. „В них было увлечение молодости, превосходство краспоречия, порыв благородства, но история судит людей по их делам, а их дела были только рядом непоследовательностей и слабостей. Если бы жирондисты удовлетворялись репутацией философов и ораторов, они оставили бы по себе память горячих друзей человечества; они взяли бы за управление людьми: одного энтузиазма для этого недостаточно. Нужно еще то, чего более всего не доставало Жиронде, нужны определенность планов, последовательность желаний и то качество, которое в государственных делах стоит на первом плане, — характер“ (303 — 304). Сорель очень хорошо анализирует мотивы, заставившие жирондистов желать войны (314 — 315), особенно выдвигая вперед достижение Францией ее естественных границ: рейнской и альпийской, причем, на первых порах к этой политике враждебно отнеслись люди, которые потом сделали из естественных границ как-бы составную часть конституции и возвели в систему революционную пропаганду с оружием в руках (317). Якобинцы только хотели, чтобы никому другому, а лишь им самим принадлежало общее руководство революцией.

Говоря о фанатизме и насилиях, характеризующих эпоху, Сорель, время от времени, ссылается на Тэна и на приводимые им тексты. Как бы ни сравнивали революционные войны с распространением ислама или крестоносными ополчениями, для французов дело шло, прежде всего, о собственном спасении, о национальной независимости и целостности территории, и раз якобинцы взялись организовать оборону, страна за ними пошла. На этой, собственно, почве и развивается террор. „Элементы этой революции, говорит Сорель, складываются таким образом, что правительственная власть необходимо должна была достаться крайним, и что последние, не будучи в состоянии иначе возвыситься, как при помощи силы, должны были удерживаться у власти только террором“ (II, 565). Он не соглашается с теми историками, которые говорили, что террор был нужен для спасения Франции: он полагает, что террор нужен был только самим террористам, что французы вовсе не нуждались в ножах, приставленных к горлу, в сабельных ударах пламью или в розгах, чтобы защищать свою страну и свою революцию. Французам достаточно было для этого любви к отечеству, ненависти к напавшим на него иностранцам и отвращение (honte) к старому порядку. Они повинуются этим чувствам до самоубийства, до самопожертвования, и все их требования от правительства заключаются лишь в том, чтобы борьба продолжалась. „Народ идет за теми, кто всего фанатичнее стремится к битве, потому что считает их наиболее заинтересованными в победе; он идет, не обращая внимания на их происхождение, их интриги, их доктрины, их взаимные ссоры. Террористы не возбудили этих чувств, они сделали из них дурное употребление и воспользовались ими, как средством управления“ (II, 566).

Сорель очень хорошо в одном месте третьего тома объясняет повиновение нации Конвенту привычкой подчиняться кому то высшему, хотя бы и незримому. „Конвент, говорит он, был этим высшим существом для французов; они столь же мало его знали, как прежде мало знали короля... Каковы бы ни были ее господа, нация повиновалась, потому что нужна же была власть для ведения войны и потому что нация хотела защищаться (III, 413). Громадное большинство французов подчинялось декретам Конвента и в то

же время относилось равнодушно, если не с ненавистью к самим его членам (II, 534), и сам же Конвент, устраняя одного за другим, в бесплодных столкновениях, своих членов, подготавливал появление одного лица, в котором народ был готов видеть человека, вышедшего из самых недр анархии для того, чтобы ей же положить конец.

Этим лицом был Бонапарт, но еще раньше таким же образом французы повиновались Робеспьеру, которого Сорель характеризует, как полную противоположность Дантона. „Робеспьер, говорит он между прочим, явился, как один из тех фантомов, в которых народное суеверие готово видеть изображение богов. В сущности, это был один из людей с тщеславною и пустою душой, которые лишь потому создают себе имя в истории, что становятся на некоторое время *les prête-noms de la fatalité* (III, 511). Автор различает в Конвенте и в комитете общественного спасения людей, декретировавших и организовавших национальную оборону и людей террора, которые в указанном деле были ни при чем; к числу последних он относит и Робеспьера (III, 514). „Избиения организовались в одно и то же время с национальной обороной, но они ее не создали“. Целым рядом сопоставлений, сделанных, очевидно, при помощи известного нам приема отмечать хронологию фактов, Сорель доказывает, что террористы действовали лишь после победы армии (*marchaient sur les derrières de l'armée*, III, 539). Он даже прямо настаивает, что между террором и национальной обороной не было отношения причины и следствия: это были явления, связанные лишь одновременностью и происхождением из одних и тех же общих обстоятельств (III, 541). Посредством террора комитет общественного спасения боролся с тою же самою массою, которая составляла его опору в национальной обороне. В январе 1794 г. дело защиты родины было сделано, и если бы террор диктовался общественным спасением, то ему теперь, т. е. после этого не должно было бы быть места; общественное спасение было только предлогом, и вот этот террор сделался еще жесточе именно тогда, когда обнаружилась его бесполезность: враги республики были отражены, а террор направлен против самих же республиканцев (III, 548).

Таковыми общими соображениями оканчивает Сорель третий том своего труда, раскрывая смысл своей формулы о смеве

борьбы революции против королевской власти борьбою той же революции против Европы и против себя же самой. Эту последнюю борьбу историк изображает, между прочим, в четвертом томе (59 и сл.). Робеспьер достиг власти, и ничто в стране не сопротивлялось его произволу.

„Это, объясняет Сорель,—это была наследственная складка подчинения абсолютной власти, полная неспособность индивидуумов реагировать против этого, одинаково фатального и непонятого для них искажения революции, а теперь удручала их крайними бедами“ (IV, 101). Падение Робеспьера, 9 термидора было концом террора и началом „отлива“ революции (IV, 101), который автор сравнивает с морским отливом (IV, 122).

Происходившую после того во Франции реакцию Сорель определяет, как „реакцию против крайностей (les excès) революционеров и деспотизма якобинцев“. Нация требовала от комитета общественного спасения того же, чего требовала потом от директории и что на короткое время получила в эпоху консульства, а именно: „мира, окончания революции, т. е. организации и практического осуществления равенства, гарантий гражданской свободы, свободы совести, устойчивых законов, хорошей администрации“ (IV, 348). „Это, говорит он, не было желанием монархии, еще того менее старого порядка“, восстановить который было столь же не возможно, как построить храм св. Пегра в Риме из дорожной пыли (по выражению одного современника). Вопрос был не в ярлыке, наклеенном на правительство (étiquette du gouvernement): для нации было важно только, чтобы оно не имело ничего общего с эмигрантами и принцами, вождями и соучастниками эмигрантов, менее же всего их напоминала республика, бывшая не только фактическим правительством, но и пользовавшаяся нравственным престижем за удачу в деле национальной защиты“. „Спор, прибавляет Сорель, между Францией и монархической партией не касался прямо политической свободы. Эта свобода в 1795 году не была первою целью французов. И республиканцы, и монархисты одинаково желали тогда прежде всего сильной и независимой власти, массам же политическая свобода представлялась лишь в виде анархии, и потому свободою они и не дорожили: для большинства французов вся революция

была не в свободе, а в социальных приобретениях (IV, 349). Заговоры роялистов, грозившие приобретенным благам, должны были снова возбудить первоначальные страсти (*les passions initiales*) революции. Ненависть к террористам оттолкнула часть народа от республиканцев, но вследствие ненависти к эмигрантам тот же народ должен был вернуться к якобинцам (IV, 351). Общая усталость помирила бы французов с возвращением их государства к прежним границам, но нация стала думать, что прочный мир и прекращение иностранного вмешательства во внутренние дела Франции сделаются возможными лишь тогда, когда внешний враг будет окончательно унижен и страну оградит „рейнская граница“ (IV, 352).

Последнее соображение Сореля показывает, как связывает он, в своем рассмотрении французской революции, факты внутренней и внешней политики. Дело в том, что по вопросу о рейнской границе во Франции были разные мнения, но должно было восторжествовать лишь то решение, которое настоятельно диктовалось обстоятельствами. Раз, однако, для части общества должна была восторжествовать „рейнская система“ над „прежними границами“, тем самым указывались и средства, которыми при тогдашних обстоятельствах нужно было добиваться своей цели (IV, 355). Для этого нужно было переделать карту Германии, склонив, при помощи Пруссии, Австрию к согласию на уступку левого берега Рейна, а это в свою очередь, требовало принесения в жертву прусским вождениям Польши, по отношению к которой у революции первоначально были совсем иные намерения. Но тут все делалось не сразу, а в зависимости от хода как внутренних, так и внешних событий: Сорель внимательно следит за перипетиями этого вопроса, выразившимися в колебаниях правительства относительно как продолжения войны, так и условий, на каких можно было бы заключить мир (IV, 327 и сл., 333 и сл., 355, 367 и сл. 400 и др). Само собою разумеется, что, как и везде, возможность пролить свет на все эти отношения Сорелю дал тот богатый материал, который он извлек из архивных документов.

С другой стороны, Сорель показывает, как и вопросы внешней политики, в свою очередь, направляли течение поли-

тики внутренней. Монархисты 1791 г. готовы были, в последние времена Конвента, применить к республике, — конечно, организовав ее посвоему, — но для этого нужно было прежде всего заключением мира предотвратить от Франции и военные опасности, и захват власти каким-либо генералом, самый же мвр легче и скорее всего можно было бы заключить на основании старых границ (IV, 371). Защитой этой последней идеи тогдашние *gaillés*<sup>1)</sup> наиболее думали выиграть в общественном мнении, но как-раз именно это самое обстоятельство, не говоря обо всем прочем, особенно им и повредило, потому что в умах французов партия „старых границ“ была то же самое, что роялистическая партия (IV, 372 — 373). Сорель прекрасно объясняет, как и почему это произошло и что отсюда получилось. „Идея завоеваний, говорит он, смешивается с идеей республики, и установление республиканской конституции соединяется с приобретением естественных границ. Кто думает, что можно ограничиться прежними границами, заподозревается в роялизме. Высказываться за рейнскую границу служило даже сертификатом патриотизма“, почти равносильным удостоверению в принадлежности к царубийцам (IV, 374).

Начавшаяся в 1795 г. борьба между сторонниками „естественных“ и „прежних“ границ Франции получила поэтому важное значение и для внутренней ее истории. „По мере того, говорит Сорель, как война распространялась в Европе, конфликты по поводу внешней политики республики все более и более примешивались к несогласиям граждан. Результатом было постоянное и гибельное отражение внешних событий на внутренних делах. Директория вынуждена была управлять республикой все более и более извне (*par le dehors*), т. е. войною и армиями. Последствия этого развернулись очень быстро. Общество заметило их лишь тогда, когда они были уже неотвратимы. В 1795 г. они таковыми еще не были, но люди, которые тогда управляли Францией, их превосходно различали, и с полным пониманием принимаемых мер они дали делам республики то направление, какое эти дела приняли“ (IV, 377 — 378 и 422).

Рассмотрение созданной Конвентом конституции III (т. е. 1795) года, — в которой Сорель относится благо-

<sup>1)</sup> Т. е. присоединившиеся к республике не по убеждению.

склоннее, чем к конституциям 1791 и 1793 гг.—дает ему повод сделать следующую краткую характеристику политики Конвента, „*oeuvre suprême*“ которого он называет эту конституцию: „теория создавала речи, обстоятельства создавали декреты, а государственная необходимость (*la raison d'état*) заправляла всем делом“ (IV, 370). Комитет общественного спасения продолжал существование в пятичленной директории, — мысль Сореля, заслуживающая внимания (IV, 376 и 441), — но, давая свободу проявлению всех страстей, Конституция не открывала никакого исхода для их конфликтов, — известный недостаток этой конституции, приводивший к государственным переворотам, подобным тем, какие были в Конвенте 31 мая и 9 термидора (IV, 377). Сорель, которому, как было упомянуто, готовы были приписать монархические тенденции, проявил, однако, большое беспристрастие к оценке дела Конвента. Революция истребляла лучших своих деятелей, и в Конвенте играли роль люди второго сорта (*subalternes*), с узкими взглядами, затуманенными страстью, одержимые „самым слепым из всех видов фанатизма, *celui de la raison entêtée de soi même*“ (IV, 451), и тем не менее Конвент „в деле защиты отечества проявил великую коллективную душу, исполненную самоотверженности, твердости и веры. Это, продолжает Сорель, была эманация души самой Франции. Французский народ, который Конвентом так часто ни во что не ставился, пожимался и притеснялся, не смотря на это, жил в этом собрании и его вдохновлял. Конвент спас национальную независимость и единство Франции, утвердил гражданские свободы, это существенное завоевание революции, равенство, столь дорогое французам, верховенство народа, как основу демократии и закон будущего“. В заслугу Конвенту Сорель ставит и распродажу национальных имуществ, образовавшихся из конфискаций. Самый характер конфискации, этого „насильственного акта общественного спасения“, в руках Конвента был иной, чем у прежних и современных правительств, не то, что делал Людовик XIV с гугенотами англичане в Ирландии или русские в Польше, — и земли пошли в продажу для защиты отечества, результатом чего, с другой стороны, была бóльшая доступность земли для народа (IV, 452). Но у медали была и обратная сторона: „Конвент, говорит Сорель, отметив все недостатки

бывшего при нем режима, — смешивал демократию с господством фанатиков и насильников, свободу, — с конфликтом факций, республику с диктатурой одной факции“ (IV, 453). Беда в том, что Конвент поддерживал войну в Европе, а вместе с нею подавление несогласно мыслящих и деспотизм одной партии в стране. Целью его политики были естественные границы. Сам Сорель ничего против этого стремления Конвента не возражает, хотя тут можно было бы ему возразить по вопросу о легкости, с какою произошла бы ассимиляция немцев на левом берегу Рейна (IV, 455 — 456; I, 432). Конвент и приобрел наконец для Франции естественные границы, но Европа-то не захотела этого признать. Сорель прекрасно показывает, как в великом столетовении, происходившем между республиканской Францией и монархической Европой, одни и те же мотивы приводили Европу к отождествлению мира с установлением во Франции умеренной монархии при возвращении самой страны к прежним границам, а французов приводили к смешению их национальной независимости, обеспечения революции и торжества республики с завоеванием левого берега Рейна. „У французов, говорит он, господствовала одна идея: пользоваться плодами революции при славном мире, т. е. порядком, разумной администрацией, гарантиями безопасности и труда, гражданским кодексом и естественными границами“ (IV, 469 — 470), — и Франция должна была отдаться тому, кто исполнил бы эти ее желания.

В этом беглом обзоре труда Сореля нам на этом и можно остановиться, потому что и сам автор первоначально думал поставить здесь последнюю точку ко всему труду: мы отметим мнение Сореля, что Франция в 1799 году, в сущности, находилась в тех же условиях, что и в 1795 г. (IV, 470). Пятый том представляет собой развитие этой мысли, особенно перед рассказом о „брюмерской революции“. Об изучении Сорелем наполеоновской эпохи здесь говорить не будем; тут достаточно только объяснить, почему он видел в названной эпохе продолжение революции.

18 брюмера, по его словам, „продолжало революцию: оно не окончило ее, как ошибочно представляли себе дело современники“, говорит Сорель, прибавляя, что оно, равным образом, и „не прервало ее, как полагало большинство исто-



риков". Доказательство своей мысли Сорель видел в том, что через четырнадцать лет Наполеон, обманувший надежды, какие на него возлагались в 1799 г., испытал на себе ту же самую народную ненависть, которая низвергла директорию. Те же люди, которые возвеличили его в брюмере, теперь его лишили власти и даже теми же, как тогда, средствами, чуть не повторив и самые сцены, сопровождавшие переворот 18 брюмера. „Но, продолжает Сорель, дух брюмера был настолько жив, договор, закрепленный в этот день между республиканцами и Наполеоном, столь естественно исходил из силы вещей, что стоило только восстановить монархию и открыть двери для контр-революции, чтобы договор снова был закреплен между остатками (survivants) республиканской партии и партии империи, между теми, кто объявлял его вне закона, и теми, которые ему служили. В марте 1815 г. Бонапарт возобновил свое предприятие (aventure) 1799 г., и после второй катастрофы побежденные, объединяя в легенде то, что историки позднее пытались разделить, образовали ту страшную оппозицию, которая подняла против Бурбонов знамя и девиз консульской республики: равенство, гражданскую свободу, представительное правление и естественные границы“ (VIII, 488).

Связывая революцию с прецедентами старого порядка с его политическими нравами и историческими традициями, Сорель, конечно, не мог и не должен был в новом видеть только старое, хотя и облеченное в новые формы, но все-таки старое. История, как-никак, есть развитие, движение вперед, в котором не только видоизменяется старое, если не исчезает совсем, но и нарождается новое, хотя бы и без прецедентов в прошлом и без некоторой в нем подготовки. Весьма естественно, что в „Европе и французской революции“ есть и места, где то, что было новым в революции, выдвигается на первый план. „Этим новым, говорит в одном из таких мест Сорель, — этим новым в 1791 году является Декларация прав человека и гражданина, придающая прозелитизму, свойственному французским завоеваниям, характер, присущий веку, форму, приспособленную к направлению ума и страстям современников: абстрактную и универсальную идею. Усваивая ее, эту идею, своему национальному духу, французы превратили ее в свои плоть и кровь, и если принципы остава-

лись абстрактными и универсальными, идея сделалась реальной и частной; таким образом, она вошла в факты, но с этого момента пропаганда смешалась с завоеванием. Природа, как всегда, смела теорию. Французы двинули революцию по римской большой дороге своей истории: они сделали из нее живое дело, и революция, получив национальный облик, создала из французов великую нацию. Таким образом, французская демократия на время взяла на себя и исполнила классический план королей—военное, политическое, юридическое и уместившее главенство на материке; она превзошла Людовика XIV, возобновила дело Карла Великого и осуществила вековую мечту—Римскую империю над новым миром, римский мир через и для французов. Это гиперболическое предприятие удалось, потому что французы в себе самих реализовали революцию, из космополитической отвлеченности (*esprit*) превратили ее во французскую реальность, смешали права человека с правами француза и свою супрематию над Европой с освобождением народов Европы. Предприятие рушилось в силу своего собственного успеха: по примеру французов завоеванные народы сделали из прав человека свои собственные права и не хотели знать никакого другого освобождения, кроме того, которое они совершали сами, сбрасывая с себя иноземное владычество“.

„Могущество революции в мире, говорит еще Сорель, коренится, таким образом, в особом характере ее применений отдельными народами, среди которых она распространилась. Везде, как и во Франции, она была исключительно национальной, что составляло ее силу импульса в руках французов и ее силу ассимиляции в душе других народов. Она стала для каждого из них его собственным делом и главным его делом, первенствующим над другими и являющимся для них исходным пунктом: это—национальная независимость, которая для народов то же самое, что первое дыхание воздуха для новорожденного, первое проявление и, до самого конца, необходимое условие жизни“.

„Борьба народов, читаем мы дальше, для завоевания себе самоуправления, т. е. демократии, для завоевания себе независимости по отношению к другим народам, т. е. национальности, наполняет собою XIX век: она создала ту глубоко национальную Европу, в которой мы живем. Оба

факта находятся во взаимоотношении. Они вместе имеют начало во французской революции; они выражают под двумя видами один и тот же принцип — принцип национального суверенитета“ (VIII, 507—509).

Но Сорель отмечает при этом, что „в своей борьбе с Европой Франция слишком часто не дорожила этим принципом. Побеждая старые монархии, она вступала с ними в сделки и договоры по их обычаям и условностям. Она приняла их публичное право, принося свое в жертву. Победоносные, в свою очередь, эти монархии не изменили своему обычаю, и, таким образом, завоевание управляло Европой от 1793 до 1815 г., и нации, которые с наибольшей энергией боролись за свою независимость, завоевавши эту независимость, тотчас же обнаруживали стремление к превращению ее в супрематию“. Новейший империализм, в сущности, есть не что иное, как это старое, очень-очень старое стремление к господству (там же). Прибавлю, что некоторые критики последних томов „Европы и французской революции“, находившие вообще известную разницу между ними и предыдущими, упрекали Сореля за несоответствовавшее общему духу всего труда благоволение к Наполеону, по отношению к которому, как выразился один рецензент VIII тома, патриотизм должен был бы внушить автору более суровые слова. Действительно на заключительных страницах всего труда Сорель говорит о Наполеоне в приподнятом тоне, портящем то общее впечатление, какое остается от спокойного и научно-объективного изложения всего труда.

## ГЛАВА IX.

### Конец первого столетия после революции. — Оживление изучения революции около 1889 года.

Труды Тэна и Сореля были самыми замечательными произведениями французской исторической литературы о великой революции в первые три десятилетия третьей республики во Франции. Оба они отразили на себе и свою эпоху, открывшуюся франко-германской войной, за окончанием которой последовала и война гражданская: первая, можно

сказать, наметила тему труда Сореля, вторая отразилась на общем направлении труда Тэна. Кроме того, оба эти историка взглянули на революцию глазами Токвиля и даже построили свои труды по его схеме, в которой такую важную роль играет мысль об эволюционной связи старого порядка и революции. Тэн написал историческое произведение как-раз по тому плану, какой был у Токвиля, не успевшего его осуществить, а Сорель применил точку зрения Токвиля на старый порядок и революцию ко всей Европе. Оба они являются последователями Токвиля и в том отношении, что применили к изучению революции аналитический метод, тогда как у историков предыдущей эпохи преобладал историко-философский синтез. И Тэн, и Сорель выступили критиками революции в той ее стороне, в которой она наиболее воспроизводила многие черты старого порядка.

Как бы ни отразились на трудах Тэна и Сореля обстоятельства эпохи и личные переживания самих авторов, несомненно, что оба они в то же время являются прямыми продолжателями научного дела Токвиля. Мы видели уже, как инициатива автора „Старого порядка и революции“ сказалась на оживлении интереса французских историков к старому порядку<sup>1)</sup>. Кроме названных там книг, вызванных примером Токвиля, можно указать еще на известное сочинение Буато о Франции в 1789 году, заключающее в себе массу фактического материала о состоянии Франции непосредственно перед самой революцией<sup>2)</sup>. С семидесятых годов особенно разрастается изучение разных сторон старого порядка отчасти во всей Франции, отчасти в отдельных ее провинциях, к чему в большинстве случаев привлекались документы местных архивов. Эта литература так обширна, что приводить здесь всю ее библиографию представляется невозможным, и мы за справками о ней направляем к уже указывавшейся<sup>3)</sup> книге П. Н. Ардашева, где на этот счет собран обильный материал как-раз до 1900 года. Исключение сделаем здесь лишь для нескольких более общих произведений.

<sup>1)</sup> См. выше, стр. 83—84.

<sup>2)</sup> Boiteau. Etai de la France en 1789. 1861. Было переиздано в 1889 году Книга Pizard'a о том же предмете не имеет никакой научной цены.

<sup>3)</sup> См. выше, стр. 8, прим. 1.

Одним из наиболее неутомимых исследователей старого порядка был провинциальный архивист Альбер Бабо, автор целого ряда трудов в этой области. Первыми его исследованиями были о ссылке в Труа Парижского парламента в 1787 году и о городе Труа в эпоху революции<sup>1)</sup>, но потом он перешел к более общим темам и написал книги о разных сторонах местного быта при старом порядке. Таковы книги Бабо о тогдашних деревнях и о сельской жизни, о городе, о провинции<sup>2)</sup>, вышедшие в промежуток времени от 1877 по 1894 годы. Есть у него еще работа о Париже в 1789 году, изданная к столетнему юбилею революции<sup>3)</sup>.

Кроме того, он писал о ремесленниках и слугах былых времен<sup>4)</sup>, о военной жизни при старом порядке<sup>5)</sup>, о деревенской школе до начала революции<sup>6)</sup> и т. п.<sup>7)</sup>. Достоинство трудов Бабо заключается в массе извлеченного из архивов материала и вообще в проявленной автором солидной эрудиции, равно как в духе научного беспристрастия и уважения к исторической истине, которым он проникнут. Обе эти стороны его трудов: и строгую фактичность, и объективизм тем более нужно отметить, что в литературе о старом порядке, особенно по местным вопросам, часто проявляются поверхностность и чисто публицистическое отношение к предмету. Но в трудах Бабо есть и один недостаток: автор часто не различает эпох, к которым относятся приводимые им данные, взятые на протяжении двух столетий, что очень вредит точности картины. Нередко также он говорит о том и другом, не доводя изложения предмета до самого кануна революции. Кроме Альбера Бабо, в историографию старого порядка сделал в склад другой Бабо, Анри,

<sup>1)</sup> A Babeau. Le parlement de Paris à Troyes en 1789 (1871).—Histoire de Troyes pendant la révolution (1873 — 1874).

<sup>2)</sup> Le village sous l'ancien régime (1877).—La ville sous l'ancien régime (1880).—La vie rurale dans l'ancienne France (1883).—La province sous l'ancien régime (1894).

<sup>3)</sup> Paris en 1789 (1889).

<sup>4)</sup> Les artisans et les domestiques d'autrefois (1886).—Les bourgeois d'autrefois (1886).

<sup>5)</sup> La vie militaire sous l'ancien régime (1889 — 1890).

<sup>6)</sup> L'école de village sous l'ancien régime (1881).

<sup>7)</sup> Книги об иностранных путешественниках по Франции и о маршале Вилларе.

написавший работу о сельских сходах в дореволюционной Франции <sup>1)</sup>).

Бабо работал преимущественно в своем местном архиве, по у него были предшественники еще из конца шестидесятых годов, а позднее и товарищи, обнародовавшие разные документы или свои работы по старому порядку, каковы книги Пру, Иппо, Ривьера, Круг-Басса, Матъё, Леру, Дюма <sup>2)</sup>), называемые здесь, так сказать, наудачу, чтобы показать, как в последней трети XIX века стала во Франции разрабатываться история разных местностей при старом порядке. Приведенные имена далеко не исчерпывают список авторов этой категории. Еще более длинным списком оказался бы перечень авторов провинциальных историй революции, очень неравномерных по объему, в особенности же весьма разноценных в отношении научных достоинств <sup>3)</sup>). Между прочим, около 1889 года значительно улучшилась деятельность местных архивистов или научных обществ по изданию наказов 1789 года <sup>4)</sup>), которыми так пренебрегали прежние историки, и значение которых было особенно выдвинуто вперед Токвилем. Уже в шестидесятых годах появились первые исследования о наказе Шассена, озаглавившего свою книгу „Дух революции“ <sup>5)</sup>), и Понсена, давшего своей более скромное заглавие <sup>6)</sup>). Сравнивая между собою выводы обоих авторов, мы находим, что Франция 1789 года желала не одного и того же. По Шассену выходит, что ее желания были гораздо радикальнее, нежели те же желания в изображении их у Понсена. Значит, на выводах авторов отразились их собственные политические настроения. Наказы 1789 года заключают столь разнообразный материал, что вычитать из него можно все, что угодно. От этого недостатка в деле изучения наказов уже

<sup>1)</sup> H. Babeau. Les assemblées générales des communautés d'habitants du XIII siècle à la révolution. 1893.

<sup>2)</sup> Proust. Archives de l'Ouest. Opérations électorales en 1789. 1867.— Hippeau. Gouvernement de Normandie aux XVII et XVIII siècles. 1869—1870.— Rivière. Histoire des institutions de l'Auvergne. 1874.—Krug-Basse. L'Alsace avant 1789. 1876.—Mathieu. L'ancien régime dans la province de Lorraine et de Barrois. 1878.—Leroux. La généralité de Limoges. 1891.—Dumas. La généralité de Tours au XVIII siècle. 1894.

<sup>3)</sup> См. в указанной книге проф. Ардашева, т. I, стр. 33 — 36.

<sup>4)</sup> См. в той же книге стр. 36 — 37.

<sup>5)</sup> Chassin. Le génie de la révolution. 1863.

<sup>6)</sup> Ponceins. Les cahiers de 1789. 1866.

более свободны более поздние историки, оставляющие в стороне свой консерватизм или либерализм, а просто подсчитывающие и классифицирующие разные желания, высказавшиеся разными классами населения.

Особенно мало была разработана история сельского населения Франции перед революцией. В начале пятидесятых годов Академия моральных и политических наук объявила конкурс на премию за историю крестьян, что вызвало появление в свет ряда работ <sup>1)</sup>, но во всех этих работах о XVIII веке или почти ничего не говорилось или говорилось очень мало, так что положение вопроса от их появления несколько не изменилось. Несколько больше давала вышедшая в 1860 году книга Лаверня о сельском хозяйстве во Франции с 1789 года <sup>2)</sup>, и только в 1874 году появился первый труд, сколько-нибудь обстоятельно осветивший вопрос об отношении революции к феодальным правам. Это книга Дониоля „La révolution française et la féodalité“. Она пополнила весьма важный пробел в истории французской революции: общие историки как-то совершенно не интересовались феодальным законодательством собраний, управлявших Францией в 1789—1795 г.г. <sup>3)</sup>. Указанная выше книга Бабо о французской деревне при старом порядке издана была уже после только-что названного труда.

Вообще экономическая сторона старого порядка оставалась менее разработанной, чем чисто финансовая, по которой имеются важные для познания эпохи труды, вышедшие в конце XIX столетия: Вюитри, Клержье, Стурма, Люса, Бушара, Гомеля и др. <sup>4)</sup>. Последний из названных авторов даже

<sup>1)</sup> Bonnemère. Histoire des paysans. 1856.—Du Cellier. Histoire des classes laborieuses en France. 1860.—Daresté de la Chavaune. Histoire des classes agricoles en France. 1858.—Doniol. Histoire des classes rurales en France. 1857.—Leumarie. Histoire des paysans en France. 1856. См. о них стр. III—IV моей книги „Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века“ (1879).

<sup>2)</sup> De Lavergne. Economie rurale de la France depuis 1789.

<sup>3)</sup> Очень ценного в этом отношении давала книга: Laferrière. Histoire des principes, des institutions et des lois pendant la révolution française 1851—1852.

<sup>4)</sup> Все вышли уже после капитальной „Истории налогов во Франции“ Кламажера (1867—76).—Vuitry. Etudes sur le système financier en France avant 1789; три тома, 1878—1883.—Clegier. Notions historiques sur les revenus de l'ancien régime 1882.—Stourm. Les finances de l'ancien régime et de la révolution 1885.—Lucas. Contributions de la France à cent ans de distance (1789—1889).—Vouchard. Le système financier de l'ancienne monarchie. 1892.

озаглавил свою книгу „История финансовых причин французской революции“<sup>1)</sup>, дав в первых двух ее томах, выпедших в 1892 и 1893 годах, более широкое, чем значится в заглавии, содержание. В упрек автору можно поставить, что он и мало, и плохо пользовался архивным материалом.

Попытка общего сводного изображения старого порядка, кроме трудов Тэна и Сореля, а также книги Шампиона на основании наказов 1789 года, сделана была еще в консервативном духе виконтом де-Броком в его „Франции при старом порядке“, первый том которой (о правительстве и учреждениях) вышел в 1886 году, второй (о нравах и обычаях) в 1889 году.

Мы еще увидим ниже, какое развитие получила во Франции с конца XIX века публикация источников по истории революции, здесь же отметим, что начало ей было положено в 1867 году изданием „Парламентского Архива“ под редакцией Лорана и Мавидаля<sup>2)</sup>. Это громадное издание делится на две серии, из которых одна заключает в себе протоколы законодательных собраний и другие документы от 1787 до 1799 г., вторая — от 1800 г., при чем в первых семи томах содержатся почти исключительно наказания 1789, перепечатанные с одной рукописной коллекции (исключительно копии), имеющейся в Национальном Архиве и, очевидно, той самой, о которой говорит Токвиль<sup>3)</sup>.

С восьмого тома начинаются материалы по Учредительному Собранию. Как велика первая серия, можно заключить из того, что с прежними 7 томами потребовалось около 50 томов, чтобы добраться до Конвента. Способ издания „Archives Parlementaires“ подвергался строгой критике со стороны таких специалистов, как Олар, Бретт, Савьяк<sup>4)</sup>. Редакторы издания искусственно перемешивали официальные протоколы с газетными отчетами, по только с 72 тома они

<sup>1)</sup> G o m e l. Histoire des causes financières de la révolution française.

<sup>2)</sup> Archives Parlementaires de 1788 à 1860, recueil complet de débats législatifs et politiques des chambres françaises.

<sup>3)</sup> См. выше, стр. 16.

<sup>4)</sup> В „Bulletin de la société d'histoire moderne“ за 1902 г. и в „La Rév. Fr.“ за 1904 и 1911 г.г. Кроме того, см. Guiffrey. Etudes sur la collection publiée sous le titre des Archives parlementaires 1889. Ср. также стр. XCI—CIV первого тома названной выше „Collection“ Бретта.



переменили свою систему и начали печатать разными шрифтами, с одной стороны, подлинные протоколы, с другой разные другие документы, между прочим, архивного происхождения или газетные отчеты и т. п. Научная критика приветствовала эту перемену, поставившую издание на научную высоту <sup>1)</sup>. Для справок имеются алфавитные указатели (в 7 томе для всего предыдущего материала, в конце 32 и 33 т. для Учредительного Собрания, в 51 — для Законодательного Собрания и т. д.).

Перед юбилейным годом вышло во Франции в свет несколько книг, не столько вносящих что-либо новое в изучение эпохи, сколько подводящих итоги под прежними исследованиями или их критикующими. К первой категории причислим превосходный компендий Альфреда Рамбо, второй том „Истории французской цивилизации“, который заключает в себе изображение старого порядка, начиная с фронды, и „Историю современной цивилизации“ того же автора, первая часть которой обзревает идеи, учреждения, общественные отношения, состояние наук, образования, искусств, промышленности и нравов в революционную эпоху. За несколько лет перед тем Рамбо написал еще очень коротенькую „Историю французской революции“ <sup>2)</sup>.

Важным приобретением для общего ознакомления со старым порядком были VI — IX томы, каждый в двух частях, вышедшей в 1900 — 1910 годах „Истории Франции“ под редакцией Эрнеста Лависса <sup>3)</sup>, но бывшей результатом коллективной работы многих лиц. Это издание ограничивается дореволюционной Францией, специально же царствованию Людовика XVI посвящен последний том, в составлении которого принимали участие Каррэ, Саныяк и Лависс.

За два года до празднования юбилея революции вышла небольшая книга Эдма Шампиона „Дух французской революции“, направленная вообще против ее новейших „хулителей“ (récents détracteurs) с целью объяснить противоречия во взглядах историков на революцию и даже выяснить то, что они оставили непонятым. Особенного и оригинального в книге

<sup>1)</sup> Напр., S a g n a c в „Rev. d'histoire moderne et contemporaine“ за 1912 г.

<sup>2)</sup> A. R a m b a u d. Histoire de la civilisation française. 1887.—Histoire de la civilisation contemporaine. 1888.—Histoire de la révolution française (русск. пер.).

<sup>3)</sup> Histoire de France.

нет. Автор делает из рассмотрения старого порядка тот вывод, что революция была неизбежна, и что все желали перемен, не зная, однако, что из них выйдет, и в общем готовы были „удовольствоваться частными неполными реформами“ (84). Он отмечает при этом умеренность и терпеливость членов Учредительного Собрания, на дорогу же революции их толкнула контр-революция, причем автор готов верить в подстрекательство народа против привилегированных правительственными агентами (120). Далее, он оправдывает „метод Учредительного Собрания“, отвергая обвинение его в том, что оно хотело все разрушить, дабы создать потом все заново: если когда-нибудь оно так поступало, то только вынужденное обстоятельствами (141). Компетентность Собрания устроить по своему плану государственную церковь кажется Шампиону вполне естественною, но с точки зрения современного просвещения (*éclairée comme nous le sommes aujourd'hui*) он находит ошибочным требование у духовенства присяги (184). Высоко ценя Конвент за великие его заслуги „перед Францией и всем человеческим родом“ (213), он не отделяет его от политики Учредительного Собрания, прямым продолжателем которого он был. Разницы между 1789 и 1793 годами он не находит никакой. В вопросе о религии Учредительное Собрание „с Монтескье и Руссо, по его мнению, уклонилось от принципа свободы, тогда как Конвент“ с Вольтером „формулировал ее истинные принципы (224), что уже прямо парадоксально. Разницу между Жирондою и Горюю он стремится сгладить до нельзя (глава IX). О терроре Шампион тоже особого мнения. Вместо того, чтобы терять время, „черня его“, он советует исследовать его происхождение (283), которое он относит к самому началу революции (к лету 1789 года), возлагая вину за него на контр-революцию. Те, которые объясняют его трусостью и азиатией, говорит он, не понимают, что вся страна была с ним согласна (*le pays y consentit*), что против него не было всеобщего недовольства (264). Оправданием террора служат „неслыханные обстоятельства“ эпохи (269), а притом были же и прежде драгоннады, инквизиция. Термидору, самому по себе, Шампион не хочет приписывать никакого значения (295 — 301). Директория кажется ему совсем недурным правительством (306 и

сл.), а переворот 18 фрюктидора вовсе, по его мнению, не имел тех дурных последствий, какие ему приписывают (313). Шампион даже оправдывает старых революционеров, сделавшихся орудиями бонапартовского деспотизма, потому что, говорит он, „одно дело — быть обманутым, другое — быть ренегатом“ (*autre chose être dupe, autre renégat*) и потому еще, что столько уже совершено было государственных переворотов до 18 брюмера, сделанных людьми, которые не считались врагами свободы (326). Во всей книжке Шампиона господствует стремление как-то представить революцию единою и последовательною, стирая разницу между отдельными ее направлениями, причем, напр., он отрицает различие между направлениями Монтескье и Руссо (29), и вместе с тем стремится оправдать все одними обстоятельствами, сделавшими революцию неумеренною <sup>1)</sup>. Шампион не был уже новичком в историографии революции; еще в 1884 году он издал брошюру о народном образовании во Франции по наказам 1789 года. Отмечаем эту небольшую брошюру, как общий факт, свидетельствующий о том, что во Франции в это время возрос интерес к наказам. В „Духе французской революции“ Шампион тоже воспользовался наказами (глава III) для характеристики настроения французской нации в 1789 году, находя, что Токвиль напрасно „ужасался“ содержанием наказов, как великою заговора против всех учреждений и законов страны (78 — 80). Позднее (1897) Шампион написал целую книгу о Франции по наказам 1789 года, которая появилась и в русском переводе <sup>2)</sup>. Автор посвятил изучению этого предмета несколько лет, отнесся к своему источнику с надлежащей критикой и дал очень ценную картину старого порядка, как он отразился в наказах.

С книгой Шампиона следует сопоставить вышедшую в юбилейный год книгу Гастона Фёжера „Французская революция и современная критика“ <sup>3)</sup>. Автор говорит в ней, что „новым характером“ работ по истории революции является бóльшая их правдивость и справедливость, что при-

<sup>1)</sup> Несколько подробнее см. в статье моей „Новейшие работы по истории французской революции“ (Истор. Обзорение, т. I. 1890).

<sup>2)</sup> E. Champion. La France d'après les cahiers de 1789.

<sup>3)</sup> G. Feugère. La révolution française et la critique contemporaine.

бавляет он нанесло сильный удар „революционному апологетизму“. Опираясь на известную книгу Лаверня о провинциальных собраниях при Людовике XVI <sup>1)</sup>, Фёжер находит, что „Франция по вине революции скорее была остановлена в своей преобразовательной работе, обманута и повреждена в своих истинных интересах“, ибо в 1789 году, по его мнению „почти все важнейшие и решительные реформы были уже совершены или готовы были совершиться“. Мало того. Он думает еще, что привилегированные везде сдавались, и что если началось сопротивление реформам, то „лишь тогда, когда почувствовалось разрушительное дыхание революции“, так что начавшееся, по его выражению, национальное согласие всех французов, „из которых должны были произтечь мирные реформы, было разрушено революционным духом“. Почему-то автор не останавливается на выяснении „многочисленных, как сам он говорит, причин, погубивших дело Тюрго и Неккер“. Во взгляде на ход революции Фёжер примыкает к Тэню, а местами он опирается и на Сореля, впрочем, поправляя его в консервативном направлении. Например, ему всячески хочется обелить эмиграцию. Он защищает и вандейцев от разных нападков на них со стороны „революционных историков“. В вопросе об отношении революции к католицизму Фёжер руководствуется авторитетом епископа Фреппеля. Все это достаточно определяет характер книги Фёжера <sup>2)</sup>. Общий вывод автора тот, что Франция могла бы мирно совершить свое преобразование, если бы не революционный дух, враждебный христианству и монархии, которым Франция обязана своим бытием. К старому порядку он относится с сочувствием, хотя на счет его, говорит он, историками выстроено „целое здание из лжи и клеветы“. С аналогичной точки зрения взглянул на революцию и Мариус Сепэ в книге „Прелиминарии Революции“ <sup>3)</sup>.

Книги Шампиона и Фёжера написаны с диаметрально противоположных точек зрения: у этих двух историков, хо-

<sup>1)</sup> См. выше, стр. 34, прим. 1.

<sup>2)</sup> Несколько подробнее эта книга рассмотрена в моей статье „Новейшие работы“, названной в прим. 1 на стр. 155.

<sup>3)</sup> Marius Sèpè. Préliminaires de la révolution. Этот автор был деятельным сотрудником „Revue des questions historiques“, солидного клерикального исторического журнала, в котором в 1889 году он поместил статью „La société française à la veille de la révolution“.

рошо знакомых с литературой предмета, нет общей почвы, общего языка. Один защищает революцию от ее „повейших хулителей“ (détracteurs), стараясь показать, что революция совсем ни в чем не виновата, другой пользуется „современной критикой“, чтобы, наоборот, доказать, что революция во всем виновата. Оба берут революцию en bloc, Шампюни стараясь сгладить черты различия между ее направлениями, Фёжер делая, в сущности, то же самое, только с противоположным намерением. Это очень характерное явление для историографии революции через сто лет после того, как она произошла. Но и научный дух сделал к столетнему юбилею революции крупные успехи, что особенно явствует из книги Эме Шерэ „Падение старого порядка“, вышедшей в восьмидесятых годах<sup>1</sup>). Автор этого замечательного труда приступил к изучению эпохи с такими же приблизительно идеями, какие были у Лаверня, у Фёжера, у Сена, но научное занятие источниками совсем его разубедило в правильности такой точки зрения. В этом отношении труд Шерэ заслуживает особого внимания.

Эме Шерэ, родившийся в 1826 году, был уже человеком преклонных лет, когда занялся историей французской революции. Он прожил свою жизнь адвокатом в родном своем городе Оксере, где совсем еще молодым человеком сделался членом местного „Общества исторических и естественных наук“, скромно потом работая над разными вопросами истории и археологии родного края, между которыми были касавшиеся и церковных древностей. По своим политическим убеждениям это был сторонник конституционной монархии с сильно консервативным оттенком. Политическая деятельность его несколько, однако, к себе не манила, и только в 1876 году, когда ему было уже пятьдесят лет, он по настояниям своих единомышленников выставил себя на выборах кандидатом в депутаты. В одной своей речи он говорит прямо: „моя кандидатура—кандидатура консерватора и притом старинного (de vieille date), и я откровенно прибавлю, что я отнюдь не республиканец вчерашнего дня“. Кандидатура была выставлена против такого видного республиканца, как Поль Бер, и весьма естественно на выборах провалилась.

<sup>1</sup>) Aimé Cherest. La chute de l'ancien régime. 1884—1886. Есть русский перевод.

В числе друзей Шерэ был республиканец Мари (Marie), член временного правительства 1848 года, биографию которого Шерэ издал в 1873 году. Разбирая его бумаги, Шерэ нашел среди них заметки о революции 1789 года и сам решил заняться этим предметом „так, как изучают средние века“. Его первоначальным намерением, было реабилитировать старый порядок, но пришел он к диаметрально противоположному выводу<sup>1)</sup>.

Сам Шерэ сообщает о перемене своих взглядов в конце введения к I тому. „Признаюсь, говорит он, что когда, уже довольно давно, я начал поиски, результат которых теперь публикую, я чувствовал себя расположенным быть снисходительным к этому старому режиму, предмету столь горячих нападков столь страстной критики. Убеденный консерватор, я был бы счастлив установить, что, вместо того, чтобы пуститься в страшные испытания революции, наши отцы могли бы одним прогрессом идей, одною силою вещей, законным образом и мирно, основать новую Францию, не нагромождая вокруг ее колыбели обломки старой Франции. Чем глубже проникал я в подробности того, что было в действительности, тем более противоположное убеждение овладевало моим умом. Теперь я пришел к тому, чтобы кричать консерваторам наших времен: ради бога, не оспаривайте необходимости и законности революции, которая нас сделала такими, какими мы есть, и без которой мы никогда не только не достигли бы, но и не увидели бы пристани. Не возбуждайте против себя, против нас всех страшного недоверия, превознося похвалами, по поводу происхождения новейшей Франции, систему, которую ничто не может оправдать. Особенно не допускайте, чтобы вас заподозревали в сочувствии к режиму, который в памяти народных масс преследует заслуженное недоверие. Не в сторону прошлого должны обращаться наши взгляды. Нужно, чтобы каждый из нас повторял и чистосердечно повторял слова Мирабо: я консерватор по отношению к порядку вещей, установленному революцией, я не консерватор по отношению к прежнему порядку, который она правильно разрушила“ (т. I, стр. XI—XII).

<sup>1)</sup> Биографические сведения заимствованы из введения к III тому, бывшему посмертным.

С Шерэ, можно сказать, произошло противоположное тому, что случилось с Тэном. Тэн хотел подойти к революции, как натуралист, но поддался публицистическому искушению, Шерэ же намеревался провести в своем труде предвзятую точку зрения и кончил тем, что написал вполне научный труд, выработав в себе объективного ученого на исторических занятиях разными вопросами. С этой стороны его труд является одним из виднейших памятников той эпохи в историографии французской революции, когда научный дух стал все более и более брать в ней перевес над публицистическими стремлениями. Отношение Шерэ к революции гораздо более соответствует научному духу, нежели отношение Тэна. Предметом своего труда, оставшегося не вполне законченным (III том обрывается на „прелиминариях революции 14 июля“). Шерэ взял два года, 1787 — 1789, когда, по его представлению, и произошло крушение старого порядка. В сущности, работа была почти закончена, причем автор вернулся к традиции Монжуа и Александра Ламета, которые, как мы видели в своем месте<sup>1)</sup>, именно в 1787 году полагали начало революции. „Не говоря, читаем мы во введении к I тому, о глубоких и отдельных причинах, приготовивших падение старого порядка, не подлежит спору, что движения, его окончательно определившие, возникли в конце 1786 года. Необходимо обратиться к этой поре, если желаешь понять великий взрыв 1789 года. Без этого рискуешь на каждом шагу ошибиться относительно разворачивавшихся фактов. Легко можно принять за начало то, что было только продолжением, за нападение то, что было только отплатой. Справедливость здесь столько же теряет, как и истина“ (стр. IX). Шерэ находит неправильным, что историки революции пренебрегают этими двумя годами. Что касается до момента, на котором он предполагал остановиться, то это были дни 5—6 октября 1789 года.

Как подробно рассматривает Шерэ время от опалы Неккера и особенно от созыва нотаблей до июля 1789 года, можно заключить из того, что в двух томах и незаконченном третьем об этом периоде говорится на более, нежели полутора тысячах страниц (568+636+344), из которых только

<sup>1)</sup> См. т. I, стр. 28—29.

три с половиною сотни приходится на то, с чего обыкновенно начинают рассказывать историю революции. В этом смысле, труд Шерэ представляет собою одно из важнейших приобретений историографии, революции, в котором, между прочим, не только хорошо выяснена реакция, вообще последовавшая за первой отставкой Неккера, но и, в частности, еще чисто „феодалная реакция“ (I, 48 и след.), можно сказать, открытая автором для исторической науки. Другим важным выводом Шерэ было то, что революцию, в смысле нападения на власть, начали привилегированные, что от них движение перешло к буржуазии и что только после всего началось брожение в народной массе. Три большие главы второго тома, составляющие около двухсот пятидесяти страниц (394—636), заняты выборами и наказаниями 1789 года.

Своею объективною научностью Шерэ примыкает вполне к традиции Токвиля, понятие которого о старом порядке он вполне усвоил, приняв за начало его, в более тесном смысле, смерть Людовика XIV (т. I, стр. XVI). Автор только несколько поправляет один взгляд Токвиля. Знаменитый историк старого порядка говорит, что вследствие революции французы XIX века уже не знали, что такое был старый порядок, но, по Шерэ, вина этого не в революции, его старый порядок разрушившей, а „в нем же самом, бывшем до того плохо слаженным (régulé), столь темным, иногда до того мало вразумительным, что сами современники находились в положении, не лучшем нашего“. Это был какой-то хаос, в котором трудно было разобраться (стр. XIX). Запутана была политическая и административная организация Франции, но она была, говорит автор, образцом ясности (chef-d'oeuvre de clarté) сравнительно с организацией социальной (стр. XX). Особенно плохо знали в XVIII веке, что, собственно, представлял собою сеньерьяльный режим (термин, которым Шерэ советует заменить феодальный режим, стр. XX—XXII).

Вот какой важный труд по истории французской революции вышел из-под пера политического консерватора, настолько во время своих исторических занятий проникшегося требованиями научного метода, что факты и логика победили в его уме предвзятую точку зрения, с какою он подошел к своему предмету. Ручательством научности труда Шерэ



служит тот факт, что из исследования получилось совсем не то, чего автор хотел первоначально. Конечно, своя доля влияния на это была в индивидуальности самого Шерэ, но была своя доля такого влияния и в духе времени: на расстоянии ста лет революции могла казаться уже достаточно отдаленным прошлым, а главное, сама история все более стала делаться наукою, отрешаясь от своей прежней „литературности“ в смысле толкования истории не как науки (science), а как одного из видов словесности (lettres), наряду, например, с ораторским искусством.

Чисто юбилейная литература книг, брошюр и статей, появившихся в 1889 году, была очень большая, но в общем это были произведения, скорее характеризующие отношение Франции 1889 года к революции, нежели проливающие на революцию новый свет <sup>1)</sup>.

Не все эти произведения принадлежали авторам, приемлющим революцию. Знаменитый орлеанский епископ Фрепцель издал брошюру „La révolution française à propos du centenaire“, которая вызвала ответ Трогана <sup>2)</sup>. Д'Эрико издал большой иллюстрированный том тоже с характером памфлета <sup>3)</sup>. Но были и более серьезные издания. Сюда следует отнести переиздание известной книги Буато <sup>4)</sup> с добавлениями, сделанными архивистом Грассорейлем. Научный характер имеют работы Левассёра о населении Франции перед 1789; Бабо о Париже в 1789 года <sup>5)</sup>; „История французского общества“ братьев Гонкуров <sup>6)</sup>, роскошно изданная книга с портретами, картинками мод, карикатурами; „1789 год“ Ипполита Готье <sup>6)</sup>, где сделана попытка воскресить 1789 год изо дня в день в анекдотах, памфлетах, песенках и гравюрах того времени

<sup>1)</sup> Du Bled. Les grands causeurs de la révolution. — Chaudordy. La France en 1889 — Coudry. Cent ans des révolutions. — Corentin Guyho — Autour 1789. — H. Gautier. L'an 1789. Ero же Mémorial du centenaire. — Goumy. La France du centenaire. — Guérout. Les centena res du 1789. — Ferneuil. Les principes de 1789 et la science sociale. — Janet (Paul). Centenaire de 1789. — Le livre du centenaire du Journal des débats. — H. Monin. Le journal d'un bourgeois de Paris pendant la révolution. — G. Monod. Le centenaire de 1789 (Rév. Hist.). — Ollivier. 1789 et 1889 — Pemjan. Cent ans après.

<sup>2)</sup> Trogan. L'équivoque sur la révolution française. Réponse à Monseigneur Freppel.

<sup>3)</sup> D. Méricault. La France révolutionnaire.

<sup>4)</sup> См. выше, стр. 148.

<sup>5)</sup> См. выше, стр. 149, прим. 3.

<sup>6)</sup> De Goncourt. Histoire de la société française.

и т. д. Провинциальные города откликнулись рядом изданий местных наказов, иногда с протоколами выборов, что увеличило уже бывший известным материал этого рода <sup>1)</sup>.

В 1881 год стал выходить в свет специальный исторический журнал, посвященный французской революции, под заглавием „La Révolution Française, Revue historique“. Основателями этого научного органа были сенатор Дид, бывший и первым его редактором, депутат Кольфаврю и архивист палеограф Шаравэ, которые предприняли это издание, в виду именно приближавшегося столетнего юбилея революции. В числе первых сотрудников журнала был сенатор Ипполит Карно, сын революционного „организатора победы“ и отец будущего президента республики, сам написавший в 1870 году небольшую популярную историю революции, которая была впоследствии переведена по-русски. Первая же статья в новом органе под заглавием „Единство французской революции“ была написана Ипполитом Карно, который вскоре после этого сделался и основателем „Общества истории французской революции“ (Société de l'histoire de la révolution française). С 1889 года редакция расширила программу журнала, обозначив это в подзаголовке словами: „журнал новой и современной истории“. Только что названное общество возникло также с сотою годовщиною революции. Для подготовки празднования юбилея Ипполит Карно образовал под своим председательством особый комитет, из которого и возникло новое научное учреждение. Это было в марте 1880 года. Когда в том же марте 1880 года основатель общества и первый его председатель Ипполит Карно умер, члены-учредители обратились к его сыну, бывшему тогда президентом республики, с просьбою взять на себя почетное председательство в Обществе. С самого же начала своего существования оно поставило себе задачею издание разных вещей, относящихся к истории революции, выбрав в первую голову знаменитую брошюру Сьейса о третьем сословии, давно сделавшуюся библиографическою редкостью <sup>2)</sup>. Редактировал это издание уже известный нам Эдм Шампион. Впрочем, в 1888 и

<sup>1)</sup> Эти издания были отмечены в указанной выше (стр. 155) статье о новейших работах по истории, где их названо около десятка.

<sup>2)</sup> Qu'est-ce que le Tiers état? par Sieyès précédé de l'Essai sur les privilèges publié par Edme Champion. 1888.

в начале 1889 года Общество было занято, главным образом, подготовкой исторической выставки французской революции, открывшейся в апреле в одной из больших зал Лувра. Устав Общества французской революции на первом месте целью ассоциации ставит внесение научного духа в исторические исследования о французской революции. Другие его задачи были определены, как установление постоянных связей между лицами, занимающимися эпохой и в Париже, и в провинции, публикация неизданных и редких документов или оригинальных сочинений, касающихся истории Франции с эпохи революции, и устройство публичных лекций в Париже и в других городах.

В первом составе Комитета Общества из 32 лиц было два сенатора, семь депутатов, один член Французской Академии, пять публицистов и т. п., и только четыре преподавателя истории, из коих два университетских профессора, Рамбо и Олар. Последний, незадолго перед тем занявший специальную кафедру истории революции в Сорбонне, был первым секретарем бюро Общества, потом на долгое время сделался бессменным его председателем, равно как и главным редактором „La Révolution Française“. Сама особая кафедра истории французской революции, в составе словесного факультета Сорбонны, порученная Олару, была основана Парижским муниципальным советом также в связи со столетним юбилеем революции. В руках Олара объединились таким образом преподавание истории революции в Парижском университете, главное руководство в специальном ученом обществе, основанном для изучения революции, и заведывание научным журналом, скоро ставшим, так сказать, официальным органом Общества <sup>1)</sup>.

В годовом его собрании, происходившем 2 марта 1890 г., когда уже окончились юбилейные торжества и можно было отдаться исключительно научной работе, был прочитан отчет секретаря, заключивший в себе profession de foi молодой научной организации. „То, читаем мы здесь, что мы действительно хотели, это, прежде всего,—делать научное дело. Нам казалось, что давным-давно было уже пора перестать

<sup>1)</sup> В № 2 исторического журнала „Анналы“ С. М. Давидович поместил статью по поводу сорокалетнего юбилея Олара (1923).

смотреть на историю революции, как на материал для памфлетов, и начать применять к этой истории те же правила исторической критики, какие употребляются при изучении более отдаленных эпох". Указав на то, что с полной свободой занятие изучением этой истории сделалось возможным только при третьей республике, отчет отмечал и другое, еще более важное в данном отношении обстоятельство. „Еще недавно в Собрании и в прессе были ораторы и писатели, которых называли робеспьеристами, дантонистами, жирондистами... Теперь этот анахронизм, к счастью, вышел из моды, и смешно было бы к нему возвратиться... Поэтому в настоящее время историк может, сколько ему угодно, критиковать Верньо, Робеспьера или Дантона, не заставляя тех или других людей, либо те или другие партии нашего времени печалиться или радоваться по поводу каких-нибудь намеков". Родоначальником нового направления в изучении французской революции отчет называет Кинэ, который, как здесь сказано, „подал пример смотреть на этот период национальной истории теми же глазами, какими смотрят и на другие периоды не в качестве верующих, а в качестве критиков". „Мы, говорится далее, любим революцию, мы живем ее духом, но мы желаем, чтобы ее факты передавались верно, без фантастического почтения, передавались на основании документов, как будто бы дело шло о царствовании Филиппа-Августа или Людовика XVI. Будучи в одинаковой степени неприятелями легенд правой и левой, мы и написали во главе нашего устава, что мы желаем содействовать внесению научности в изучение революции". Вот почему основатели Общества и обратились с призывом ко всем лицам, занимавшимся историей революции без духа ее очернения и систематической пристрастности. В частности, инициаторы имели в виду поощрить провинциальных работников, лишенных часто возможности печатать свои работы.

Отчет Олара содержал в себе, на нескольких страницах, и главные сведения об исторической выставке 1889 года. Выставляя на показ публике разные предметы, напоминающие революцию, организаторы руководились тем же духом научного беспристрастия. Их целью было „показать во всем его целом, без односторонней благосклонности к одной какой-либо легенде, великий переворот, из которого вышла новая

Франция. Мы, продолжает отчет, поместили враждебные карикатуры рядом со льстивыми изображениями. Мы представили в одном и том же освещении Людовика XVI, жирондистов, монтаньяров, Дантона, Робеспьера, все секты, все акты, всех людей". В числе намеченных работ отчет называет предположение собрать и издать все, какие найдутся, наказания 1789 года<sup>1)</sup>.

Дело не ограничилось указанными журналами и Обществом, потому что одновременно возникли еще более консервативная „Revue de la révolution“ под редакцией Бора (Bord) и Д'Эрико (d'Hericault) и более аристократическое (по фамилиям основателей) „Общество современной истории“, начиная с 1789 года, основанное в 1890 году, но они не оказали большого влияния на дальнейшую научную работу.

Другое историческое общество для изучения революции образовалось еще в 1907 году под названием „Société des études robespierristes“. Оно также издает свой периодический орган, именно „Annales Révolutionnaires“, начавшие выходить с 1908 года, под редакцией проф. Безансонского университета Альбера Матьеа, автора ряда специальных работ по эпохе. Это общество предприняло полное издание сочинений Робеспьера. Другое такое издание под ред. Виктора Барбье и Шарля Велле было предпринято третьим специальным „Историческим журналом французской революции“, возникшим в 1910 году и расширившим в 1912 году свою задачу в сторону наполеоновской эпохи.

В деле издания новых материалов по истории революции принял, с 1889 года, большое участие и Парижский муниципальный совет, ассигновав большую сумму на печатание документов, касающихся самого Парижа во время революции. Ради этого при городском управлении образовалась особая „Муниципальная комиссия изысканий по истории города Парижа во время революции“, которая тотчас же приступила к публикации „Collection de documents relatifs à l'histoire de Paris pendant la révolution française“, кроме двух еще коллекций по источниковедению: одна содержит в себе составленную Турнё библиографию революционной истории Па-

<sup>1)</sup> Société de l'histoire de la révolution française. Compte rendu de l'assemblée générale du 2 mai 1890. Paris. 1890.

рижа<sup>1)</sup>), другая — реперторий рукописных источников для той же истории под редакцией Тютэ<sup>2)</sup>).

Что касается до документов, то первым из них было собрание материалов для истории якобинского клуба, начатое в 1897 году в шести томах под редакцией Олара, который дал и большую вступительную статью<sup>3)</sup>). Едва окончив это важное издание, Олар стал редактировать в той же серии сборник документов по истории Парижа во время термидорианской реакции и при директории, вышедший в пяти томах между 1898 и 1902 годами<sup>4)</sup>). Одновременно с этими двумя коллекциями выходили в свет отдельные томы „Актов Парижской Коммуны во время революции“<sup>5)</sup>), которых вышло между 1894 и 1909 годами пятнадцать томов под ред. Сигизмунда Лакруа и под конец сменившего его Фаржа. В эту же серию вошли четыре тома документов по парижским выборам и наказаниям 1789 г. под ред. Шассена<sup>6)</sup>), три тома протоколов разных выборов в Париже от 1790 до II года под ред. Шаравэ<sup>7)</sup>). Юбилейная книга Монеа<sup>8)</sup> о Париже в 1789 году с приложением документов, равным образом, принадлежит к числу изданий города Парижа, как два тома (1896—1898) труда Поля Робинэ о религиозном движении в Париже в 1789—1800 годах<sup>9)</sup> и четыре тома документов (1895—1897) об общественном призрении в Париже в эту эпоху под ред. Тютэ<sup>10)</sup>). Очень интересны превосходно изданные в красках планы Парижа в 1789 году и 1794 с разделением города на дистрикты и секции. Другие издания менее важны.

<sup>1)</sup> Tourneux. Bibliographie de l'histoire de Paris pendant la révolution française.

<sup>2)</sup> Tuetey. Répertoire général des sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la révolution française.

<sup>3)</sup> La société des Jacobins, Recueil des documents pour l'histoire du club des Jacobins à Paris.

<sup>4)</sup> Paris pendant la réaction thermidorienne et sous le Directoire. Recueil des documents pour l'histoire de l'esprit public à Paris.

<sup>5)</sup> Actes de la Commune de Paris pendant la révolution.

<sup>6)</sup> Les élections et les cahiers de Paris en 1789. 1888—1889.

<sup>7)</sup> Каждый том носит название „Assemblée électorale de Paris“ с прибавлением дат. Вышли они в 1890, 1892 и 1905 г.г.

<sup>8)</sup> См. выше стр. 161, прим. 1.

<sup>9)</sup> Dr. P. Robinet. Le mouvement religieux à Paris pendant la révolution.

<sup>10)</sup> L'assistance publique à Paris pendant la révolution. Documents inédits recueillis et publiés par A. Tuetey.

Министерство народного просвещения также взяло на себя издание документов, по истории революции, образовав для этого, еще в 1886 году, особую комиссию по изданию архивных материалов. Благодаря данной инициативе, уже в 1889 году появился первый том бывшего рассчитанным на двадцать пять томов сборника актов Комитета общественного спасения под редакцией Олара, аккуратно, в общем, продолжавшего выпускать его по тому в год: до 1910 года вышло двадцать томов.

Другим важным изданием этой серии было собрание документов, относящихся к созыву Генеральных Штатов, под редакцией Армана Бретта<sup>1)</sup>, начатое в 1894 году и не бывшее еще оконченным, когда Бретт скончался. Первые три тома появились в течение десяти лет (1894—1904), а IV том вышел позже. К этому изданию приложен составленный Бреттом великолепный атлас баляжей и сенешальств, на которые делилась Франция еще в средние века и которые в 1789 году были избирательными округами<sup>2)</sup>. Составление атласа потребовало громадного труда, тем более, что в этом делении территории царил невообразимый хаос. То, что мы узнали в данном отношении о старом порядке из вступительной статьи Бретта, только подтверждает мысль Шерэ о плохом знании самими современниками фактических отношений старого порядка. Бретту принадлежит еще несколько трудов<sup>3)</sup>.

В эту же серию входят еще: *Recueil des actes du Directoire exécutif* под ред. Дебидура (первый том 1910 г.), протоколы Комитета народного образования в Законодательном собрании (1889) и в Национальном Конвенте (1890 и сл.) под редакцией Гильома, переписка Карно (1892 и сл.) под ред. Шаравэ, письма г-жи Ролан (1902—1904) под ред. Клода Перру (Perrou) и др.

Около 1900 года предприняла ряд изданий документов и работ по военной истории особая „Историческая Комиссия“ Главного Штаба армии, в числе которых томов 25—30

<sup>1)</sup> *Recueil des documents relatifs à la convocation des états généraux.*

<sup>2)</sup> О ирсыге в *Jeu de Paume* с факсимиле самого акта (1893), список членов Учредительного Собрания (1897), об истории зданий, где заседали представительные собрания революции (1902), статья об издании наказов в „*Archives parlementaires*“ (см. выше, стр. 132, прим. 4) и др.

относятся к революционной эпохе. Несколько позже при министерстве народного просвещения образовалась еще новая Комиссия по изданию документов, относящихся к экономической истории революции, о чем мы будем говорить в другой связи.

Учреждение специальной кафедры истории революции и посвященного работам над нею ученого Общества, основание специального журнала по этой эпохе и усиленная издательская деятельность по отношению к оставшемуся от революции архивному материалу сильно двинули вперед историографию французской революции, интерес к которой оживился еще и с наступлением сотой годовщины.

Благодаря периодическому органу, где можно было помещать небольшие исследования по самым даже детальным вопросам эпохи, начались плодотворная разработка отдельных фактов, мельчайших подробностей событий, и спорных вопросов, а также критический пересмотр разных частей историографической традиции. Недостатка в таком материале не было, вследствие чего могли возникнуть еще два таких журнала, о которых сказано было выше, не считая того, что, время от времени, статьи о революции появлялись на страницах других исторических журналов, как в „Revue des questions historiques“ (с 1866), „Revue Historique“ (1877), „Revue des études historiques“ (1889), „Revue d'histoire moderne et contemporaine“ (с 1899), „Revue de synthèse historique“ (1900) и т. п. В 1910 году даже была основана „Revue des curiosités révolutionnaires“ под редакцией Флейшмана. Среди периодических органов историографии французской революции главная роль принадлежит старейшему, очень скоро перешедшему в руки Олара. Занимая специальную кафедру в Сорбонне, состоял председателем Общества истории Революции, редактируя разные издания документов, Олар постоянно помещал в „La Révolution Française“ свои работы, критические заметки о новых книгах, небольшие документы из архивов и т. п., с 1893 года начав издавать сборники этих статей под заглавием „Études et leçons sur la révol. française“, пока не объединил большую часть своих монографических работ в большой „Политической истории французской революции“, изданной в 1901 году (первоначально в десяти выпусках). Этот важный труд мы рассмотрим потом отдельно, теперь же перечислим главные труды Олара.



Прежние историки революции были обыкновенно авторами трудов, которые писались без предварительных этюдов и кроме которых их авторы не издавали никаких других работ по тому же предмету. При третьей республике во Франции образовалась целая категория историков, специализировавшихся в области небольших исследований и издавших по несколько разных работ. В их числе самое видное место занял Олар, неутомимая и разнообразная деятельность которого дает ему право считаться наилучшим знатоком эпохи. Первыми его печатными трудами были две его диссертации на степень доктора, обе по истории литературы (французская о Леопарди, латинская о Поллионе), да и первая книга, посвященная эпохе революции, по своей теме была близка к первоначальным литературным интересам автора. Это его труд под заглавием „Ораторы революции“ <sup>1)</sup>. Этот труд и создал известность Олара. В начале последнего десятилетия прошлого века он издал специальное исследование о „культе Разума и о культе Верховного Существа“ во время французской революции <sup>2)</sup>. Затем из более крупных работ Олара следовали одна за другой книга о состоянии Франции в VIII и IX годах <sup>3)</sup>, упомянутая „Политическая история французской революции“ <sup>4)</sup>, небольшой томик о Тэве, как историке французской революции <sup>5)</sup>, об университетской монополии при Наполеоне I <sup>6)</sup>. Кроме того, перу Олара принадлежит часть VIII тома выходившей под редакцией Лависса и Рамбо „Histoire générale du IV<sup>e</sup> siècle à nos jours“, где еще об эпохе революции помещены статьи Шампюна, Рамбо, Фаре и др. <sup>7)</sup>.

Рядом с многочисленными статьями в „La Révolution Française“ поставим еще подписанные именем Олара в „La grande Encyclopédie“, издававшейся от 1885 до 1901 года. За последние годы своей деятельности он занялся в „La

<sup>1)</sup> A. Aulard. „Les orateurs de la révolution. 1882 и сл. Новые изд. L'éloquence parlementaire pendant la révolution française“. 1905—1907.

<sup>2)</sup> Le culte de la Raison et le culte de l'Être Suprême. 1892. См. статью Н. В. Водовозова в „Истор. Обзор“, т. VI.

<sup>3)</sup> Etat de la France en l'an VIII et l'an IX. — 1897.

<sup>4)</sup> О ней см. ниже, стр. 174 и сл.

<sup>5)</sup> Taine, historien de la révolution française. 1907. См. выше, стр. 69, прим.

<sup>6)</sup> Napoléon I et le monopole universitaire 1911.

<sup>7)</sup> Издано отдельно (кроме общего перевода всего) по русски.

Révolution Française“ историками французской революции <sup>1)</sup>, феодальным законодательством эпохи, французским патриотизмом того времени, причем последняя тема ему была введена войной 1914 года, и т. п.

Конкурентом Олара до известной степени явился безансонский профессор истории Альбер Матъез, который уже был нами назван выше (стр. 165), как редактор „Революционных Анналов“, параллельного с „Révolution Française“ периодического издания. В 1910 году он положил начало серии публикаций под общим заглавием „Библиотеки революционной истории“ <sup>2)</sup>, в которой уже в первые два года появилось четыре выпуска. Сам Матъез написал несколько солидных работ по эпохе, каковы „Les origines des cultes révolutionnaires (1904), Les conséquences religieuses de la journée du 10 août 1792 (1911). В начале XX века основывались еще целые коллекции относящихся к истории революции изданий, каковы „Bibliothèque d'histoire moderne“ (с 1904) под ред. П. Карона и (с 1911) П. Карона и Бремье, „L'Elite de la révolution“ (1908), где перепечатаются Робеспьер, Сен-Жюст, Марат, „Collection de textes sur l'histoire des institutions de la France moderne et contemporaine“ (с 1911) под ред. Камилла Блока (Bloch), „Mémoires et documents relatifs aux XVIII et XIX siècles“ в изд. Пикара (первыми публикациями была переписка супругов Роланов и мемуары Бриссо, 1909 и 1910 г.г.), „Bibliothèque d'histoire nationale“ Шаванова (с 1909).

В одно время с появлением „Политической истории французской революции“ вышел еще очень большой общий труд по той же истории, автором которого был крупный политический деятель, один из видных вождей социалистической партии в конце XIX и начале XX века, Жорес. Об этом труде, озаглавленном „Histoire socialiste“ речь еще впереди, здесь же отметим только, что в нем было обращено особое внимание на экономическую сторону революции, бывшую вообще наименее разработанной, и что инициативе автора этого труда историческая наука обязана началом издания еще одной большой коллекции исторических источников.

<sup>1)</sup> См. в I части этой нашей книги, стр. 58 и сл.

<sup>2)</sup> Bibliothèque d'histoire révolutionnaire.

В „Revue de synthèse historique“ за 1905 и 1906 г. отдельными статьями печаталась вышедшая затем в виде целой книги работа Л. Буассонада об изучении экономической стороны революции французскими историками, содержащая массу библиографических указаний, не всегда, к сожалению, вполне точных, но зато проливающая свет на действительную отсталость экономической истории Франции в эпоху революции сравнительно с историей политической<sup>1)</sup>. Своею полнотою это библиографическое пособие, конечно, не может не быть признанным весьма полезным для всех работников в этом отделе историографии французской революции, поставленном на очередь, между прочим, трудом Жореса и особенно его инициативой в деле образования при Министерстве народного просвещения особой Комиссии по изданию документов, касающихся экономической истории французской революции<sup>2)</sup>.

Председателем этой Комиссии сделался Жорес, но это было лишь почетною должностью, более же реально заведование всем предприятием перешло в руки постоянной подкомиссии под председательством все того же Олара, который проявил большую опытность в деле издания архивного материала. Начало этого нового учреждения относится к 1903 г., и в 1906 году вышли в свет первые томы грандиозного „Собрания неизданных документов по экономической истории французской революции“. В каждом из департаментов, на которые разделена Франция в административном отношении, с их местными архивами было учреждено по особому комитету, производящему архивные разведки, вырабатывающему проекты изданий и на местах же печатающему документы. В 1910 году деятельность этой организации была расширена обязанностью издавать документы, относящиеся к территориям, которые прежде входили в состав Франции, т. е., конечно, Эльзаса и Лотарингии, а в 1911 г. то же было решено и по отношению к колониям. В 1906 г. Комиссия стала издавать еще свой „Bulletin trimestriel“, кроме которого и некоторые департаментские комитеты обяза-

<sup>1)</sup> P. Boissonnade. Les études relatives à l'histoire économique de la révolution française (1789—1804). 1906. См. об этом мою статью в „Известиях Сиб. Политехн. Института“ за 1907.

<sup>2)</sup> Ее несколько длинное название; Commission chargée de rechercher et de publier les documents relatifs à l'histoire économique de la révolution.

велись своими местными бюллетенями, увеличившими собою другие провинциальные исторические издания<sup>1)</sup>.

Как пошла работа у этой организации, можно видеть из того, что, издав в 1906 году два первых тома, в первое уже пятилетие затем (1907—1911) она выпустила еще тридцать шесть томов, большая часть которых занята наказами 1789 г., главным образом, деревенскими. Таких томов с наказами было издано двадцать, относящихся к 13 департаментам. Есть еще томы с документами комитетов земледелия и торговли, по борьбе с нищенством, по распродаже национальных имуществ (семь томов для четырех департаментов) и т. п.<sup>2)</sup>. Вне этой коллекции появилось еще несколько изданий Комиссии большею частью в виде отдельных оттисков из ее „Бюллетеня“. Некоторые местные Комитеты, независимо от общей „Бюллетеня“ начали публиковать свои сборники документов и отдельно. Документы печатаются с более или менее обширными введениями и с примечаниями, но, к сожалению, не по одному какому-либо общему плану, что касается одинаково и содержания введений, и характера примечаний, не говоря уже о тех порядках, в каких расположены, наприм., указы, о большей или меньшей подробности указателей или о снабжении только немногих томов географическими картами. Во всяком случае, однако, печатный материал по экономической истории французской революции, начал увеличиваться с поразительною быстротою.

Одною из интересных подробностей разработки экономической и социальной истории французской революции было деятельное участие в ней русских ученых, некоторые труды которых, давшие повод говорить о „русской школе“ появились во французских переводах или, по крайней мере, в подробных изложениях<sup>3)</sup>. Наиболее общими французскими работами в этой области являются, кроме указанной выше книги Стурма о финансах, „История рабочих классов и промышленности во Франции с 1789 по 1870 год“ Левассёра<sup>4)</sup>,

<sup>1)</sup> См. P. Caron. Manuel pratique pour l'étude de la révolution française (1912), стр. 41—44.

<sup>2)</sup> Ibid. 9—12. См. мот отчеты в „Беглых заметках по эконом. ист. Франции в эпоху революции“ (1913—1915).

<sup>3)</sup> Об этом в III т. настоящего труда.

<sup>4)</sup> E. Levasseur. Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France de 1789 à 1870.

появившаяся еще в 1859 году и переизданная в 1903 и 1904 г.г. (два тома), и „Гражданское законодательство французской революции“ Ф. Саньяка<sup>1)</sup>.

Из более специальных вопросов французских историков в этой области занимали распродажа национальных имуществ<sup>2)</sup> и разложение цехового строя при развитии крупной промышленности<sup>3)</sup>. Менее было ими обращено внимание на вопросы о состоянии крестьянской собственности перед революцией, об отмене феодальных прав, о положении рабочих и о рабочем законодательстве, по которым, наоборот, особенно много работали русские ученые, по признанию самих французских историков<sup>4)</sup>. В заключение этой главы скажем несколько слов о специальных словарях, посвященных истории французской революции.

Первая идея об издании словаря французской революции принадлежала еще Тьеру в 1825 году<sup>5)</sup>, но тогда она не была осуществлена. Позднее вышли в свет два словаря, оба двухтомные и оба без даты, один Десамбр-Алоннье<sup>6)</sup>, охватывающий 1789—1799 г.г., другой Робинэ, Робера и Лешапелена<sup>7)</sup>, относящийся и к наполеоновскому периоду. В 1893 году появился словарь Бурсена и Шалламеля<sup>8)</sup>, в одном томе in-4°, заключающий в себе 935 страниц. В состав его статей вошли относящиеся и к старому режиму, и к эпохе консульства. В словаре Бурсена и Шал-

<sup>1)</sup> Ph. Sagnac. La législation civile de la révolution française (1789—1804), Essai d'histoire sociale. 1898.

<sup>2)</sup> A. Marion. La vente des biens nationaux pendant la révolution française. 1908. Много изданий документов.

<sup>3)</sup> См. мою брошюру „Что сделано в исторической науке по вопросу о положении рабочих во Франции перед 1789 г.“ (Изв. Политехн. Института. 1911).

<sup>4)</sup> См. две мои статьи, вышедшие в свет и отдельными отпечатками: „Работы русских ученых по истории французской революции“ (Изв. Политехн. Ин-та 1904) и „Эпоха франц. револ. в трудах русских ученых за последние десять лет“ (Ист. Обозрение. 1912 и о том же мои статьи в „La Rév. Franç.“, за 1902 г. и в „Bulletin de la société d'histoire moderne“ за 1912 г., в сокращенном виде повторяющие содержание указанных работ.

<sup>5)</sup> V. Bonnet. Projet d'un dictionnaire de la révolution (La Rév. Franç. 1915).

<sup>6)</sup> Décembre-Alonnier. Dictionnaire de la révolution française. In-4°.

<sup>7)</sup> Dr. Robinet, A. Robert et J. Lechaplain, Dictionnaire historique et biographique de la Révolution et de l'Empire. In-8°.

<sup>8)</sup> E. Boursin et Augustin Challamel. Dictionnaire de la révolution française. Institutions, hommes et faits.

ламеля много недостатков <sup>1)</sup>, одним из которых является полное отсутствие библиографических указаний относительно предметов, о которых говорится в отдельных статьях.

## ГЛАВА X.

### Истории революции Олара и Жореса.

В самые первые годы текущего столетия историография революции обогатилась двумя большими общими трудами, принадлежащими — один профессиональному ученому, парижскому профессору Олару, о котором только-что шла у нас речь, другой — более политическому деятелю, чем специалисту-историку, Жоресу.

### О л а р.

„Политическая история французской революции“ Олара с подзаголовком „Происхождение и развитие демократии и республики“ представляет собою большой том, текст которого, кроме предисловия, алфавитного указателя собственных имен и очень подробного оглавления, занимает около 780 страниц. Из них на дореволюционное время и на эпоху Учредительного Собрания отведено около 170 страниц, на период Законодательного Собрания — около 40 и на время консульства — около 80, так что самая большая часть книги, без малого в пятьсот страниц, отведена на историю от падения монархии до государственного переворота 1799 года. Другими словами, изложение истории конституционной монархии и консульства, на которые приходится более восьми лет, гораздо короче изложения истории республики в первые семь лет ее существования. Значит, центр тяжести всего труда находится именно в этом периоде. В последнее время демократической республики изложено также много подробнее (около 330 страниц) сравнительно с временем респу-

<sup>1)</sup> П. Н. Ардашев. Новое пособие по истории французской революции (Историческое обозрение, т. V).

блики буржуазной (около 170 страниц), хотя демократическая республика продолжалась меньше, чем буржуазная. Это распределение вполне объясняется подзаголовком всего труда Олара, как „истории идей и учреждений демократических и республиканских“.

Именно, так определяет Олар и свой общий замысел, говоря, что цель его — „показать, как принципы Декларации прав от 1789 по 1804 год применялись на практике в учреждениях или истолковывались в речах, в прессе, в поведении партий, в различных проявлениях общественного мнения<sup>1)</sup>“.

Два из этих принципов чаще всего упоминались в разработке нового политического строя: один — равенство прав, другой народное верховенство. „С исторической точки зрения, говорит Олар, это самые существенные принципы революции“. Далее он указывает на то, что логическим выводом из первого принципа является демократия, из второго — республика (стр. 5). Но как-то, читая эти строки, недоумеваешь, почему Олар в изложении принципов революции не упомянул о принципе свободы и притом не в смысле только участия народа во власти, т. е. свободы политической, но и в смысле свободы отдельной личности или индивидуальной.

Поставив себе такую задачу, Олар говорит еще, что его целью является рассмотрение того, как в разные эпохи различно понимались и применялись два указанные принципа, потому что оба вывода из этих двух принципов были сделаны не сразу, да и применять их потом пришлось во время войны внешней, почти со всей Европой, и внутренней, с врагами нового строя, — применять с „лихорадочной поспешностью, импровизируя, впадая в противоречия, совершая насилия и обнаруживая слабость“ (VI). „Нужно было, замечает еще он, в одно и то же время законодательствовать рационально для будущего, для мира, и эмпирически для настоящего, для войны. Эти два намерения смешивались в умах и в действительности. Не было ни единства плана, ни последовательности в методе, ни логической связи между разными переделками политического здания“. При таком ходе революции, совершенно правильно замечает автор, „тем труд-

<sup>1)</sup> A. Aulard. Histoire politique de la révolution française. Origines et développement de la démocratie et de la république. 1901.

нее историку иметь самому план и метод в выборе черт, которые должны составить изображение столь изменчивой и сложной действительности. Однако, продолжает он, мы яснее видим, нежели современники, действовавшие впопыхах, не зная еще исхода вещей, развития драмы и (как и сами мы теперь, конечно) считавшие важными факты без особого значения и незначительными также, которые оказывали большое влияние". Отсюда делается тот вывод, что наибольшего освещения заслуживают факты, влиявшие наиболее очевидным и непосредственным образом на политическую эволюцию" (VII). Автор перечисляет здесь политические учреждения с движением идей, их подготовлявших, устанавливавших и изменявших, политические партии с их стремлениями и расприами, разные течения общественного мнения, выборы, плебисциты, борьбу между старым и новым и т. п. Влияние других фактов, каковы сражения, действия дипломатии, финансовые акты, он называет менее прямыми: игнорировать их, конечно, он считает невозможным, но в то же время совершенно достаточным знать их в общем и в их результатах. Поэтому он оставил в стороне военную, дипломатическую и финансовую историю, не боясь, что его упрекнут в абстрактности, и прибавляя, что нет вообще такой книги, которой было бы вполне довольно для читателя: „моя книга, говорит он, как и другие, предполагает и требует чтения" (VIII). Любопытно, что в своем перечислении разных историй он пропускает экономическую.

Указанною стороною труд Олара отличается от всех главных историй революции, в которых война, дипломатия, финансы столь же занимали авторов, как и внутренняя политика. Мало того, состояние экономической и социальной истории он находит до такой степени неудовлетворительным, что кто за нее теперь взялся бы в ее целом, не достиг бы ничего, кроме поверхностного общего обзора, а на что-либо большее не хватало бы целой человеческой жизни (IX). Политическая история в этом отношении находится в более счастливом положении: лет в двадцать возможно одному человеку прочесть законы революции, влиятельные газеты, переписки, прения, речи, протоколы выборов, биографии лиц, игравших роль. О себе Олар говорит, что он приступил к такой работе в 1879 году для изучения ораторов револю-



ции и потом, в течение пятнадцати лет, для своего курса в Сорбонне изучал учреждения, партии, жизнеописания крупных деятелей. „Если, прибавляет он, форма моей книги смахивает на импровизацию, мои исследования были медленными и в целом, я думаю, полными. Мне не кажется, чтобы я пропустил какой-нибудь важный источник или высказал какое-либо мнение, которое не было бы прямо извлечено из источников“ (X). И Олар перечисляет главные категории источников, лежащих в основу его труда. Это все источники документальные; мемуарами, как произведениями, не заслуживающими большого доверия, он пользуется только в исключительных случаях и скорее с целью подтверждения, нежели опорочивания других свидетельств (XI).

Одна из особенностей труда Олара заключается еще в том, что, держась вообще хронологического порядка, для периодов республики демократической, буржуазной и плебисцитарной, как у него называется эпоха консульства, он рассматривает отдельно учреждения, борьбу партий и перемены общественного мнения, т. е. не так, как в действительности было, потому что в ней все это было смешано, хотя, где необходимо, он и отмечает взаимодействия этих сторон общественной жизни. Олар все-таки старается, по собственным его словам, показывать, что различные стороны революции являются обособленными только в его книге, а не в действительности: для этого он не стесняется повторять одно и то же в новой связи (IX).

Заключительные строки предисловия содержат в себе такое заявление: „что касается до состояния ума, в каком я писал эту книгу, то скажу только, что в меру своих сил я хотел делать работу историка, а не защищать какой-нибудь тезис. Я хотел бы думать, что на мой труд можно смотреть, как на пример применения исторического метода к изучению эпохи, искаженной страстью и легендой“ (XII)... Самое изложение начинается с указания на то, что „10 августа Законодательное Собрание, устанавливая всеобщее избирательное право, превратило Францию в демократическое государство, а 22 сентября того же года, устанавливая республику, Национальный Конвент придал этой демократии ту форму правления, которая ей, повидимому, наиболее приличествовала“ (I). Все предшествовавшее время интересует Олара

преимущественно с точки зрения подготовки страны к превращению ее в демократическую республику. Он приводит ряд доказательств того общего положения, что „демократия и республика отнюдь не вышли совсем организованными из философии XVIII века, из книг энциклопедистов, из доктрины предшественников революции“ (2 и сл.). Нация была настроена монархически, республиканской партии еще не существовало.

Мало того, чем революционнее кто был настроен в 1789 году, тем более он был монархистом, потому что в королевской власти видели орган, объединявший нацию, и историческое орудие для осуществления реформ (6), причем народная масса думала только об устранении дурных агентов власти, не касаясь ее существа, тогда как образованные французы желали ограничения этой произвольной и капризной власти, дабы она больше уж не была опасною для свободы, с оставлением за нею, однако, достаточной силы для того, чтобы она могла сокрушить аристократию и остатки феодализма (7). Однако, политические писатели XVIII века приучили понимать монархию по-республикански (8 и сл.). Олар называет это „республиканизацией умов“ (13). Между тем, сама монархия в это время ослабела... отчасти от оппозиции парламентов, которые, вовсе, не будучи враждебны королевской власти, мешали ей реформировать старый порядок, сделавшись даже своего рода школой республиканизма, хотя бы и аристократического. За парламентами в их оппозиции шли образованные классы, часть дворянства, буржуазия, городское население. „Все эти бунтовщики, говорит Олар, хотят сохранить королевскую власть и все в своей слепоте наносят ей смертельные удары. Эти французы, все монархисты, республиканизируются без своего ведома“ (14—19). Оказывали на них большое влияние Англия со своей конституционной, представительной, ограниченной монархией, но особенно Америка, сделавшаяся настоящей модой. „Во Франции, замечает автор, не забудут, что в Америке были декларации прав, национальные конвенты, комитеты общественного спасения, комитеты общей безопасности. Часть политического словаря нашей революции будет американской“. В частности, виргинская декларация прав народа 1 июня 1776 года есть

почти будущая декларация французских прав (19—21). С другой стороны, однако, самые зараженные американизмом люди, хорошо видели различие между обеими странами (22). Особенно никому в голову не приходило разделить Францию на отдельные союзные республики: национальный и унитарный характер революции был намечен заранее (23).

Желая республиканской монархии, о которой говорил Мабли, образованные французы думали вместе с тем, что народ слишком невежествен, чтобы в полном составе мог быть призван к политической жизни (24). Было как бы две Франции, одна образованных, другая необразованных, одна богатых, другая бедных, причем первая была преисполнена жалости ко второй, но эта жалость была презрительной и без намерения сделать крестьян действительно равными с собою. „Нация, это—Франция образованная или богатая: общественное мнение, это—мнение образованной или богатой Франции. Между обеими Франциями была как-бы пропасть. О всеобщем избирательном праве никто и не помышлял: ни Мабли, ни Руссо, ни Бондорсе, ни Тюрго, да и в Америке его не было. Деление граждан на активных и пассивных уже давно существовало в умах, прежде чем его ввела конституция 1791 года. Суверенным народом была только часть народа—буржуазия (26—27), хотя в самые глухие деревни проникали идеи, прямое понимание которых значило, что все равны и что власть принадлежит всем (28). Следовательно, перед 1789 годом во Франции не было республиканской демократической партии, да и в первое время революции ее не было.

Таково содержание первой главы в книге Олара. Уже из нее можно видеть, как построен его исторический труд. Автор не говорит о причинах революции, ограничиваясь сообщением о политическом настроении образованного общества и имея в виду не только буржуазию, но и часть дворянства. Упомянув о писателях XVIII века, он не излагает их теорий, а только касается их монархической ориентации и отсутствия у них настоящего демократизма. Наконец, у Олара нет и рассмотрения того, что первые историки революции называли ее прелиминариями, за исключением парламентской оппозиции и американизма. В том же духе написана и вся книга. Олар, действительно, строго выбирает факты,

подлежащие включению в политическую историю революции, как движения в конце концов демократического и республиканского. Поэтому и сами первые три года революции интересуют его преимущественно, как время, когда без ведома тогдашних французов и вопреки их желаниям, события завлекли их на дорогу, которая вела к демократии и к республике. „Мы, поясняет Олар, и будем говорить, как вступили на этот путь, думая, что идут совсем по другой дороге; мы набросаем картину обстоятельств, среди которых произошла организация монархии и буржуазии“ (29).

Указав в первой главе, что во Франции буржуазия и народ были разделены как-бы глубоким рвом, и что эти два класса один другого не знали и не понимали, Олар без дальнейших оеолечностей говорит: „чтобы это взаимное непонимание (*malentendu*) рассеялось, нужно будет их собеседование (*colloque*), так сказать, встреча (*mise en présence*) буржуазии со всем народом“, что и „приводит к созыву Генеральных Штатов“ (29). Таким образом, самый этот созыв берется Оларом не с точки зрения причин, его вызвавших, а с точки зрения того результата, который отсюда вышел. При выборах была введена чуть не всеобщая подача голосов. Оговариваясь, что никаких текстов на этот счет нет, Олар, как нечто не невероятное, допускает существование у власти „смугной идеи апеллировать ко всеобщему голосованию против буржуазной оппозиции, апеллировать к невежеству против просвещенности“. Если, прибавляет он, такой расчет был, то события его не оправдали (30). Во время выборов и составления наказов между буржуазией и народом возникло сотрудничество: „встреча была братской, и они поладили очень скоро“, причем „часть буржуазии отказалась от своего взгляда на народную массу, как на неспособную по своему невежеству пользоваться политическими правами“ (31). Имея ввиду только одну сторону дела, историк здесь преувеличивает братский характер встречи и общее согласие: известно, что по части социальных вопросов в наказах был разброд мнений и гребований. Умный король, продолжает Олар, вроде Генриха IV, пошел бы сам навстречу новому духу, но двор завлек Людовика XVI в союз со старым порядком (32). Официально король принял программу мирного и упорядоченного переворота, который, будучи своевременно про-

изведен, не позволил бы произойти насильственной и рискованной (*hasardeuse*) революции, но в действительности у него не было никакого мнения, никакой программы, ни инициативы, ни настоящей власти, а его советчики, т. е. семья и двор, сами не знали, чего хотели, и шли на авось. И вот вместо того, чтобы в заседании 5 мая взять в свои руки управление умami и событиями, король говорит не о своих преобразовательных обещаниях, а о своей власти (33).

У Олара, в сущности, нет сплошного, последовательного рассказа. Он не повествует, а объясняет, коротко останавливаясь на прагматических фактах, имея в виду постоянно будущее основание республики. Упомянув, что 17 июня третье сословие объявило себя Национальным Собранием, он тотчас же прибавляет: „так как мы рассказываем о происхождении республики, нужно хорошо помнить о бессознательно республиканском способе, каким это Собрание совершило акт верховной власти во имя нации“. Вместо того, чтобы принять и освятить в свою пользу совершившийся акт, король поступил в противоположном смысле. Так, говорит Олар, был запечатлен „неожиданный и, если можно так выразиться, антиисторический союз между королем и дворянством“ (34).

Конечно, во всем изложенном нет ничего нового.

Привести, однако, это было необходимо, чтобы показать, как написана книга Олара. Это, повторяем, не подробный рассказ, не повествование, а рассуждение о ходе революции: дело не в событиях, взятых во всей их конкретности, а в значения этих событий в общем ходе революции, направлявшем притом ее к демократической республике, когда никто об этом еще не думал. Например, Олар заявляет, что он не будет говорить о „революции в муниципальной форме“, прокатившейся по всей Франции после 14 июля, и отметит только значение этого капитального факта среди других, подготовивших во Франции наступление демократии и республики. Как интересную черту, он только отмечает, что везде население кричало виваты королю, думая разрушить только феодальный и министерский деспотизм (37). Это муниципальное движение и позволило Собранию говорить и действовать уверенно. В комитетах розысков и докладов Олар усматривает уже как-бы начальные очертания комитетов обще-

ственного спасения и общей безопасности, и даже, говорит он, намечается будущий революционный суд в виде проекта суда по делам „оскорблении нации“ (lèse-nation, 38). Суверенитет фактически перешел из рук короля в руки нации, и во Франции установился „республиканский порядок вещей, не тридцать тысяч независимых республик, не анархий, но тридцать тысяч общин, объединенных в одну нацию под реальным суверенитетом французского народа, т. е. нечто вроде образовавшейся унитарной республики, в которой у короля оставалась только номинальная власть“. Собрание, освятив этот порядок вещей декретами 4 и 11 августа и Декларацией прав, потом, по формулировке Олара, изменило его в консервативном или скорее реакционном смысле посредством организации монархии и превращения буржуазии в политически привилегированный класс (39).

Несколько подробнее останавливается Олар на Декларации, как на „самом замечательном, по его пониманию, факте, в истории образования демократических и республиканских идей“ (39 — 48), причем говорит о ее выработке, содержании, значении в дальнейшем ходе революции. Как и везде, изложение здесь очень сжатое, но основные выводы излагаются рельефно. В Декларации нет ни малейшего даже намека на королевскую власть, и все в ней антимонархично (43). Только в замше свободы совести веротерпимостью можно видеть в Декларации отступление от ее основных принципов (44 — 45). Само признание равноправия шло в разрез с цензовым голосованием, которое собирались установить (45). Попутно Олар защищает людей 1792 и 1793 года от обвинения в ренегатстве по отношению к принципам 1789 года. „Да, соглашается он, они кратковременно нарушили свободу печати, индивидуальную свободу, гарантии легального и нормального правосудия. Они это делали, потому что революция была в войне с Европой; они это делали против старого порядка в пользу нового; они это делали для спасения существенных принципов Декларации. Но вот чего не говорят: что они первые применили эти существенные принципы, равенство прав, верховенство нации, устанавливая всеобщую подачу голосов, и республику, организуя и приводя в действие демократию, которая во внешней политике осуществила королевскую мечту присоединением левого берега

Рейна, а внутри провозгласила свободу совести, отделила церковь от государства, сделала попытку управляться разумно и справедливо<sup>4</sup>. Эти строки очень характерны, объясняя почему, говоря в самом начале своей книги о принципах революции, Олар опустил индивидуальную свободу<sup>1)</sup>. И как это можно говорить, что управлять разумно и справедливо, когда нарушалась индивидуальная свобода и гарантии правосудия, и причем в этом вопрос левый берег Рейна? Итак, продолжает Олар, люди 1792 и 1793 г.г. не были ренегатами, а скорее так можно было назвать людей 1789 г., которые, провозгласив равноправие, разделяли граждан на активных и пассивных и тем заменили старые привилегированные сословия новым привилегированным классом, буржуазией. Впрочем, Олар находит более правильным говорить не о ренегатах, а о добрых французах, которые старались делать все к лучшему при разных обстоятельствах и в разные моменты (46).

Интересны еще соображения Олара об экономических и социальных следствиях Декларации, соображения, как он сам говорит, историка, а не человека партии. „Эти следствия, которые позднее назовут социализмом, оставались прироченными (voilées) более долгое время, нежели следствия политические, да и теперь еще только меньшинство французов разодрало этот покров, тогда как большинство, наоборот, старается его прикрепить и сделать более плотным, с чувствами религиозного почтения и страха“. Олар прибавляет, что тогда еще не делали выводов из Декларации, касавшихся собственности во всем объеме вопроса, и вся совокупность французов была удовлетворена разрушением феодальной собственности, отменой права старших детей, продажей национальных имуществ, менее несправедливым устройством и распределением собственности. Самые вопиющие страдания большинства были облегчены, а страдать продолжало только меньшинство, городские рабочие, которые потом и восставали. Главное, что хотел здесь доказать Олар, это — неправильность противопоставления социализма принципам 1789 года, объясняемая смешением Декларации с монархической конституцией 1791. Во всяком случае, для Олара демократическая и социальная республика уже находится

<sup>1)</sup> См. выше, стр. 175.

в Декларации прав, представляющей в некоторых отношениях программу будущего даже не для одного только теперешнего поколения (46 — 48). Тогда же, во время революции, социализм, называвшийся у людей конца XVIII века „аграрным законом“, никем не поддерживался, а если кем-либо формулировался, то не оказывал влияния, не будучи принят никакою группю. Это было столь мало популярное учение, что самые консервативные писатели не брали на себя задачи критиковать или разносить анафемами такое учение (50). В 1789 году не было еще ни социалистов, ни республиканцев (50 — 53).

Рассматривая конституцию 1791 года, Олар подчеркивает ее республиканские элементы, но более всего настаивает на ее буржуазном характере: нация в ней — только новый привилегированный класс; абсолютное veto короля было отвергнуто в антидемократических видах (55), как и вообще власть короля ограничивалась в интересах буржуазии (56); вся муниципальная жизнь была отдана в руки коллегий, выбиравшихся из более зажиточных граждан цензовым же голосованием (59) и т. п. После 5 — 6 октября Собрание стало особенно бояться народа и в своей работе над конституцией держаться „качельной политики“ (*politique de bascule*), то против короля, то против народа (59). Но именно само это появление народа на сцене произвело раскол среди людей революции, что и проявилось в сложных и шумных прениях по вопросу об избирательном цензе. Этот факт Олар называет малоизвестным и потому находит необходимым особенно его выяснить, посвятив вопросу несколько страниц (61 — 70) очень сжатого изложения, и становится он как на вопросе об отношении общественного мнения к разделению граждан на активных и пассивных (70 — 75). Протесты были редки, а о тех, которые были, газеты мало говорили. Вообще декреты о цензе были приняты с покорностью и добросовестно применялись (78), на оппозиционные же статьи одною из которых была написанная Маратом, большого внимания не обратили (79). Во всяком случае, однако, на почве вопроса о цензе зарождалось демократическое течение (80). Олар, отмечая этот факт, подчеркивает, что оно началось не в крестьянской и не в рабочей среде, а среди буржуазии (81). Если, говорит он, передовая часть послед-



ней стала на такую точку зрения и тем снискала популярность, то это служит свидетельством начавшейся демократизации Франции (83). Демократический дух проявился и в местных федерациях.

Олар, далее, очень тщательно следит за тем, как образовалась демократическая партия и родилась партия республиканская, собрав при этом факты, относящиеся к первым проявлениям как того, что он называет тогдашним социализмом, так и феминизма (81 — 97). Самый термин буржуазия в современном значении слова ведет свое начало с 1791 года (18). На ярком демократизме Робеспьера в это время и создавалась его громкая репутация (99 — 100). Автор считает, что серьезно демократическая партия выросла в июнь 1791 года, но она была еще в незначительном меньшинстве, даже в Париже, а в ней самой республиканцы составляли лишь очень маленькую группу. Для него, однако, важно, что вопрос о монархии или республике был уже поставлен (105), причем он отмечает, что республиканизм делал успехи преимущественно среди образованных демократов (108), но, так сказать, официальные вожди демократической партии, в том числе Робеспьер и Марат к нему сначала не примыкали (109). В массах республиканизм не имел никакого успеха, пока она верила в короля (112), пока король не обнаружил себя попыткой бежать.

Признавая эту попытку самым решающим фактом в истории революции, Олар по этому поводу касается личного характера Людовика XVI. По его мнению, психология гораздо более замечательных людей, например, Мирабо или Робеспьера, не необходима для понимания хода революции, тогда как, наоборот, очень важно знать личный характер Людовика XVI. По его убеждению, все факты доказывают, что образование республиканской партии было прямым следствием поведения короля. Олар не считает Людовика XVI глупым, по его умственные способности не соответствовали его задаче, а потому он и „не понял, что с новой системой и народным правом он мог бы быть столь же могущественным, столь же славным королем, все-таки настоящим королем, как было при старой системе и при божественном праве... Он не сумел быть королем революции, жил изо дня в день, говоря да, говоря нет, сменяя по тому, насколько советник данного момента был догучлив и настойчив“

(114—115). Прочным и неизменным в нем было только религиозное чувство (116). Бегство Людовика XVI Олар считает одним из тех редких событий, которые волновали всю Францию, всем были известны и всеми чувствовались. К ним он причисляет еще взятие Бастилии, „отечество в опасности“ и войну, казнь Людовика XVI, установление или, вернее, деятельность революционных комитетов. Он не уверен, знали ли все французы такие дни, как 10 августа, 31 мая, 9 термидора, 18 фрюктидора и 18 брюмера (118). Фактически, говорит Олар, со дня бегства короля до принятия им конституции, т. е. в течение почти трех месяцев Франция была республикою. Во всяком случае, за это время республиканизм сделал особенно большие успехи (119 и сл.), что испугало членов Национального Собрания (121), но в самом Собрании никто не стал на республиканскую точку зрения (122), да и бывшие наиболее популярными официальные вожди демократической партии не становились на сторону республики (123). Против республиканцев были одипаково и Собрание, и якобинский клуб. Только часть демократической прессы высказалась за республику, и требование диктатора Маратом осталось одиноким (127—128). Республиканская агитация велась клубом кордельеров и разными другими патриотическими обществами, но ни одна парижская секция еще, повидному, не присоединилась (129—131). Рабочие, с своей стороны, совсем не интересовались вопросом (132). При таком общественном настроении республиканцам пришлось ретироваться, но как компромисс, вождями демократической партии был принят план суда над Людовиком XVI без отмены королевской власти (133—134). История республиканского движения в Париже и в провинциях освещена у Олара очень ясно (135—146). Однако, несмотря на то, что везде более или менее происходили республиканские манифестации, большинство французов в 1791 году боялось республики, как чего-то анархического и федералистического, но зато к демократии Франция не чувствовала такого отвращения. Олар везде различает оба эти движения — демократическое и республиканское, отмечая, что Учредительное Собрание боялось обоих (146). Он особенно систематически следит за деятельностью разных патриотических обществ и кружков, бывших центрами

республиканизма (94 — 98, 129, 131, 139, 140, 146, 147), вместе с клубом кордельеров, пропагандировали идею народного референдума по вопросу о судьбе короля, что привело к печальной катастрофе 17 июля 1791 года, в которой Олар видит удар, нанесенный буржуазией в одно и то же время и республиканцам, и демократам (146 — 152).

Этот акт гражданской войны, классовой войны, как Олар называет бойню на Марсовом поле, повлек за собою раскол людей 1789 года на две партии, из которых каждая именовала себя патриотами, но которые мы, говорит Олар, можем назвать буржуазной и демократической партиями, ибо их разделял вопрос об организации национального верховенства. Разделение было везде: в Собрании, в якобинском клубе, во всех коммунах Франции, — разделение, которое прямо или косвенно оказало влияние на весь XIX век. „Буржуазия воспользовалась своей победой, чтобы подвергнуть преследованию своих противников и чтобы еще более увеличить свою политическую привилегию“ (161 — 162). Происшедшую после этого реакцию историк называет маленьким террором или буржуазным террором (165). Республиканцы вынуждены были ступеяться (166), а в Париже и во всей стране произошло даже оживление роялизма, как-будто нигде не было республиканцев (174 — 175). В Законодательное Собрание проскользнуло несколько демократов, но они отказались от немедленного осуществления своей программы (177 — 180, 184 и сл.). Как-то неловко, говорит Олар, доказывать, что большинство в новом собрании не было ни демократическим, ни республиканским, но он считает нужным на это указать, в виду распространенности противоположного мнения (182 и сл.). Мало того: демократы Собрания, были ли они республиканцами или нет, в конце 1791 и в начале 1792 г. не отказывались от нового опыта не только с монархией, но и с цензовым режимом. Сближала буржуазию и народ общая опасность со стороны бывших привилегированных (184 — 185). Важнейшим моментом в истории республиканской партии Олар признаёт дату объявления войны, ибо, во-первых, война приведет эту партию к власти, во-вторых, республика погибнет оттого, что сама установилась в условиях войны, противоречившей ее, республики, собственному принципу и, в третьих, приведет к военной диктатуре, след-

ствия которой давали себя знать вплоть до начала XX века (187). Олар внимательно следит за республиканскими манифестациями первых месяцев 1792 года и за газетною полемикой по вопросу о республике, особенно выставив вперед тот факт, что против республики высказались самый знаменитый журналист (gazetier) Камилл Демулен, и самый популярный и важный из демократов Робеспьер, объявивший ее контр-революционной затеей (187—192). Вот почему, думает Олар, событие 20 июня 1792 года, бывшее чисто народною попыткою только напугать короля и заставить его вступить на правильный путь, совершенно не было республиканскою манифестацией (192—195). Прямая цель достигнута не была, и все значение факта заключалось в появлении на сцене пролетариата, не того „сердитого и бунтовщического“, какой был в октябре 1789 года, но спокойного, сильного, радующегося своей силе, способного организоваться. В буржуазии, напуганной этим движением, и в части Франции снова произошло усиление роялистического настроения (195), а Собрание прямо желало защищать трон (196), хотя в то же время, в виду войны и недоверия к королю, еще более стремилось лишить его реальной силы (197). „Это антиреспубликанское Собрание, говорит Олар, лишало королевскую власть уважения и при случае управляло само, как будто уже была республика“ (198). Историк имеет в виду разные принятые Собранием меры против королевской власти, которую само же оно хотело сохранить, как купол конституционного здания, и под которую само же вынуждено было подкапываться в интересах национальной обороны. С тою же целью и под давлением тех же обстоятельств оно подрывало цензовой строй, обещав наградить защитников отечества правом активного гражданства (199—200). „Так, заключает Олар, это монархическое и буржуазное собрание, вынужденное потребностями национальной обороны, подготовило падение монархии и буржуазии и облегчило успех восстания 10 августа, принесшего с собою демократию и республику“ (200).

Революцию 10 августа Олар называет скорее патриотическою, чем республиканскою, обозначает, как национальную, поскольку в ней участвовали и даже взяли на себя инициативу департаментские федераты, отмечает еще, как комму-

нальную, потому что если в департаментских администрациях преобладали умеренные элементы более зажиточной буржуазии, то в муниципалитетах преобладал демократический дух, развитию которого содействовали местные якобинские клубы, сами демократизировавшиеся (200—201). На основании архивных источников историк указывает, в каких частях Франции господствовало более монархическое, в каких более республиканское настроение: хотя бы слово „республика“ нигде еще не было произносимо, а уже заходила речь о созыве Конвента для установления новой конституции. При этом для Олара ясно, что дело было не в философской пропаганде, а в поведении короля, отвращавшем многих от монархии (201—203). Особенно выделяет он марсельское движение, как направлявшееся прямо к республике (204—205), но он указывает и на массу других мест, где требовали, то низложения короля, то временного отрешения его от власти, регенства и т. п. (206). Это коммунальное движение против Людовика XVI проявилось не только на словах, в адресах, но и на деле, в посылке в Париж федератов, которых собралось в нем около трех тысяч с довольно различными намерениями, но одинаково враждебными к королю (207—209). Робеспьер не давал им совета требовать низложения Людовика, а только говорил неопределенно о какой-то перемене в положении короля, тогда как Дантон, может быть, уже тогда тайно связанный с республиканизмом, очень прозрачно намекал, что федераты не должны оставлять город, пока не будет покончено с королем (209—210). Олар, имея в руках кое-какие источники, оставшиеся раньше неиспользованными, рассказывает, как подготавливалось восстание 10 августа (211—221) в деятельности федератов и секций, в клубах и в прессе, особо говоря о поведении Законодательного Собрания, пытавшегося убедить короля в необходимости переменить свое поведение. Самый переворот 10 августа не сделался предметом рассказа, как, по словам автора (223), не представляющий прямого интереса для политической истории французской революции, что, впрочем, можно сказать об отношении автора и к другим эпизодам. Олар, мы видели, не рассказывает событий революции, а объясняет ее общий ход. В истории 10 августа его интересует еще вопрос: почему Собрание ограничилось отре-

пением Людовика XVI от власти, а не низложило его? Ответ он дает такой: принятая мера была менее радикальной, менее республиканской, да и не думало Собрание об отмене монархии. Оно и не предполагало сделать короля узником. Последнее состоялось по решению новой революционной Парижской Коммуны. Инициатива дальнейшего была в руках Коммуны и секций Парижа (225—226).

Смотря на времена обоих первых собраний революционной Франции, не как на эпохи, так сказать, с самодовлеющим историческим содержанием, а как на подготовку демократической республики, Олар только после перехода Франции в последней начинает более подробно рассматривать то, что происходило в стране. Здесь он, как было уже сказано<sup>1)</sup>, оставляет прежний хронологический порядок изложения и рассматривает отдельно эволюцию политических идей, историю учреждений, политические партии и религиозную политику от установления республики до 9 термидора, чтобы потом короче коснуться всего этого и в последний год Конвента.

То, что называют парижской диктатурой после 10 августа 1792 г., Олар сводит лишь к участию Парижской Коммуны в действиях Исполнительного Совета (228), но сам отмечает, что именно Коммуна начала с отмены свободы печати (231—232). Если установление республики не встретило нигде сопротивления, то, по объяснению автора, дело заключалось вовсе не в республиканской пропаганде, которая и не могла быть особенно широкой, и не в фактически республиканском интериме, наступившем после 10 августа, а в том, что король оказался изменником и что ипостравцы напали на Францию, чтобы восстановить старый порядок (233—234). Законодательное Собрание примкнуло к перевороту, поскольку дело было в низложении Людовика, но не думало жертвовать монархией, отмены которой потребовала Коммуна (235—236). Только когда „патриотизм парижан“ принял бредовый характер“ (*devint délirant*) во время сентябрьских убийств. Собрание стало на республиканскую точку зрения отчасти под некоторым „давлением трибун, Коммуны, улицы“, но и вследствие внутренней перемены в убеждениях под влиянием событий (237). Наоборот, население Парижа сразу не

<sup>1)</sup> См. выше, стр. 177.

прониклось ненавистью к королевской власти, хотя и колебалось высказаться за республику, бывшую непопулярною в народной массе. Лишь после манифестации собрания выборщиков и якобинцев, 12 августа, население столицы, как и сама Коммуна, заговорило прямо о республике (238 — 240). Особенно интересны у Олара выдержки из газетной прессы за август и за сентябрь, в которой тоже не было произнесено слова республика, даже Маратом, попрежнему требовавшим диктатуры.

Особенно важно то, что Олар говорит о парижских выборах в Конвент. На них историки привыкли смотреть, как на эпизод борьбы между жирондистами и монтаньярами, между умеренными и крайними (*avancés*), но это неверно: двух резко разграниченных партий с девизами, которые были сделаны популярными в исторических трудах, еще не было. Правда, говорили о партии Робеспьера и о партии Бриссо, „но, замечает Олар, граница между обоими лагерями была неясна, неуловима, и были постоянные уходы и приходы из одного в другой, обмена идеями и лицами, так что современники видели происходившую ссору, но не понимали, из-за чего люди ссорятся“. Вопрос был не в форме правления, а в том, нужна ли та, своего рода, диктатура, которую взяли в свои руки Париж и Коммуна. Олар в результатах парижских выборов видит не столько победу Горы над Жирондой, сколько просто резко выраженную победу республиканской идеи. Кроме настроения парижского населения, он рассматривает, как республиканизм лишь постепенно овладел якобинским клубом, но, к сожалению, он считает невозможным сделать то же самое по отношению к официальной Франции за недостатком источников и малочисленностью хороших местных историй<sup>1)</sup>. Всеобщность республиканского настроения, о которой говорят некоторые современники, по словам Олара, характеризует их желания, а не действительность.

Протоколы выборов в Конвент дали Олару кое-какой материал для суждения о том, как выборы происходили, и для того вывода, что Конвент представлял собою Францию, как никакое другое собрание до 1848 года (243 — 245).

<sup>1)</sup> Я не делал здесь ссылок на страницы, потому что в первом издании, которым пользовался, перепутаны страницы: за 240 следует опять 233 и т. д.

Между тем выборы не дали им ни одного роялиста, а если такие потом оказались, то это были роялизовавшиеся впоследствии, но опять-таки нигде, кроме Парижа, не было произнесено слово республика (245—250). Роялисты, конечно, были, но, они молчали, не смели заявлять о своем роялизме (251). По вопросу о кандидатуре герцога Орлеанского в короли Олар находит ее мало вероятной у Дантона, но очень возможной у Марата, хотя документально ничего неизвестно (251—253), а Олар везде хочет основывать свои заключения на критически проверенных документах. Общий вывод в этой части труда тот, что Франция только с колебаниями и медленно переходила от отрицательной идеи об отмене королевской власти к положительной идее об установлении республики, но что наиболее смелые люди, заявлявшие себя республиканцами, мечтали именно о республике демократической (255) со всеобщей подачей голосов, с правом отзыва представителей, даже с правом первичных собраний санкционировать законы, в особенности же конституцию (247—258).

Что касается до социальных взглядов наиболее передовых демократов, то, указав, на безвозмездную отмену феодализма 25 августа (259), Олар отмечает, что первая же попытка того, что он называет „социалистической пропагандой“, встречена была в населении и в прессе, как нечто недопустимое (260—262). Общим мнением в октябре 1792 года было, чтобы распределение собственности оставалось прежним (252). Кроме того, в это время очень распространенным было желание видеть во Франции полное национальное единство (263—265). Было, равным образом, сильно желание, чтобы Франция продолжала революционную пропаганду за границей (265—267).

Как Учредительное Собрание, находит Олар, пошло гораздо дальше, чем того требовали указы 1789 года, так и Конвент превысил те мандаты, неопределенные и противоречивые, какие были даны его членам (269). Историк еще раз, однако, подчеркивает, что Конвент не сразу решился объявить Францию республикой, которой уже кричались виваты народом на улицах города (272), и обращает еще внимание на отсутствие в заседании Конвента энтузиазма и даже аплодисментов, равно как и на то, что не было торжественного провозглашения республики подобного тем, какие были в 1848



и в 1870 годах. „Ограничивались констатированием, да и то непрямым образом, что раз королевская власть была отменена, значит, пришла республика. Словно, прибавляет Олар, французская республика была введена в историю украдкою, и Конвент как будто говорил нации: иначе нельзя ничего было сделать. Дело в том, что слово республика казалось многим французам двусмысленным, тревожным, и Конвент боялся, что нация его плохо поймет. Единственная существовавшая в то время республика, Соединенные Штаты Северной Америки, была федеративной, а ведь Франции пужно было единство. Вот почему Конвент не замедлил успокоить умы объявлением „единства и нераздельности французской республики“, что принято было рукоплесканиями (274). Богатый архивный материал, бывший в распоряжении Олара, дает ему право заявить, что декрет о введении республики нигде не был встречен колебанием и что во многих местах его приветствовали, о чем и были посланы адреса в Конвент (275 — 277). Приветствовали этот декрет и армии (278).

В чем же Конвент превисил свои права? Еще 21 сентября он объявил, что не может быть конституции без принятия народом, а между тем, без обращения к народу отменил королевскую власть, потом установил сам республику, объявив ее единство и нераздельность, в середине же октября отклонил предложение подвергнуть республику народному голосованию (280). Олар рассказывает историю выработки конституции 1793 года, — с каковою выработкою не торопились (280 и сл.), — подчеркивая такие черты первоначального проекта, как референдум, называвшийся „цензурою народа над актами национального представительства“ (285). Этот проект принадлежавший Кондорсе, Олар находит „столь демократическим, что якобинцы не высказали никакого определенного против него возражения: они отнеслись к нему враждебно только потому, что он исходит от их противников, жирондистов“ (286). При обсуждении проекта Олар не находит большой разницы во мнениях обеих партий. Из того, что один монтаньяр включал в конституцию упоминание о Верховном Существо, а один жирондист был против этого, отнюдь не следует, будто одна партия хотела республики мистической, а другая — рационалистической, или позитивной, а если

Робеспьер, с другой стороны, предлагал социалистические статьи о собственности для новой Декларации прав, то и это не значит, чтобы вся Гора этого хотела, ибо при окончательном вотировании Декларации, уже после падения Жиронды, робеспьеровские статьи не были приняты. Только по внешности, говорит Олар, могло казаться, что между жирондистами и монтаньярами шел спор о собственности: обе партии, кроме нескольких индивидуальных исключений, были согласны (289 — 291); на этом пункте наш историк особенно настаивает (292 — 294), указывая далее, что предметами политического разногласия были вопросы об особом положении Парижа (294) и о сроке изготовления конституции (295). Жирондисты были против исключительной роли Парижа и за скорейшее окончание конституции, монтаньяры в обоих вопросах были обратного мнения. Но после падения Жиронды Конвент сам убедился, что для примирения департаментов нужна конституция (296 — 299). Сравнивая жирондистскую и якобинскую редакции Декларации прав, Олар говорит, что в существе дела обе представляют собою одно и то же с некоторым только изменением формы, чтобы придать второй редакции более демократический вид (305). В вопросе о собственности монтаньярская формулировка отнюдь не „социалистичнее“ жирондистской. И только ссылки первой на общее счастье, как на цель общества, и на обязанность доставлять труд безработным, могли бы быть приняты в расчет, но теория „общего счастья“ и „права на труд“ разделилась еще и людьми 1789 года. Наконец, если свобода культов не попала в жирондистскую конституцию веледствие соображений опасности от такой свободы для революции, то ведь и монтаньяры стояли первоначально на той же точке зрения. Конституция 1793 года, говорит Олар, была демократична не потому, что ее создали монтаньяры: напротив, принятый ими текст был „менее смело демократичен“, нежели жирондистский проект (306). Даже можно сказать, что монтаньяры меньше доверяли здравому смыслу народа. Вышло, однако, так, по верному замечанию историка, что монтаньяры прослыли более горячими друзьями народа, гораздо большими демократами, чем жирондисты. Объяснение этого он находит в том, что последние „вели войну департаментов против Парижа“, а это повлекло за собой обвинение в федерализме,

и что жирондисты казались союзниками роялистов и умеренных антидемократов во время июньского и июльского восстания 1793 года (307).

Олар указывает еще на то, что для удовлетворения обеих сторон, т. е. Парижа и департаментов составители конституции 1793 года включили кое-что в угоду вторым, и что это создало ей повсеместно хороший прием в первичных собраниях (308—312).

Рассмотрев конституцию 1793 года, Олар переходит к организации революционного правительства, установленного 10 октября 1793 года, но фактически начавшегося с 10 августа (314—315). В сущности, это была своего рода временная конституция, подробности которой находились ощупью и применительно к ненормальным условиям, превратившим Францию в военный лагерь. Она была приспособлена к положению дел и удерживалась, даже еще более развивалась, до того момента, когда внешние победы не сделали ее бесполезной (315). Мы находим далее очень подробное систематическое изложение этой организации (316—348), причем речь в отдельности идет о временном исполнительном совете и исполнительных комиссиях, о самом Конвенте, о комитетах общей безопасности, общей обороны, общественного спасения, о конвентских комиссарах, о персонале этих учреждений, о их деятельности, о возникавших между ними трениях. Ближе всего к населению стояла власть комиссаров, среди которых попадались разного рода люди. Такие люди, как Каррье, по представлению Олара, были исключениями, хотя он и признаёт, что второстепенные агенты, которым комиссары передоверяли дела, нередко делались „местными тиранчиками“ (345). Он находит обычное представление о комиссарах, как трепещущих и жестоких рабах комитета общественного спасения, как пугал народа,— неверным и даже утверждает, что „народ их любил, звал их, приветствовал, как спасителей, и не только крестьяне или рабочие, но и буржуазия, смотревшая на них, как на защитников от революционных комитетов и других местных тираний, во первых, однако, ссылаясь здесь на их собственные донесения, а во вторых, упоминая о случаях превышения ими своей власти (345—347). Во всяком случае, в этом учреждении Олар видит начало будущей централизации с префектами во главе

департаментов (348). Рядом с этими командированными на места представителями народа действовали народные общества и революционные комитеты отдельных местностей (349 — 355), но уже об этих комитетах Олар говорит, как об учреждениях, злоупотреблявших своими полномочиями, особенно по отношению к личной свободе, действовавших несправедливо и тиранически в опьянении своею властью и иногда скрывавших в своем составе контр-революционеров, которые сажали в тюрьмы; иногда бывали при этом и убийства, и грабежи. Впрочем, Олар просит не обобщать все это в одну картину во вкусе Тэна (354) и вспоминает заслуги революционных комитетов в борьбе с контр-революцией. Своими произвольными действиями, прибавляет он, они „принесли вред республиканской идее, оставив по себе дурную память в современниках. Они лишили революцию популярности в потомстве и, если спасали революцию в свое время, то компрометировали ее в будущем“ (355).

Несколько страниц посвящает Олар и террору, который, говорит он, привыкли считать политической системой в демократической республике. Но, возражает он, в создании революционного правительства не было ничего систематического (357). Системы террора не было, по его словам, но был режим террора, заключавшийся в приостановке действия принципов 1789 года, в обращении революцией против своих врагов тех насильственных средств старого порядка, которые эти враги употребляли против нее. Слово террор сделалось ходячим именно в это время (358), причем, по выражению Олара, „официальный террор“ был иногда больше на словах, чем на деле, был террором только показным, между прочим, для Европы, дабы она видела, на что она вынуждает революционное правительство (359). Часть террористических мер рассмотрена у Олара при описании действия учреждений, здесь же он специально говорит только о прекращении общественных свобод, свободы печати и личной неприкосновенности (359 — 362). Что касается революционного суда, ставшего, по признанию этого у самого же историка, орудием честолюбия и личной мстительности, „исторически, говорит он, можно сказать, что этот суд делал и добро, и зло и что судить о нем нужно не огулом, а по эпохам и по действиям. Наихудшим временем был период робеспьер-

ровского закона 22 прериаля, когда началась казая-то „бойня (boucherie) виновных и невинных, достойная старого порядка, достойная инвизации“ (363).

Общий вывод Олара о революционном правительстве такой, что при нем „не было никакой свободы“, но что и системы в нем не было никакой и что оно было полною противоположностью с мечтами нации, с ее идеалами. Террористы оправдывались тем, что все это — временные меры, но многое казалось им могущим войти, как нечто прочное, в будущее общество, так что иногда трудно отличить, к какой категории должна была относиться та или другая мера. Люди несогласны были и по вопросу, когда же нужно покончить с террором. Дантон и его друзья уже думали начать переход к нормальному порядку, но были сломлены (366 — 368).

О „мнениях и партиях“ Олар написал три главы, занимающие около ста страниц (369 — 465) и рассматривающие: 1) роялизм до 9 термидора, 2) жирондистов, монтаньяров и дантонистов и 3) время победы Горы. Роялизм, как абсолютистский, так и конституционный вызывали против себя борьбу со стороны республиканской партии, которая сама делилась на партии не столько по своим принципам, сколько по вопросам о стратегических и тактических методах борьбы с контр-революцией (369). Что касается роялизма, то Олар приводит ряд доказательств его слабости даже среди крестьянской массы и после „убиения“ Людовика XVI (375). Восстания в Вандее и в других местах были вовсе не за короля, а например, за духовенство, против военной службы, против парижской диктатуры и т. п., роялисты же только пользовались этим для своих целей, достигая иногда „роялизации“ инсургентов (376 — 378). Но Олар отмечает и такие случаи, как требование крестьянами короля, потому что при короле можно было ходить в обедне (382). Впрочем, в общем роялизм уже потому не был популярен, что связан был с возвращением старого порядка, которого громадное большинство французов не желало.

Переходя к республиканским партиям, Олар отмечает тот факт, что жирондистами эту партию называли более историки, чем современники, у которых они обозначались, как бриссотинцы, бордосцы (bordelais), роляндисты, бюзотинцы, „государственные люди“ (кличка, данная Маратом) и пр.

(387—388). Возникши еще в Законодательном Собрании, Жиронда явилась в Конвенте уже совершенно сформировавшейся партией, которая в борьбе с Горою попыталась улучшить свою организацию, хотя и стала отрециваться от названия партии, считавшегося в эту эпоху зазорным (389—390). Олар говорит подробно о личном составе партии и даже устанавливает список ее членов и департаментов, их пославших в Конвент. „Не легко, говорит он, узнать, какими принципами, какими существенными идеями жирондисты отличались от монтаньяров. Читая их речи, их памфлеты, их газеты, не замечаешь почти и никакого различия в культуре и в идеале“ (395). Олар определяет их религиозное мировоззрение, как деизм (395—397), политическое — как республиканизм и демократизм (397—398). Монтаньяры, тоже все буржуа, обвиняли жирондистов в нелюбви к народу, но, в сущности, в своих идеях жирондисты были такими же демократами, как их противники, и только в манерах, столь у них изысканных, отличались от более грубых монтаньяров. Олар не соглашается и с тем, что жирондисты отличались милосердием, а монтаньяры — кровожадностью, приводя веские аргументы (398—401). Он снимает с жирондистов обвинение в федерализме (401—402), единственной же чертой различия считает, что монтаньяры хотели видеть Париж, временно, пока идет война, во главе французского единства, как направляющую столицу, жирондисты же даже во время войны отвергали парижскую супрематию, и эта ненависть к Парижу была притом у жирондистов только с некоторого времени и даже по личным мотивам, но были и жирондисты, не разделявшие такого чувства (402—403). Олар дает также характеристику наиболее видных жирондистов (404—418).

Хотя Жиронда была несколько неопределенной, колеблющейся партией, но в мае 1793 года она была уже почти объединенной. Последнего нельзя сказать о Горе. Это название сделалось популярным только в июне 1793 года, во время борьбы против федерализма, когда образовалась коалиция в пользу Парижа и парижской диктатуры, равно как и якобинского клуба (413). У этой коалиции не было определенных элементов, не было признанной программы, по крайней мере, до падения Жиронды, но была рамка — яко-

бинский клуб. Названия монпаньяров и якобинцев сделались синонимами. Это жирондисты приписали монпаньярам партийную организацию и программу, притом с самыми небывальными пунктами от всеобщего уравнения до восстановления монархии (414). Олар рассказывает о борьбе между обеими сторонами по поводу сентябрьских убийств (415 — 417) и т. п. Из вождей монпаньяров он останавливается на Марате, при жизни бывшем популярным только в Париже, на Робеспьере, самовлюбленной общепартизанской знаменитости, на Дантоне, великом оппортунисте в благоприятном значении слова, преемнике Мирабо и даже предшественнике Гамбетты. Марат и Робеспьер препятствовали тому внутреннему примирению, которое могло бы изменить судьбу Франции (423) и за которое стоял Дантон (424 — 425).

Охарактеризовав обе партии, Олар возвращается к более обстоятельному рассмотрению борьбы между ними (426 и сл.) из-за Парижа, из-за процесса короля, из-за отношения к требованию закона о максимуме и пр. Восстание Парижа против Жиронды представляется Олару результатом народного мнения, что причина всех бед в раздоре двух конвентских партий и что нужно восстановить единство в центре устранением той партии, которая наименее способна к управлению (439), — объяснение, кажущееся несколько искусственным.

После падения Жиронды республиканизм во всей Франции сделался монпаньярским. Кое-где кричали виваты „святой Горе“ (447); республиканское чувство приобрело характер религиозный; республика сделалась своего рода религией, у которой были и мученики, и святые (448). Но Гора не была единой, в ней были несходные группы, среди которых Олар различает и социалистическую (449 — 460), постоянно отмечая или вообще буржуазность всего Конвента (452), или просто несогласие его с разными требованиями социального характера (456). Если где и принимались социалистические меры, то лишь в виду чрезвычайных экономических и политических обстоятельств, а не в силу теории. Процессы эбертистов и дантонистов дали повод Олару высказаться о той пародии на правосудие, какою в сущности были оба (463 и 465), и отметить, что расправой с эбертистами монпаньярское правительство не только сломало ту самую Коммуну, против которой Жиронда восстала преждевременно, но и превратило

эту Коммуну лишь в одно из орудий центрального правительства (463 — 464).

В особой главе рассматривается религиозная политика Конвента. Демократическая республика должна была прийти к отделению церкви от государства, говорит автор, но на первых порах было сохранено гражданское устройство духовенства, ибо самая идея отделения была странна для людей того времени. Конвент и стал на точку зрения сохранения существовавших отношений, постоянно давая знать, что вовсе не имеет намерения разрушить католическую веру (466 — 467). Закон против неприсяжных священников Олар называет ужасным (468), но под его действия были подведены и присяжные, заподозренные в иницвизме, под которым разумеется и жирондизм. В конце концов, заподозрено было все духовенство, и церковь стала казаться монпаньярской республике сообщницею ее внешних и внутренних врагов. Мысль об отмене культа родилась не от философия, а на почве заботы о национальной обороне (469). В этой главе рассказывается и история попытки дехристианизировать Францию, история культов Разума и Верховного Существа, о чем у Олара, как было уже сказано (стр. 169), есть специальное исследование. В целом, по убеждению автора, это движение было депотическим, отнюдь не материалистическим и атеистическим (472). Что касается правительства, то оно, говорит Олар, насколько могло противилось насильственному низвержению католической веры и среди всех этих смут стремилось поддерживать свободу культов, боясь внутренних осложнений, которые были бы вредны для национальной обороны, и избегал скандализировать революцию в глазах Европы (473). Для Робеспьера дехристианизаторы были просто подкупленными агентами иностранных правительств (474). Комитет общественного спасения стоял за свободу культов и сдерживал тех из конвентских комиссаров, которые занимались дехристианизацией своих областей (447 и сл.). С другой стороны, и народ брался за оружие против закрывавца церквей, происходившего, впрочем, далеко не повсеместно (479). В виду того, что священники пользовались религиозными собраниями для политических целей, борьба против католицизма продолжалась и после издания декрета о свободе культов и даже особенно обострилась во время робеспьеровского культа Вер-



ховного Существа (480 — 481). Указывая на противодействие дехристианизаторам со стороны народной массы, Олар даже выражает удивление, как не вспыхнула в это время повсеместная жакерия, и думает это объяснить тем, что за все это время не было ни одного момента, когда сразу везде церкви были закрыты (485). Последнее обстоятельство он признаёт „исторически важным“, как доказательство фактической невозможности упразднения католицизма (486), не раз повторяя, что в дехристианизации не было, собственно говоря, философского фанатизма. Поведение духовенства, как папистского, так и непапистского, раздражало воинствующих демократов, которые и отмицали низвержением алтарей ради спасения отечества, как ради того же правительства пытались поддерживать эти алтари и покровительствовать католикам. На робеспьеровский культ Верховного Существа Олар правильно смотрит, как на государственную религию, отмечая, что революционный суд часто рассматривает атеизм, как преступление против нации (487). Якобинцы, „бывшие больше робеспьеристами, нежели мистиками“, применяли к первому культу, но не особенно охотно, не желая стать религиозной сектой (488). На культ Верховного Существа принято смотреть, как на реакцию против культа Разума; для тогдашних французов это было одно и то же: под тем и другим, которыми хотели заменить католицизм или которые хотели надстроить над католицизмом, скрывался культ отечества. Как только внешняя опасность для отечества с победой при Флерюсе прекратилась, исчезли как культ Верховного Существа, так и его первосвященник, Робеспьер (493).

В начавшихся победах французов на войне Олар видит главную причину переворота 9 термидора, т. е. и падения Робеспьера, и того протеста против террора, который характеризует данное время (496 и сл.). Этому перевороту в книге отведена маленькая глава в шесть страниц, но о последствиях его Олар говорит очень много. Как происходило образование революционного правительства „медленно, по кускам (pièce à pièce), без плана, без метода, по случаю тех или других событий“, совершенно таким же образом происходила и его дезорганизация в зависимости от тех или других успехов. Этот процесс тянулся до самого конца Конвента. Олар

считает неверным название этого периода термидорианской реакцией (501). Настоящая реакция, говорит он, это—та, которая имеет целью препятствовать свободной мысли, она началась, когда революционный суд стал казнить за религиозные мнения, и Робеспьер ввел свою государственную религию. После термидора мало-по-малу прекратилась религиозная реакция, настало время некоторой свободы мысли, введен был либеральный режим отделения церкви от государства, организовано было народное образование. Это было „большим прогрессом“, а если рядом существовала „частная реакция“, то больше против известных лиц, а не против идей революции, кроме одной, торжество которой совпало по времени с робеспьеристской диктатурой. Олар думает, что демократический режим был устранен конституцией III года, может быть, скорее по неприязни к террористам, нежели из-за каких-либо теоретических соображений. Это яко-бы реакция (*prétendue réaction*) была, по его определению, частным осуществлением философских идей XVIII века. В намерения термидорианцев, продолжает он, не входило разрушать революционное правительство (502), и если оно вычеркнуло слово террор из своих актов, то на деле само терроризовало демократическую оппозицию, как прежде это делалось по отношению к роялистам и федералистам. „Красному террору пришел на смену террор белый“ (503). Далее подробно рассматривается предпринятая термидорианцами реорганизация всех учреждений, созданных предыдущей эпохой (504 — 514), — реорганизация, сводившаяся на раздробление органов центральной власти, на децентрализацию управления страной и сопровождавшаяся уничтожением народных обществ с якобинским клубом во главе и сильным ограничением власти революционных комитетов (514 — 516). Революция после этого утратила свой муниципальный характер, какой получила после 14 июля 1789 года. Парижская Коммуна исчезла: город перешел в заведывание самого правительства (517). Диктатура Парижа не проявлялась потом до 1830 года (518). Общий характер конвентского законодательства после 9 термидора был антидемократический (518, 520, 522).

О мнениях, партиях и религиозной политике, которым до 9 термидора было посвящено четыре главы, для эпохи

после 9 термидора говорится более коротко, в одной небольшой главе. Здесь Олар следит за борьбою правых и левых термидорианцев (523 и сл.), называвших своих противников, одни — кровопийцами, другие — роялистами, хотя ни первые не думали о возобновлении террора, ни вторые — о восстановлении монархии. Одни хотели сохранить демократическую республику, другие склонялись к буржуазной, среди же вернувшихся жирондистов лишь некоторые сделались роялистами. Официальным лозунгом Конвента в 1795 году, говорит Олар, сделалась война против террористов и роялистов, но особенно репрессия была направлена против террористов (526). Началась и реакция среди парижан. Олар приписывает победу Конвента над народным восстанием прерияля поддержке со стороны роялистов, которые, по его мнению, стали играть большую роль в секциях (527—528). Указав на случаи белого террора, он замечает, что последний не может, как красный, быть извиненным ссылкой на патриотическое отчаяние. Роялисты белым террором могли мстить, но были бессильны отвять Францию у республики, защитившей отечество, заключившей мир с Пруссией, увеличившей территорию Франции (530), тем более, что роялисты отождествляли королевскую власть со старым режимом. В движении 13 вандемьера с его „антимонтаньярской“, модерантистской программой“ Олар усматривает участие роялистов, но не останавливается на подробном анализе этого движения, вскрывающем, что назвать прямо это движение роялистическим нельзя<sup>1)</sup>. Важно, впрочем, и то что Олар не находит в этом движении никакой роялистической манифестации (531—532).

Религиозная политика после 9 термидора сводится для Олара к отделению церкви от государства, которое произошло в форме декрета, объявлявшего, что республика не оплачивает никаких культов, причем мера была внушена более всего чисто финансовыми соображениями (534). Дехристианизация местами, однако, продолжалась (535), хотя гораздо более сильным оказалось движение религиозное (536), вследствие чего декрет 3 вентоза III года, дававший католицизму

<sup>1)</sup> См. мою брошюру „Борьба парижских секций против декретов 5 и 13 фрюктидора“, указанную выше в прим. на стр. 104.

некоторую свободу, встречен был, подчеркивает Олар, взрывом энтузиазма (537 — 538).

Политика терпимости прямо диктовалась желанием Конвента сделать республику популярной (540). Но во Франции образовались два клера — папистский, бывший сильным особенно в деревнях, и галликанский, имевший поддержку преимущественно в буржуазии, в городском населении (541). Само духовенство обоих направлений относилось к республике различно: бывшие присяжные священники примирились теперь с республикой (542).

Мы упоминали не раз, что Олар в революции видит два движения: демократическое и республиканское, которые могли не совпадать и на самом деле не всегда совпадали. Демократический период республики окончился вместе с Конвентом, и введение конституции III года открывает собою период республики буржуазной. Олар вкратце передает, как готовилась конституция III года (543 и сл.). Выработка ее в буржуазном духе могла начаться только после подавления преринальского восстания, когда парижские предместья были обезоружены и нечего было больше бояться народных вспышек (548 — 549). У Конвента главным аргументом против всеобщего избирательного права было недавнее прошлое: в защиту демократии в Конвенте поднялось только три голоса (550 — 551). „Когда, говорит Олар, декрет, исключавший бедных из права выбирать, был принят, не было протестов ни со стороны прессы, ни среди рабочего населения предместий, ни в остатках народных обществ, ни от какой бы то ни было корпорации“ (552). Конституция III года изложена очень подробно с указаниями на то, какие статьи были внушены опытом, как, например, требование грамотности от избирателей в виду прошлой „тирании безграмотных санюлютов“ (556), или разделение законодательного корпуса на две палаты (556). Декларацию прав III года Олар называет более, сравнительно с самой первой (1789 — 1791), либеральной в статьях о религиозной свободе и о свободе прессы, но менее демократичной вследствие исключения слов: „люди рождаются и остаются свободными и равными в правах“, дабы нельзя было требовать всеобщего избирательного права (569 — 570). Настаивая на том, что конституция III года основывалась на дорогом обошедшемся опыте, Олар

заявляет, что ее составители и не думали, и не хотели создать нечто реакционное, не руководились какой-либо настоящей реакционной идеей (571). Эти яко-бы реакционеры (*réacteurs prétendus*) считали нужным отменить господство черни (*populace*) для блага самого же народа, уничтожив всеобщее избирательное право, которое привело бы к царству королей и священников или террористов. „Их ретроспективные взгляды были, говорит Олар, близорукими и ложными. А чем кончит после четырех лет господства эта столь благоразумная, столь влюбленная в идеал буржуазия? Она продаст Францию Бонапарту. Буржуазная республика, в которой народ посредством плебисцита отрывается от своих прав в пользу одного класса, будет только предисловием к республике плебисцитарной, в которой народ отречется от своих прав в пользу одного человека“ (572). О выборах в новый Законодательный Корпус Олар говорит, как об антиякобинских, антианархических, антитеррористических (578).

В политике буржуазной республики Олар находит наиболее характерным некоторое сочетание противоположных принципов, которые были уже и в последнее время Конвента, комбиниовавшего конституционное и революционное правление (573). Когда Франции снова грозило нашествие, а в стране происходили все еще местные восстания, на время как-бы возрождался террор, но потом замечался какой-то полутеррор, полуреволюционное состояние. „Строго применяют конституцию и издают законы, временно отменяющие известные ее принципы, например, вызывавшиеся обстоятельствами законы против эмигрантов, священников, журналистов. Однако, есть общая тенденция жить нормально. Хотя обстоятельства вызывают два-три государственных переворота, дух повиновения законам делает успехи в народе. Эти государственные перевороты, продолжает Олар, притом не были делом народа, вышедшего на улицу, но производились правительством или Законодательным Корпусом в виде законов, без битв между гражданами, почти без шума... Начинается царство бюрократии. Окончательно устанавливается административная централизация“ (580—581).

Указанную двойственность политики буржуазной республики автор видит, между прочим, в выборном законодательстве

эпохи. „Законы, говорит он, имели целью обеспечить свободу, искренность выборов. Но изданные для нормальных обстоятельств, они были на практике исправляемы другими законами, которые внушались ненормальными обстоятельствами гражданской и внешней войны, необходимостью эмпирической борьбы с силами прошлого, с клерикализмом и с роялизмом. Жертвы применения этих законов называли их террористическими, и действительно данные законы отмечают устойчивость революционного режима в конституционном, целью же их было препятствовать оппозиции одерживать победы на выборах“ (583—584). Выборы V года „были или скорее казались роялистическими“, говорит Олар, а в VI году „демагогическими, анархистскими, террористическими, якобинскими“, как тогда выражались, а это давало повод их кассировать или изменять (588—589), „изменять революционным способом“, прибавляет он в другом месте (591). Та же двойственность была и в административном строе: конституция в теории устанавливала децентрализацию, практика вводила централизацию, подготовив для Бонапарта кадры и привычки (595). Равным образом, если директора сначала думали, что должны управлять согласно с волею большинства Законодательного Корпуса и для искусственного создания такого большинства произвели перевороты 18 фрюктидора и 22 прернала, то после первого из этих переворотов власть директории получила диктаторский характер, и законы последующего времени только усиливали эту власть (604—605). Политические клубы и общества были запрещены, а относительная свобода печати существовала только до 18 фрюктидора: свободу печати считали теперь недопустимой, пока не кончилась революция и более всего боялись роялистической прессы. На этот счет Олар приводит много любопытных фактов, заключая их обзор словами: „было бы ошибкой думать, что с 14 термидора VII года до 18 брюмера VIII периодическая печать пользовалась свободой“ (608—621).

Мнения, партии и религиозную политику эпохи Олар рассматривает в двух главах, различая периоды до и после 18 фрюктидора, чтобы закончить часть своего труда, посвященную буржуазной республике, переворотом 18 брюмера.

По очень верному наблюдению историка, „последовательность разных гражданских присяг при директории довольно

хорошо характеризует смену обстоятельств и общественного духа... В IV году присяга требовала ненависти к королевской власти, в V году—кроме нее и к анархии (т. е. к демократической республике), в VII году последнего не требовалось. В начале директории это была антироялистическая реакция, начавшаяся после 13 вандемьера. Происходят потом заговор Бабефа и дело грепельского лагеря (в связи с этим заговором) и вызывают антидемократическое движение. Наконец во время военных неудач VII года, происходит возвращение к приемам террора“ (622—623). Но, продолжает Олар, надежда на эти присяги оказалась обманчивой: „оппозиция соглашается на всякие присяги, кончает тем, что видит в них просто формальности, ни к чему не обязывающие; стало несколько больше лицемерия в политических правах, несколько больше скептицизма; партии должны были перестать, но не прекращали существования и деятельности. Это переодевание, как ни было оно прозрачно для современников, только затемняет и спутывает ретроспективный взгляд на мнения партий. Даже для того, чтобы отличить роялистов от республиканцев, нужно вглядываться очень близко. Все французы между 1795 и 1799 годами называли себя республиканцами. Обозначая себя так, одни делают это по убеждению и будучи на самом деле республиканцами, другие страха ради, третьи из благоразумия и в силу патриотизма, потому что республика, как единственно тогда возможная форма правления, одна могла обеспечить независимость Франции и послужить препятствием для возвращения к старому порядку. Французы были почти единодушны в желании военных побед и мира и удержания революции“ (623). Если трудно отличить роялистов, еще труднее, говорит Олар, различать между республиканцами. Он думает, что роялистов и республиканцев более всего разделял вопрос религиозный, а самих республиканцев—вопрос политического и социального равенства: были республиканцы буржуазные и демократические, но границы между теми и другими были неясны. Притом происходил обмен людьми и идеями. Программы были неопределенны, слова—неискренни. В общем, однако, Олар устанавливает такое деление: республиканцы буржуазные, или директориальные, республиканцы демократические и роялисты (624). Далее

следует характеристика партий. Первые искренне любили конституцию III года, как основу, средство и форму политики „консервативной и либеральной“. Сами эти выражения входят в употребление в то именно время, как показывает наш историк. Последняя партия отличалась от последних позднейших консерваторов своим республиканизмом и антиклерикализмом (625). Она стояла у власти, но не могла обходиться своими собственными силами и, смотря по обстоятельствам, опиралась или на демократов, или на замаскированных роялистов, впрочем, на первых чаще, чем на вторых, потому что с демократами ее связывал антиклерикализм и что в случае надобности только через них можно было поднять народ против иностранных держав, на которые рассчитывали роялисты. „Те, говорится дальше, кого мы обозначаем, как республиканцев-демократов и кого тогда заклеямили прозвищами якобинцев, анархистов, террористов, были так неуверенны в своих желаниях, так мало чувствовали себя поддерживаемыми общественным мнением, что не решались объявить себя демократами, называться демократической партией“. Они называли себя „исключительно патриотами 89 года“, „патриотами по преимуществу“, потом „патриотами 92 года“, их противники называли их „исключительными“, и под этой кличкой „экслюзивов“ они слыли в полицейских допросах. Все видные вожди демократов погибли на эшафоте, и вероятно, партия в IV году не превышала одной тысячи человек. Они хотели воскресить общество якобинцев и основали два клуба, из которых наиболее важным был клуб Цантеона (627). В этой среде и составлялись заговоры, в число каковых относится и связанный с именем Бабёфа. В „заговоре равных“ Олар видит блок демократов с социалистами, первый опыт образования радикально-социалистической партии (628). Бабувизму он отводит несколько страниц (628—632), отмечая, между прочим, следующие факты: во первых, у Бабёфа совсем не было популярности Марата, да и мало кому он был известен; во вторых, рабочие за ним не пошли, а те, которые прислушивались к его речам, сочувствовали только его вражде к директории и предложению прибегнуть к террористическим средствам в продовольственном деле; в третьих, ни в обвинительном акте, ни в вопросах суда присяжным совсем не



было упомянуто о том, что было „социалистическим“ в учении Бабёфа (632). Дело Бабёфа и одна неудачная попытка демократов поднять восстание в гренельском лагере привели к реакции, которою воспользовались в своих целях роялисты (633). В общем эта партия пряталась и вела тайную пропаганду, имея два секретных агентства, одно военное, другое политическое (635—636).

Почти никто из предшественников Олар не разбирался с такою ясностью в вопросе о партиях в эпоху директории. Это замечание относится и к тому, что он говорит о выборах V года, изменивших состав Законодательного Корпуса в реакционном смысле. Выборы были оппозиционные, и среди новых депутатов были даже заведомые роялисты, что обострило борьбу партий, бросавших одна другой в лицо клички или роялистов, шуанов, или якобинцев, анархистов. Олар отказывается точно классифицировать лиц и программы, критикуя в этом отношении показания современников. Для него верно только одно, что новое большинство в законодательных советах было реакционным, но трудно и утверждать, и отрицать безусловно, что это большинство хотело восстановить какую бы то ни было монархию, абсолютную или ограниченную (637—641). Все-таки, в конце концов, те, кого звали роялистами и республиканцами, отличались между собою преимущественно в религиозном отношении.

Олар, как мы видели, придает вообще большое значение религиозным отношениям эпохи. Он отмечает, как общий факт эпохи директории, „обильный и разнообразный расцвет революционной, моральной и умственной жизни“. Директория, относясь крайне враждебно к католической церкви, прямо желая полного падения ее во Франции, покровительствовала разным новым культам, но более всего светскому рационализму (642—643). Между прочим, рядом с патриотическими праздниками (14 июля, 10 августа, 21 января, 1 вандемьера, 19 фрюктидора), были учреждены праздники философские (645). В частности, Олар останавливается на известной теофилантропии, из которой хотели-было сделать государственную религию (646—649). Схизматическому клиру тоже оказывалось покровительство (650—651), и, наоборот, подвергали политическим преследованиям священников-папистов, бывших агентами роялизма, хотя между папистами

были и оппортунисты, мечтавшие о конкордате (651—653). Самый переворот 18 фрюктидора объясняется у Олара, как вызванный преимущественно „клерикальной опасностью“ (654—661), что и заставляет его начать изложение истории следующего периода с рассмотрения политико-религиозных отношений. По поводу преследования директорией духовных Олар замечает, что это „была антиклерикальная диктатура, какой не пользовались комитеты Конвента“, при чем единственным ограничением произвола была статья специально изданного закона, запрещавшая принимать коллективные репрессивные меры: последние должны были применяться только к отдельным лицам (663). Мало того: после 18 фрюктидора „методически проводилось систематическое намерение заменить католицизм гражданской религией, или декадарным культом, о чем приведены важнейшие данные (666—674). В этом Олар видит даже главный предмет внутренней политики, понимая спор между „господином Диманшем и гражданином Декади“<sup>1)</sup>, по остроте того времени, как ссору между церковью и светским государством (669).

Олар рассказывает далее о неудачных роялистических попытках (674—678) и о взаимных отношениях обеих республиканских партий, совершивших сообща переворот 18 фрюктидора (678). Согласие их после переворота было непродолжительным. Ни у той, ни другой из этих партий не было, говорит Олар, сколько нибудь цельной программы, но своими преследованиями демократов директория содействовала некоторой их популярности, себя дискредитируя близостью к подозрительным дельцам и нечестным должностным лицам (679). Директориальные республиканцы выставляли демократов, как союзников роялистов, что было совершенной клеветой, замечает Олар (680). Публика плохо разбиралась в оттенках мнений, потому что для всех республиканцев главным был антиклерикализм, а все остальные вопросы — второстепенными (681). Среди парижских рабочих, материальное положение которых улучшилось, демократическая пропаганда не имела успеха (681—683), и демократам пришлось ограничиться влиянием в Законодательном Корпусе, оставив в покое улицу, когда новые выборы (VII года)

<sup>1)</sup> Т. е. воскресенье и последним днем декады, десяти-дневной недели.

увеличили их число в советах: тогда и произошел переворот 30 прериаля. Говоря об обвинениях директории в нечестности, Олар заявляет, что он и сам думал также, когда слишком доверял мемуарам: теперь он против чрезмерного обобщения, приписывающего всей директории грехи Барраса, а всей Франции — нравы нескольких нечестных постарщиков (684 — 685). Самое удаление из директории двух ее членов, происшедшее 30 прериаля, он даже отказывается называть *coup d'état*, ибо тут было только пущено в ход нравственное давление, совершенно притом легальное (686).

Эта внутренняя перемена с ухудшением внешнего положения Франции тотчас же вызвала возвращение к приемам времен террора. Как в 1792 и 1793 годах, почувствовалась необходимость в сильной и почти диктаторской централизации власти. Вернулись язык, вернулись привычки 1793 года. Опять вотировались террористические законы, среди которых один еще более революционный, еще более террористический закон о заложниках. Но особенно показательным (*éclatant*) и важным в этой „террористической реакции“ Олар считает воскресение якобинского клуба (686 — 687). Применяясь к терминологии своего времени, этих „нео-якобинцев“ он называет „радикалами-социалистами“, ибо они чтли память демократов и бабувистов. Клуб действовал только тридцать восемь дней, но прежде чем директория успела ее закрыть, он успел напугать буржуазию проповедью аграрного закона. Это кратковременное существование клуба имело, говорит Олар, очень важные исторические следствия, ибо подготовило буржуазию к принятию „спасителя гарантий против красного призрака“ (688 — 689).

В перевороте 18 брюмера Олар усматривает „косвенное и отдаленное, но видимое следствие“ объявления войны Законодательным Собранием. „Общественные нравы, говорит он, сложились так под покровом патриотизма, что позволили честолюбивому генералу сделаться диктатором“ (690). Под влиянием военных успехов произошла порча самого патриотизма, превращение его из гуманитарного в эгоистичный с заменю политикой принципов политикой интереса и славы, с появлением того, что мы теперь называем милитаризмом (691). Сама армия с превращением войны в наступительную стала увлекаться сначала пустым тщеславием (*gloriole*),

потом грабежом. В ней при обожании победоносных вождей развилось недоброжелательное отношение к гражданской власти, плохо ее одевавшей и кормившей. И вот раз уже армия совершила государственный переворот в пользу этой власти, почему было не сделать его для своих любимых генералов (692)? Нации, говорили, при ничтожности и бессвязности того, что делалось в законодательных советах, парламенский режим наскучил, но это неверно, тем более, что готовилась отмена некоторых террористических законов (695). Ничто не оправдывало переворота, на котором особенно настоял сам Бонапарт (696), но гренадеры, разогнавшие совет пятисот, думали, что спасали республику и вернулись в Париж, распевая „ça ira“ (700).

Мы видели, что разные авторы кончают историю революции на разных датах: на 9 термидора Мишле, на 18 брюмера большинство, на 1814—1815 году Мишье, Бюшез, Сорель, но Олар выбрал особый срок, именно 1804 год. Начиная последнюю часть своего труда, посвященную плебисцитарной республике, как он называет консульство, он оправдывает это тем соображением, что хотя 18 брюмера остановило развитие принципов 1789 года и открыло период общей реакции, на самом деле эта реакция не произошла вся сразу, а совершалась медленно, по частям. Краткий рассказ об этом Олар и считает необходимым в виде заключения (701). Во временном консульстве он еще видит простое продолжение политики директории и даже высказывает предположение, что Бонапарт мог тогда мечтать о славе Вашингтона и что его политика, столь с виду либеральная и примирительная, была искренней (704). Но уже самое конституцию VIII года Олар называет карикатурной (706), причем, так сказать, новым государственным переворотом она была введена в действие еще до окончания плебисцита (709). Республиканцы, подававшие за нее свои голоса, впрочем, думали, что „голосуют за революцию и республику против монархии и старого порядка“ (711). Мы не последуем за изложением у Олара истории плебисцитарной республики, разделенном на главы о десятилетнем консульстве, о религиозной политике и о пожизненном консульстве. Отметим только некоторые отдельные положения Олара, имеющие отношение к революции.

Олар указывает, например, что при временном консульстве печать пользовалась такою свободою, какой вообще не знала с июня 1793 года, но что уже с 27 нивоза III года начался деспотизм (714 — 715). Превращение хорошего деспота в дурного происходило медленнее, так что современники этого не замечали, но Бонапарт не особенно долго окружал себя „республиканской простотою“ (719). Далее, сначала он продолжал систему директории в политико-религиозных отношениях, только с большим беспристрастием настоящего нейтралитета (726 и сл.), пока не приступил к реставрации католицизма, результатом чего был конкордат, личное его дело с честолюбивыми планами впереди (734). Хотя своими плебисцитами Бонапарт и поддерживал формально демократический принцип, но на деле содействовал образованию буржуазного режима в смысле сообщения буржуазии не реально политической власти, а привилегии влияния и почета. „Плебисцитарная республика, говорит Олар, была в то же время и республикой буржуазной, кадры которой будут совсем готовыми для буржуазных монархий, следовавших одна за другой во Франции от 1814 до 1848 года“ (757 — 758 ср. 769). Укажем еще на страницы, где Олар говорит о республиканской оппозиции, демократической и военной, прибегавшей к конспирациям, но лишенной возможности пользоваться печатью для проведения своих взглядов (761 — 763), но здесь особенно он отмечает полное равнодушие рабочих к политике и к службе в национальной гвардии (761 — 764 — 765). Рабочие даже все поделались шовинистами, англофобами и большими поклонниками нового владыки. „Это столь покорное и столь полное отречение парижских рабочих в пользу одного, замечает Олар, сделало бессильными буржуазных республиканцев, оппозиция которых была только детской фрондой салонов. С этого момента начинается разрыв между либералами и народом: втечение многих лет демократия, всеобщее голосование будут казаться несовместимыми со свободою“ (767). Что касается до плебисцита об императорстве, Олар видит в нем плебисцит за революцию против Бурбонов, против старого порядка (776). Он думает даже, что если бы новая конституция еще действовала, то не было бы деспотизма, но в том-то и дело, что она бездействовала, по крайней мере, в своих либераль-

ных частях (777). „Не будет преувеличением сказать, заключает Олар, что эта конституция не применялась, поскольку сохраняла некоторые принципы и некоторые результаты революции“ (778).

Кончая свой труд, который, по собственным словам его автора, есть только résumé, Олар воздерживается от общего заключения, которое было бы логически необходимо, если бы он защищал какой-либо исторический тезис, развивал какую-либо мысль для доказательства истинности некоторого положения. Он отказывается также от „безрассудного педантизма“ вывести из рассказа о прошлом наставление для будущего. Он ограничивается только изложением нескольких мыслей, слишком общих для того, чтобы им могло найтись место в какой-либо момент рассказа и которые вытекают только из всей совокупности фактов. Первая — та, что революция не была произведена несколькими выдающимися лицами, героями. Даже допуская, что гениальному солдату удалось дезорганизовать ее политическое дело, Олар думает, что между 1789 и 1799 годами никто в отдельности не вел революцию, ни Людовик XVI, ни Мирабо, ни Дантон, ни Робеспьер. „Следует ли сказать, что истинным героем французской революции был народ? Да, но под условием брать народ не в состоянии толпы, а в состоянии организованных групп“. Взятие Бастилии и муниципальная революция, за этим последовавшая, восстание 10 августа, вот где видна эта „анонимная национальная революция“. Все дело — в группировке французов в коммунах, в народных обществах. В них заключалась сила отдельных личностей, не в них самих. „Чтобы остановить революцию, Наполеон Бонапарт разобил группы. Тогда не стало более граждан, остались только индивиды“ (780)—(781).

Это — одна мысль, другая та, что революция осуществилась только частично и только временно, а при Наполеоне была как-бы уничтожена, произошло же это потому, что французский народ не был достаточно образован, чтобы, как следует, пользоваться верховною властью. Народное образование входило в программу республиканцев, стоявших во главе групп, а программой Наполеона сделалось этому препятствовать (781).

В третьих, продолжает Олар, говорили, что поколение, совершавшее в 1789 — 1799 г.г. такие великие или такие

страшные дела, „было поколением гигантов или, выражаясь проще, что это было более выдающееся поколение сравнительно с предыдущими и последующими“. Олар называет это „ретроспективной иллюзией“. Ему не кажется, чтобы граждане, составлявшие группы, — все равно какие: муниципальные, якобинские, национальные, — были образованнее и талантливее французов из времен Людовика-Филиппа. Еще Мирабо может до известной степени называться гениальным трибуном, по разе другие, например, Робеспьер, Дантон, Верньо, были талантливее наших теперешних ораторов. Это было среднее поколение и даже упало ниже среднего уровня, когда сначала гильотина, потом проскрипции устранили из него наиболее выдающихся людей, что и помогло Бонапарту разгромить общественные группы, потерявшие вождей“ (781 — 782).

В четвертых, Олар думает, что факты, собранные им в этом томе, отнимают у слов: французская революция двух-смысленное значение. Под нею разумеют, с одной стороны, ее принципы и согласные с ними акты, с другой — период, когда она происходила со всеми согласными с нею или ей противоречащими актами. Это смещение было столь же вредно для истины, как полезно партизанам ретроградной политики, для которых революция — нечто в роде исторического лица, совершающего самые скверные и даже контр-революционные акты. Когда говорят, что вот революция сделала то-то и не сделала того-то, на нее смотрят, как на какую-то бес-связную, капризную, насильственную и кровавую силу, чем самые ее принципы готовы называть сатанинскими, чтобы рекомендовать следовать в управлении обществом принципами противоположными. Олар надеется, что дело им выяснено: „революция заключается в Декларации прав, составленной в 1789 году и дополненной в 1793 году и в попытках, сделанных для осуществления этих принципов, а контр-революция, это — попытки, какие делались, чтобы отклонять французов от поведения, согласного с разумом, просвещенным историей“ (782).

Наконец, пятая общая мысль касается наполеоновского деспотизма, остановившего революцию и бывшего возвратным ходом к старому режиму, с временной отменой свободы и частичной отменой равенства. Главное, это — то, что реакция коснулась больше политических, чем социальных резуль-

татов революции, где заключается объяснение того факта, что когда эмигранты стали оспаривать эти результаты, „этот Наполеон Бонапарт, дезорганизовавший политическое дело революции, сколько лишь было в его силах, мог показаться и сам себя назвать человеком революции“ (783).

## Жорес.

Переходим теперь к другому общему труду по истории французской революции, вышедшему в свет в самом начале XX века, к первым томам „Социалистической истории“ Жореса. Прежде всего несколько слов о самом авторе.

Жан Жорес <sup>1)</sup> в истории своего отечества оставил след, главным образом, как политический деятель, один из наиболее видных представителей социализма и даже глава одной из фракций социалистической партии, носившей одно время, его имя — „жоресисты“. Начал он свою научную деятельность профессором философии в Тулузском университете, но философские его диссертации „О реальности чувственного мира“ и „О первых очертаниях германского социализма у Лютера, Канта, Фихте и Гегеля“ (1891) особой известности ему не создали. В первой он выступил еще сторонником идеализма, от которого окончательно не отступился и впоследствии, когда уже проникся экономическим материализмом Карла Маркса. Вторая его диссертация, написанная по латыни, указывает на то, что в начале последнего десятилетия XIX века, Жорес уже вплотную занимался историей социализма. Первым его политическим мирозерцанием был обычный французский радикализм, от которого он перешел на сторону социализма лишь в только-что указанное время. Впервые депутатом он сделался в 1885 году, имея от роду двадцать шесть лет (род. в 1859 г.), и оставался в палате до 1889 года, когда на новых выборах был забаллотирован, после чего попал в палату только в 1892 году уже в каче-

<sup>1)</sup> Charles Rappoport. Jean Jaurès, l'homme, le penseur, le socialiste. 1915. Эта книга Раппопорта была издана в русск. пер. в Томске в 1922 году. L. Levy-Bruhl. Quelques pages sur Jean Jaurès. 1916 — Смерть Жореса в 1914 г. вызвала ряд статей о нем в „Русск. Зап.“ за 1915 г. II, в „Соврем. Мире“ за 1914 г. (X), а также брошюру Л. Троцкого и т. п.



стве социалиста, кандидатура которого была выставлена рабочими. На этот раз он почти сразу занял положение настоящего вождя французских социалистических партий, которые потом старался всеми своими силами согласовать и примирить между собою.

Хотя он и испытал на себе влияние марксизма и даже усвоил точку зрения экономического материализма, но не хотел стать на нее всецело. В 1895 году он прочитал лекцию на тему „Идеализм и материализм в понимании истории“<sup>1)</sup>, вызвав против своей попытки примирения двух противоположных учений отповедь правоверного французского социал-демократа Лафарга, зятя Карла Маркса. Эта полемика<sup>2)</sup> в свое время обратила на себя внимание лиц, интересовавшихся вообще данным теоретическим вопросом. Вообще более примирительное направление Жорес при его замечательном красноречии сделало его имя популярным и среди передовой буржуазии. Поддерживая связи с интеллигентскими кругами, он один из первых принял участие в компании за пересмотр знаменитого дела Дрейфуса в 1899 году. Известно, какая страстная борьба велась тогда во французском обществе между передовой интеллигенцией, с одной стороны, и реакционными кругами, с другой. В борьбе Жорес занял видное место рядом с такими людьми, как Золя и Клемансо, но это повлекло за собою партийный раскол. Часть социалистов, руководимая Жюлем Гэдом, находила, что дело Дрейфуса — домашний спор буржуазии, совершенно посторонний для социалистов и рабочего класса, тогда как Жорес, на сторону которого стала другая часть социалистов, защищал общегуманитарную точку зрения. Происшедшее тогда разделение парламентских социалистов на гэдистов и жоресистов даже заставило последних искать сближения с политическими радикалами. Влияние Жореса, однако, оставалось столь значительным, что когда на выборах 1898 года он снова не попал в палату, он в течение около четырех лет оставался и вне палаты вождем социалистов, которых в следующем году

<sup>1)</sup> *Idéalisme et matérialisme dans la conception de l'histoire. Conférence de J. Jaurès et réponse de P. Lafarquet.* Русск. пер. в сборнике „Исторический материализм“ (1919, стр. 115 — 133).

<sup>2)</sup> В свое время она была отмечена мною в „Старых и новых этюдах об экономическом материализме“.

ему удалось объединить — до нового раскола, вызванного известным „мильерановским казусом“, вступлением социалиста Мильерана в „буржуазный“ кабинет Вальдека-Руссо. В то время, как Гэд и гэдисты высказались против такого шага со стороны социалиста, Жорес и его партия поддерживали Мильерана, как позднее и другие „буржуазные“ министерства. Вообще в это время он стоял за необходимость борьбы в союзе с несоциалистическими партиями, признающими стремление к освобождению человеческой личности. В международной политике Жорес тоже стоял за самую широкую примирительную программу, поплатившись в 1914 году жизнью за свой интернационализм, будучи убитым одним фанатиком патриотизма, хотя сам был патриотом, признававшим идею отечества. В 1904 году для более широкого проведения в общество своих социалистических взглядов он издал первый том своих парламентских речей <sup>1)</sup>, а в следующем году ему снова удалось, сделав кое-какие уступки, добиться объединения социалистических партий во Франции, — дела, бывшего в течение нескольких лет его особою заботою.

В самом начале XX века Жорес предпринял издание, под своей редакцией, огромной „Социалистической истории“, двенадцать больших томов которой было написано разными лицами. История первых двух Национальных собраний и Конвента должна была быть написана в первой своей половине Жоресом, во второй Гэдом, но последний, по той или другой причине, своей части труда не выполнял, и Жоресу пришлось взять на себя и эту часть. В течение четырех лет (1901—1904) том за томом вышли „La Constituante“, „La Législative“ и „La Convention“, последняя в двух томах <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Кроме того, в 1902 году им был издан сборник статей под заглавием „Etudes socialistes“.

<sup>2)</sup> На русский язык сначала были сполна переведены только первый том („Уредительное Собрание“) и вторая половина третьего („Политические и социальные идеи Европы и революция“), не считая сокращенного и очень неудовлетворительного перевода III и IV томов, вышедшего в 1907 году. В 1923 г. Н. М. Лукиным и Н. Н. Подовым предпринят был новый перевод третьего тома, первой половине которого первое из этих лиц предпослало статью свою о значении труда с его оценкой и критикой отказа автора от марксистской точки зрения. Философию истории Жореса Лукин называет „социологическим эклектизмом“, политическое поведение — „соглашательской политикой“, объясняя „реформистские оппортунистические тенденции его труда переживавшимся Францией около 1900 г. политическим моментом“ (стр. X, XII и XIV).

В общей сложности все четыре тома, написанные Жоресом, составляют 3140 страниц необычно для французских книг большого формата и очень убористой печати. Отдельный пятый том в 599 страниц имел своим автором Габриэля Девиля. Таким образом, эпоха революции занимает в „Histoire socialiste“ Жореса без малого четыре тысячи страниц, что позволяет относить этот труд к числу наиболее крупных по размерам, какие только писались о французской революции.

Это свое издание Жорес предназначал для рабочих и крестьян, так что начало оно выходить даже не томами, а ливрезонами листа по три, которые могли быть покупаны за два су. Другою приманкою для их покупателей были обильные цинкографические иллюстрации и факсимиле в тексте, которым немало повредило то, что ради дешевизны бумага на это издание была употреблена довольно невысокого сорта. Едва ли, однако, было целесообразно придавать истории революции для самой широкой народной массы такие размеры, особенно если еще принять в расчет, что в изложение введено немало сырого материала в виде выдержек из брошюр, статей, речей и всяких документов революционной эпохи, постоянно прерывающих повествование. Между тем, имея в виду только таких читателей, Жорес считал за совершенно излишнее давать какие бы то ни было указания на то, откуда им что было взято, появлялось ли оно в печати или найдено в архивах, и какие бы то ни было ссылки на литературу по тем или другим вопросам. Это очень обесценивает труд Жореса, как произведение научной литературы. Другими словами, для читателей из рабочей или крестьянской среды изложение Жоресом французской революции вышло слишком громоздким и даже мало доступным, а для историков оказалось недостаточным по отсутствию не только так называемого ученого аппарата, но и самых необходимых указаний чисто справочного характера. Мало того, выпуская книгу ливрезонами, издатель забыл поместить оглавление к ней, которое потом попало только в поправки и примечания (*errata et observation*), где кстати, Жорес старается оправдать все, что с ученой точки зрения является упущениями<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> См. в конце 1 тома. Олар посвятил первым трем томам труда Жореса статью (J. Laurès, historien de la révolution) в „La Rév. Franc.“ за 1902 г., причем в сжатом виде она была напечатана по русски в „Соврем. Мире“ за

Кстати, в этих же добавлениях Жорес, указывая совершенно справедливо на малую разработанность экономической истории эпохи<sup>1)</sup>, высказывает намерение хлопотать, чтобы государство, отдельные министерства, город Париж, Общество истории революции ассигновали средства, необходимые для издания источников по экономической истории эпохи, указывая при этом на указы 1789 года, преимущественно крестьянские, на документы по распродаже национальных имуществ, по продовольственному делу и т. п. материалы. Когда Жорес писал эти страницы, он не был еще депутатом, но, вернувшись в палату, он, пользуясь своим в ней влиянием, выхлопотал ежегодные ассигновки на печатание указанного архивного материала, который и стал в 1906 г. выходить в свет большими томами под общим заглавием „Collection de documents inédits sur l'histoire économique de la révolution française“ (см. выше стр. 171). Инициатива Жореса в этом отношении заслуживает со стороны историков революции величайшей благодарности. Кое-каким материалом этого рода пользовался и сам Жорес. В дополнениях к первому тому Жорес оправдывает избранное им название своего предприятия как „Социалистической истории“. Ему пришлось слышать на этот счет упреки. „История есть история“, говорили ему, и он соглашается с тем, что история должна быть объективной, но ведь каждый историк „наблюдает события с точки зрения своего общего понимания общества и жизни“, а в таком случае, „почему же спрашивает он, социалисты, изучающие политическую и социальную историю с 1789 года, не могут предупредить самым названием труда, что это историческое движение получает для них освещение из того состояния, к какому должно привести?“

Во всяком случае, Жорес не думает, чтобы его обвиняли в уступке „социалистическому одержанию“ (obsession), в „про-

1999 г. (кн. IX) под заглавием „История Франции с новой точки зрения“. Олар признаётся, что отнесся к труду Жореса, бывшего ему знакомым лишь в качестве философа, оратора и политического партийного человека, с предубеждением, но, прочитавши эту книгу, нашел в ней правдивое научное произведение (une oeuvre de vérité, une oeuvre d'inspiration scientifique). „Исторический шедевр“, который долго не утратит значения для науки. Критик только упрекает автора за некритическое иногда пользование источниками. У нас о труде Жореса писали, кроме Н. М. Лукина (см. выше, стр. 218) Н. Е. Кудрий (Русанов) в „Русск. Богатстве“ за 1902 г. (февр.) и Васютинский в „Голосе Минувшего“ за 1914 г. (сент.).

<sup>1)</sup> В этом деле он признаёт заслуги „русской школы“ (стр. VII).

извольном преувеличении роли пролетариата во французской революции". Совсем напротив, по его мнению, эта роль в начале была скромная и слабая и только потом стала увеличиваться „вследствие постоянного действия и смелого приложения революционного идеализма к экономическим и социальным проблемам“. Другими словами, не пролетариат вел за собою революцию, а она его вела (стр. II). Слова Энгельса, что в 1793 году демократическая республика была орудием пролетариата, вызывает здесь со стороны Жореса замечание, что в „самой демократии была социалистическая сила (*vertu socialiste*), что она благоприятствовала росту рабочего класса и его вызвала“. Он не соглашается со взглядом Маркса, будто в 1793 и 1794 г.г. „пролетариат боролся только за интересы буржуазии, хотя и не ее способами, что весь французский терроризм был только плебейским способом покончить с врагами буржуазии, с абсолютизмом, феодализмом и мелко-буржуазным духом“. Пусть это будет так, но ведь самый способ (*manière*) не безразличен: „по мере того, как пролетариат все активнее вмешивался в ход буржуазной революции, он начинал сознавать свои собственные интересы“, так что „в великом движении революции нельзя отделить политическую эволюцию от экономической“. С этой стороны, не упрекая Олара в выделении одной политической стороны революции, так как историк имеет „право изолировать крупные явления жизни“ (*un grand aspect des choses*), Жорес тем не менее ставит вопрос, как же таким образом „можно вполне понять переход от буржуазной олигархии к демократии во время революции, если не следить за социальным усилением, тесно связанным с усилением политическим“. Правда, Олар совершенно верно указывает на крайнюю разбросанность источников по экономической и социальной истории революции, вследствие чего, по его мнению, один человек, который задумал бы его написать, не пошел бы дальше „поверхностного эскиза на основании данных из вторых и третьих рук“ (стр. III), но, говорит Жорес, ненужно думать, что историк так-таки здесь беспомощен (*dénué*), ибо и старый, известный материал дает очень много нового и неожиданного (*insoupçonné*), если его читать, имея в виду экономические вопросы (стр. V). Он чувствует себя „скандализованным“ теми „проблемами

и наивностями“, какие в этом отношении встречаются у крупных историков революции. У самых значительных из них был недостаток не в источниках, а в интересе, в понимании по отношению к экономической эволюции, к глубокому и движущему значению социальной жизни. „Это понимание, прибавляет Жорес, пробужденное у самых скромных из нас некоторыми важными взглядами Маркса, успехами социализма и работами французской и русской<sup>1)</sup> исторической школы, позволит нам лучше читать и лучше понимать“ (стр. VI).

Следуя за Марксом, Жорес не был, однако, марксистом. Выше уже было упомянуто, что по вопросу об экономическом понимании истории он высказался в смысле необходимости синтеза материалистического и идеалистического истолкований истории, вызвав тем возражение правоверного марксиста Лафарга. Во вступительной главе первого тома он говорит, что будет (*il nous plaîra*) „давать всегда чувствовать в полумеханической эволюции экономических и социальных форм высокое достоинство свободного человеческого духа“. Правда, сам Маркс предвидит наступление „времени полной умственной свободы, когда человеческая мысль, не деформируясь более экономическим рабством, сама не будет деформировать мир“, но ведь и „в сумерках бессознательного периода высокие умы поднимались до свободы“, подготавливая и возвещая человечность. „Это — как-бы первый шелест листьев в человеческом лесу, предвещающий в будущем более сильные порывы ветра и могучие сотрясения“.

Поэтому свое истолкование истории Жорес объявляет одновременно материалистическим с Марксом и „мистическим“ с Мишле. Конечно, продолжает он, экономическая жизнь была основой и двигателем человеческой истории, но в последовательности социальных форм человек, мыслящая сила, стремится к полной жизни мысли, к горячему общению беспокойного ума, жаждущего единства, с таинственной вселенной (I, 8). Жорес даже особенно подчеркивает, что, „несмотря

<sup>1)</sup> Жорес знаком был с работами Лучицкого и Мянцеса (стр. IV), а также и с моею (I, 179, 216). Он решительно не соглашается с моим изображением бедственного состояния и упадка сельского хозяйства во Франции перед революцией, но сам как-раз менее всего говорит в своей книге об этом предмете, не приводя серьезных доводов в пользу своей точки зрения.

на свое экономическое понимание крупных человеческих явлений“, он не станет пренебрегать „моральной ценностью истории“. И грядущая социальная революция рисовалась Жоресу, как результат не только силы вещей, но и силы людей, „энергии сознаний и воли“. Вот почему также он считает важным, в качестве примеров, выдвигать вперед „всех героических борцов, которые за последнее столетие ощущали страсть к идее и питали презрение к смерти“. „Нас не заставляет улыбаться то, что люди революции читали жизнеописания Плутарха. Наверное, прекрасные порывы внутренней энергии, которые они таким способом в себе возбуждали, мало что изменили в ходе событий, но, по крайней мере, люди удерживались на ногах во время бури и не обнаруживали, при блеске молний великой грозы, страха на своих лицах. И если горячее влечение к славе оживляло в них страсть к свободе или мужество в бою, никто не осмелится их в этом упрекнуть“. Держась такого взгляда, Жорес обещает заранее „ничего не вычеркивать из того, что составляет человеческую жизнь“, рассказывая историю революции: „мы, говорит он, будем стараться понять и передать основную экономическую эволюцию, управляющую обществами, горячее стремление духа к полной истине и благородную экзальтацию индивидуальной совести, пренебрегающей страданиями, тиранией и смертью“ (I, 9). Рискуя, как выражается сам Жорес, изумить своих читателей таким соединением столь несхожих имен, он тем не менее объявляет, что он пишет свою историю революции „под тройным вдохновением Маркса, Мишле и Плутарха“ (10).

Приведенные заявления самого Жореса достаточно определяют общий характер его труда <sup>1)</sup>.

Это не строго ученый в смысле объективного изображения того, что было, как оно было. Жорес берет прошлое с точки зрения будущего, подготовляющегося этим прошлым и в то же время понимаемого, как полное осуществление социалистического идеала. Автор обращается специально

<sup>1)</sup> Жорес довольно часто возвращался к такой мысли. Например, на стр. 208 третьего тома он говорит: „в великих кризисах мировой жизни участвуют не одни экономические силы; моральные силы: согласие, бескорыстие, мудрость иногда решают все“ (sont décisives). Но стр. 1458 четвертого тома он даже решает назвать применение Марксом своей точки зрения в „Восемнадцатом брошюре“ гениальным и ребяческим (enfantin).

к читателям из пролетарской, прежде всего, среды, которых он хочет утвердить в их классовом самосознании, буде оно у них есть, или привести к этому самосознанию, если люди им еще не обладают. Его „Социалистическая история“ имеет прямо пропагандистский характер, примыкая этою своею стороною к партийной литературе. Из французских историков, писавших о революции, Жорес выбрал своим „вдохновителем“ Мишле, не бывшего социалистом, но демократа, народолюбца, идеалиста, очень субъективного писателя, часто в своем народничестве пристрастного, преисполненного лиризмом и нередко грешащего простой риторикой. Последней довольно-таки и у самого Жореса, и это, конечно, не лучшее, что он заимствовал у Мишле. Последний, как мы видели<sup>1)</sup>, одно время стремился „создавать души“, морально воспитывать молодежь, и ту же задачу, вдохновляясь образцом старика Плутарха, замыслил и Жорес по отношению к рабочим и крестьянам. Он обращается к ним не только как научный историк, делающийся популяризатором, даже не только как человек определенной партии, пропагандирующий или объясняющий ее программу, но как воспитатель при помощи примеров доблести, представляемых историей. Маркс, Мишле и Плутарх, это соединение имен действительно, кажется, как выражается сам Жорес, чем-то несуразным (disparate).

Если Тэн говорит, что писал для немногих, для ученых и людей с научным складом ума, для историков, то менее всего таких читателей имел в виду Жорес, потому и не приспособившийся к интересам и привычкам особенно специалистов-историков, но едва ли хорошо представлявший себе, какая книга о революции была бы пригодна для народной массы. Сам он видимо не прошел строгой исторической школы, что даже сказалось на очень несовершенной технике его труда, если только не искать объяснения этого в торопливости, с какой были написаны четыре громадных тома в сравнительно короткое время. Нередко, вместо того, чтобы ограничиться приведением из источника нескольких необходимых строк, он печатает целый отрывок, остальные части содержания которого не имеют отношения к делу, или вместо нужного отрывка берет из того же произведения больше,

<sup>1)</sup> См. том I, стр. 145.



чем требуется для данного предмета. Если даже многое бывает важным, как сырой материал для посторонних целей, то отсутствие указаний, точнее определяющих источник, является крайним неудобством. Но что действительно важно в его труде, это — экономическая его ориентация. Вскоре после окончания Жоресом его четырех томов, вышла в свет небольшая, но очень содержательная книжка Буассонада<sup>1)</sup>, заключающая в себе подробный обзор всего сделанного во Франции по экономической истории революции и указывающая, как много еще не сделано или сделано не понастоящему. При таком состоянии науки инициатива Жореса ввести в изложение истории французской революции, до того времени обрабатывавшейся почти исключительно с политической точки зрения, как можно более экономического материала, заслуживает быть отмеченною, как серьезный момент в историографии революции. Если Жорес многих вопросов не решил или его решения вызвали возражения или, по крайней мере, сомнения, то заслуга его, во всяком случае, в их постановке в связи с общим ходом революции.

Конструкция первого тома труда Жореса, обнимающего эпоху Учредительного Собрания, такова: около 130 из приблизительно 750 страниц, т. е. шестая часть тома посвящена вопросу о причинах революции; затем идет глава о „революционных днях“ (20 июня, 14 июля, 5—6 октября), после чего рассматриваются организационные законы, муниципальная жизнь, национальные имущества, гражданское устройство духовенства, федерация, партии и классы в 1791 году и бегство короля. Ближайшее отношение к экономической и социальной истории имеют главы о причинах революции, о наказаниях, о национальных имуществах и об общественных классах в 1791 году.

Первые две главы представляют собою одно целое, тем более, что автор в первой из них не только рассматривает экономические и социальные отношения, но по их поводу довольно много говорит о наказаниях, во второй же не только рассматривает последние, но по их поводу тоже говорит об экономических и социальных отношениях, в обеих главах приводя большие отрывки и даже целые тексты разнообразного

<sup>1)</sup> См. том I, стр. 6 и выше, стр. 170.

содержания. Довольно часто в обеих главах он полемизирует с Тэнном, нападая большею частью на его действительно слабые места. Например, он отвергает у Тэна „совершенно ложный и даже совершенно детский способ“ объяснения того, как классический дух повлиял на революцию, и говорит, что в этом объяснении Тэн на место точного знания и ясного понимания фактов поставил „ничтожную схоластику и реакционную идеологию“, что вся книга Тэна обнаруживает „почти невероятное невежество“, что его „легкомыслие необычайно“, раз он сводит все движение буржуазии, по существу экономическое, к „припадку тщеславия и глупого опьянения философией“, что этот „реалист“ ограничивается чтением философских книг, но проглядел самую жизнь и т. п. Делая верные замечания, Жорес, однако, представляет мысль Тэна в слишком упрощенном виде и противопоставляет ей такое, например, рискованное положение: „далекая от того, чтобы быть отвлеченной и пустой (vaine), французская революция была самой существенной, самой практичной, самой уравновешенной из всех революций, известных истории“. Кроме того, мимоходом указывается, что напрасно Тэн не читал Маркса (32 — 38). Жорес неоднократно ставит Тэнну, как „ложному реалисту“, в вину, что он и не подозревал таких-то вот важных проблем (38, 47, 123), что он произвольно сближал цифровые данные (143), что он „видимо не читал наказов“ (155). Прибавлю кстати, что в дополнении к первому тому Жорес даже утверждает, что если Тэн и обращался к архивам, то только для того, чтобы узнать, „сколько было перебито во время революции стекол в оконных рамах“ (стр. VI).

Начав главу о причинах революции с изображения эксплуатации в деревнях, „насилованной и расчетливой, грубой и коварной, опутывавшей деревенскую жизнь очень сложной и тяжелой сетью“ (16), Жорес, однако, говорит, что если бы у дворян были только эти остатки феодальных прав, то не были бы таким тяжелым бременем для французского общества и для земледельческого труда, потому что феодализм уже получил давно смертельный удар от монархии (18). По его мнению, ничем, впрочем, не доказываемому, но противоречащему тому, что было сказано выше, господствующим, даже нормальным типом собственности была собственность полная и простая. Для того, чтобы вырвать феодализм с корнями из почвы

Франции, думал Жорес, вовсе не было нужды в революции, потому что главное дело было сделано Людовиком XI, Ришельё и Людовиком XIV (19), как будто политический феодализм, ими разрушенный, одно и то же, что и феодализм социальный, приконченный революцией. Но тут же Жорес замечает, что если бы королевская власть не связывала себя с дворянством, стала на сторону буржуазии и крестьян, уничтожила последние следы феодализма в деревнях и обеспечила за промышленной, торговой и денежной буржуазией необходимый для ее работы порядок, то, по всей вероятности, революции 1789 года совсем не было бы. Будь во Франции государи, подобные Фридриху II, Иосифу II и т. д., монархия во Франции сделалась бы капиталистической и буржуазной и исчезла бы только с властью капитала. Но королевская власть была в этой стране „исторически неспособна“ так поступать, ибо видела в духовенстве и в дворянстве всю свою славу небесную и земную (20). Не в феодальных правах привилегированных видит Жорес то бремя, каким оба сословия являлись для государства, а в той эксплуатации, которой они подвергали государство, расхищая его казну (22 — 23). Монархия пала, как сообщница привилегированных, ими же и обманутая. Против обоих сословий образовался своего рода союз буржуазии с философами, потому что, говорит Жорес, „для экономического развития первой, для успехов промышленности, она нуждалась в помощи науки и умственного развития... Неподвижность экономической жизни средних веков была связана с неподвижностью их жизни догматической: чтобы новое производство получило силу, сокрушило всякую ругину и всевозможные преграды, нужно было также, чтобы мысль нового времени сделалась вполне свободною“ (24). Другими словами, причина революции была не в ином каком либо месте, как в буржуазии, которая, к тому же еще, стала скупать земли. Вся школа Кенэ и физиократов, говорит Жорес, которую Маркс так хорошо назвал школою аграрного капитализма, не имеет смысла, если в XVIII веке нет ясного движения капиталов буржуазии к земле“. Он думает даже, что ей с крестьянами принадлежало больше половины всей почвы Франции (27). О том, как была распределена поземельная собственность во Франции, Жорес больше предполагает и гадает, чем знает, и, желая увеличить площадь

буржуазного землевладения, находит более благоразумным (il est bien plus raisonnable) предположить, что привилегированные владели только третью земли, много половиною (28). Проникнув в деревенский мир, буржуазия была сильна достаточно для того, чтобы „почувствовать себя в состоянии бороться против дворянства и церкви даже в аграрном отношении (dans l'ordre agricole) и даже, если можно так сказать, покрыть собою всю поверхность общества“. Если бы, думает Жорес, королевская власть взяла на себя задачу руководить новыми силами, „революционная трансформация произошла бы, вероятно, без потрясений“. В союзе с буржуазией и с крестьянами королевская власть могла бы не бояться повторения ни Лиги, ни Фронды, но связь с привилегированными ее губила. Она попробовала для устранения дефицита, произведенного жадностью привилегированных, обратиться к нации, но она сделала это дрожа и, чтобы спасти как привилегированных, так и себя. Дефициты бывали и раньше, но почему же теперь „простой бюджетный вопрос имел такие следствия“ (30)? Жорес не допускает, чтобы причина этого могла лежать в одном тупом сопротивлении привилегированных или в страданиях крестьян от феодальных прав и от поборов фиска. „Бунтовщичий крестьянский инстинкт, говорит он, с его быстрыми и короткими проявлениями был бы бессилён поднять целый мир. Но где же тогда причина?“ повторно спрашивает автор.

„Две великие силы в конце XVIII века, отвечает он, две революционные силы взбудоражили (passionné) умы и вещи и во много раз увеличили напряженность движения. Вот эти две силы: с одной стороны, французская нация достигла уметвенной зрелости, с другой, французская буржуазия достигла зрелости социальной. Французская мысль сознала свое значение и захотела приложить ко всей действительности, взятой целиком, к обществу, как и к природе, свои методы анализа и дедукции. Французская буржуазия сознала свою силу, свое богатство, свое право и безграничные условия (chances) исторического своего развития (31), одним словом, пришла к классовому самосознанию, тогда как мысль пришла к сознанию вселенной (?). Здесь два горячих источника, огненных—революции. Это ее сделало столь ослепительною“ (32). Вот по этому поводу Жорес и критикует Тэна.

Далее у Жореса идет анализ состава французской буржуазии, напоминая тот, который был сделан Каутским в его известной книжке о классовых противоречиях 1789 года <sup>1)</sup>. На первом плане он ставит высшую капиталистическую и финансовую буржуазию, возвещавшую появление новой королевской власти — власти денег и уже взявшую под свою опеку и даже поставившую в зависимость от себя весь старый порядок. Сосредоточение крупных состояний финансистов, генеральных откупщиков, банкиров совершалось в Париже (38—40). Ниже этой высшей буржуазии находился „великий буржуазный народ рантьееров, или, точнее говоря, кредиторов государства“. Роялистическим публицистом времен революции Риваролем было сказано, что революцию сделали рантьееры, чтобы обеспечить свои деньги более надежной гарантией нации. Париж был существенно городом по преимуществу кредиторов государства, столицей ренты“. Народ предместий, восставший против старого порядка, получил в лице этих кредиторов короля, союзников и вождей, принимавших потом участие в уличных волнениях. „Во всяком случае, говорит Жорес, класс буржуазии, которому королевская казна задолжала громадную сумму денег, должен был необходимо сделаться первою властью в государстве“ и обеспечить как долг, так и правильную уплату процентов. В непримиримом экономическом антагонизме финансового интереса буржуазии и территориального могущества церкви он усматривает одну из самых крепких пружин революции: „этот государственный долг был одним из первых средств политического развития“ (41—43). Особенно подробно рассматривает Жорес торговую и промышленную деятельность французской буржуазии перед революцией (43 и сл.) Те, по его мнению, которые приписывают цехам важную роль в экономическом развитии Франции в эту эпоху, плохо понимают дело (44). Пользуясь трудами Озера <sup>2)</sup> о рабочих в XVI веке и Мартен-Сен-Леона о цехах <sup>3)</sup>, он изображает, как, с XIV еще века, крупные предприятия начали ускользать от цеховых стеснений. Особенно развивалась крупная торговля в тесной связи с банковыми операциями. Кроме крупных предприятий, усколь-

<sup>1)</sup> Рассматривается в III части «Историков французской революции».

<sup>2)</sup> Hauser. Hist. des ouvriers au XVI siècle.

<sup>3)</sup> Martin-Saint-Léon. Histoire des corporations de métiers (2 изд. 1909).

зало от цеховых стеснений и сельское ремесло (45), мимоходом замечает Жорес. Правда, при сложности человеческого общества вообще и особенно в новое время, в переходные периоды могут уживаться рядом, несмотря на свою противоположность, „экономические органы прошедшего и будущего“ (48), но это ничего не значит. Жореса интересуют только органы будущего: главные типы торговых обществ (46 — 47), внешняя торговля и колонии (48 — 50) и т. п. Особенно подробно останавливается он на экономическом росте некоторых больших городов, где буржуазия стала накоплять громадные богатства. Он начинает с Бордо, которому посвящает несколько страниц, пользуясь книгой о нем Камилла Жюльена<sup>1)</sup> и по своему обыкновению даже не давая ее названия. Указывая на большие барыши тамошней буржуазии, он отмечает тот факт, что у нее „не было надобности подвергать рабочих особенно тягостной эксплуатации“. Рабочие в некоторых производствах получали довольно высокую плату, а потому весьма вероятно, думает Жорес, что „рабочий класс (если только слово класс здесь непреждевременно) в Бордо смотрел без раздражения и без зависти на великолепный рост торговой буржуазии, украсившей город“. Эту вероятность он превращает уже в достоверность, когда несколькими строками ниже категорически отрицает существование между буржуазией и пролетариатом в Бордо острых отношений. Это развязывало у местной буржуазии руки для борьбы со старым режимом, для нанесения удара священникам, дворянству, королевской власти, без опасения пролетарского движения (54).

За Бордо идет Марсель, где историк находит аналогичные отношения. „Накануне революции, говорит он, и до конца 1792 года не против буржуазии, даже самой богатой, были настроены марсельские рабочие, а против произвола министров, вызывающего поведения дворян, деспотизма священников, против также муниципальной аристократии из дворян и аноблированной буржуазии, расхищавшей средства коммуны и облагавшей народ тяжелыми налогами на муку, на говядину и на вино. А так как буржуазный класс требует политической свободы, привнесения привилегирован-

<sup>1)</sup> C. Jullien. Histoire de Bordeaux.

ных и лучшего контроля над заведыванием общественным достоянием, революционный пыл марсельских рабочих соединяется с революционным честолюбием марсельской буржуазии. В сущности, несмотря на расстояние, отделявшее высшую буржуазию двадцатикратных миллионеров от портового или рыболовного рабочего, третье сословие здесь еще не разрезано надвое. Рабочие и буржуа являются двумя еще солидарными элементами нового мира в борьбе против старого порядка“ (58 — 59). Жорес видит особое счастье для революции в том, что в первые годы она не остановила производства и обмена, как это видно из истории Марсели. Если бы, поясняет он свою мысль, непосредственно наступил торговый и промышленный кризис, если бы безработица и разорение пришли до того, когда дело революции укрепилось, может быть, контр-революция, пользуясь общими страданиями, возвратила бы власть старому порядку. Но, совсем напротив, экономический подъем, из которого родилась революция, продолжался в первые три года революции, самые решительные годы“ (60). О Нанте Жорес говорит то же, в сущности, что сказал о двух предыдущих городах: здесь также „торговая и промышленная буржуазия достигла в XVIII веке столь высокой степени экономической мощи, что была готова для политического правления“ (63). Но „для того, чтобы экономическая мощь поднимающегося вверх класса сделалась мощью политической, нужно было, чтобы она перепла в мысль, чтобы привела к общему пониманию мира, общества и жизни“. Жорес находит, что в Нанте было особенно много, перед революцией, энтузиазма у буржуазной молодежи. „Нант был лабораторией богатства и мощи, откуда экзальтированная учащаяся молодежь Ренна заимствовала самую сущность своих мечтаний: именно чувство возросшей экономической силы придала буржуазии ее революционный порыв“ (64—65).

Жорес отказывается войти в подробности индустриального развития во второй половине XVIII века, но, в общем, убежден, что развитие промышленности сообщало буржуазии решительную силу. Он возражает против „исторического предрассудка, как он выражается, искажающего историю, будто перед революцией промышленность была столь тесно опутана цеховым режимом, что всякое сколько-нибудь живое движение было для нее невозможно“ (66). По его мнению,

эта промышленность была достаточна для того, чтобы „дать предприимчивой и направляющей буржуазии революционные силу и сознание“, но „недостаточна, чтобы сообщать пролетариату революционное качество (vertu), отличное от буржуазного движения“, а во Франции почти не было провинции, где не было бы промышленности (66—67). По этому вопросу Жорес пользуется наказами 1789 года, сообщающими, между прочим, о противоречии аграрных и индустриальных интересов (68). Он отмечает непрерывный прогресс и машинизма в промышленной технике (70), но совершенно правильно называет „неточной бутадой“ слова Лассалья о связи французской революции с прядильной машиной Аркрайта: в 1789 году Франция была лишь в подготовительном периоде настоящего машинизма (91). Правильно указывает Жорес и на то, что страна тогда только начинала переходить к более крупным мануфактурам, едва лишь зарождавшимся: большая часть прядильного и ткацкого дела была разбросана по жилищам ремесленников или крестьян, и это был господствующий тип организации промышленности: мелкие производители не были настоящими хозяевами, а наемниками, простыми рабочими с довольно значительным развитием женского и детского труда (72—76).

По последнему пункту Жорес много говорит о Лионе, городе очень большой промышленности и банковых операций, пользуясь и здесь данными наказов (77 и сл.). В Лионе происходило некоторое слияние дворянских и буржуазных элементов, но зато здесь, наоборот, совершалось разделение между фабрикантами и рабочими, в силу чего Лион 1789 года представляется историком городом наиболее нового типа во всей Франции, в высшей степени буржуазным (*la plus puissamment bourgeoise*), в сравнении с которым даже Париж отставал (83). В Лионе, как еще в Туре, в Роанне <sup>1)</sup> уже происходили стачки и волнения рабочих, которых Париж в XVIII веке еще не знал (84). В Лионе, особенно среди тамошних подмастерьев (*compagnons*), уже зарождался классовый дух (86). Жорес и рассказывает кое-что из истории этих отношений, когда дело доходило до кратковременной „рабочей диктатуры“ (89). Правда, здесь рабочее движение

<sup>1)</sup> Roanne в департ. Луары, а не Руан (Rouen).



шло от мелких мастеров, под властью которых находились еще подмастерья и ученики, от своего рода „пролетариата фабрикантов“, очень консервативного в смысле приверженности к мелкому производству. Но Лион не указ остальной Франции. Было бы ошибочно думать, по словам Жореса, что над буржуазией в других местах тяготело „бремя рабочего вопроса“ (91). Лионские „фабриканты-рабочие“ не в состоянии были, по самому своему существу, формулировать требования рабочей революции, противоположной революции буржуазной или, по крайней мере, от нее отличной (92). Кое-что Жорес сообщает и из истории выборов в Лионе в 1789 году.

Интересны далее страницы, посвященные промышленности в Дофине, где Жорес находит отношения, вполне, по его мнению, подтверждающие марксистское понимание истории, выводящее политические движения из движений экономических (96),—понимание, которое было предвосхищено еще Барнавом, изложившим свои взгляды на это в 1791 или 1792 году, хотя работа его была напечатана только в 1845 году. Нельзя не поблагодарить Жореса за то, что он извлек из забвения этот интересный документ (98 — 108).

Конечно, и сам Париж не мог быть забыт Жоресом в этом обзоре состояния французской промышленности перед революцией. Автор вспоминает роль Парижа в истории Франции,— роль города, то опережавшего всю страну (в XIV веке), то, наоборот, остававшегося позади ее (в XVI веке), т. е. большую часть расхолодившегося тогда с остальной Францией (108 — 111). Жорес думает, что только революция окончательно соединила Париж с провинциями. В этом городе буржуазия „вследствие своего экономического роста неудержимо прокладывала себе путь к революционным судьбам“ (112). Кроме высшей финансовой торговой и промышленной буржуазии, здесь была масса хозяев мелких мастерских с их наемными рабочими из предместья Сент-Антуан, а в предместье Сен-Марсо было множество того, что у немцев получило название *Lumpenproletariat*, т. е. всякой бедноты без постоянной работы (116). Жорес не раз подчеркивает, что начало революции положила не крайняя нищета как в деревнях, так и в городах, но уже некоторое улучшение быта (28). Так было и в Париже, где в Сент-Антуанском предместье мелкие патроны и рабочие уже начинали заражаться

духом непокорности, хотя, думает Жорес, разгром народом богатого торговца обоями Ревейльона за несколько дней до открытия Генеральных Штатов едва ли нужно объяснять, как начало антагонизма между буржуазией и пролетариатом. Этот эпизод, им, впрочем, тут же рассказанный, он считает „темной и, вероятно, неразрешимой загадкой“ (118). Описывая экономический рост парижской буржуазии, он, между прочим, отмечает строительную горячку, характеризующую время непосредственно перед революцией. Ему представляется, что чуть не весь Париж принадлежал буржуазии, скупившей множество дворянских отелей. А главное, это — то, что строились доходные дома, причем буржуазии очень хотелось устранить монастырские участки с их садами и пустырями, равно как забирать в свои руки некоторые городские учреждения, бывшие в заведывании духовенства (123 — 127). В общем, экономическая жизнь была гораздо более сложной, чем в других больших городах. Для Жореса буржуазия была настоящей госпожой положения в столице Франции: значение духовенства с его старыми аббатствами и дворянства с его старыми отелями было чем-то вроде островка, который уже готов был покрыться окружающими волнами (131). В первые годы революции буржуазия, благодаря своим громадным средствам, могла поддерживать производство предметов роскоши, которое дворяне стремились подорвать в контр-революционных целях, и тем удерживала рабочих на своей стороне (131). Это содействовало тому, что пролетариат шел в революции с буржуазией и за буржуазией: „пролетарское сознание было еще двойственным (ambiguë) и неопределенным, как и сам пролетариат“ (132), которому остаются еще неизвестными какие бы то ни было новые социальные идеи, уже проскакивавшие изредка в тогдашних брошюрах. Если бы даже, прибавляет Жорес, у рабочих и было некоторое классовое сознание, в собственных своих интересах они должны были бы идти с революционной буржуазией (136). Какую бы то ни было революционную инициативу у парижских рабочих 1789 года, особенно же какие-либо социалистические стремления (*le moindre commencement du socialisme*) он решительно отрицает, равно как какую бы то ни было роль тех обществ подмастерьев, которые уже зарождались (137 — 142). Рабочие были в Париже

„большой силой, но только в направлении буржуазной революции, в смешении с нею, даже в поглощении ею“. В отличие от Тэна, выдвигавшего на первый план бродяг и нищих, как главных участников революционных событий, Жорес самым положительным образом утверждает, что это была лишь поверхностная пена. Действовали рабочие, среди которых уже около четверти века развивались дух независимости и привычка размышлять: они читали, слушали и начали проникаться новыми учениями о правах человека и гражданина (143). Заканчивает эту главу Жорес указанием на то, как Сьейес в своей знаменитой брошюре объединил все элементы третьего сословия (144 — 146).

В первый раз в общий труд по истории революции во французской литературе был введен обильный материал экономического содержания, одинаково касающийся и буржуазии и пролетариата<sup>1)</sup>. Токвиль первый заговорил о дворянско-крестьянских отношениях, не коснувшись ни торгово-промышленного, ни рабочего класса, что потом мы видим и у Тэна. Правда, сам Жорес не производил в этой области самостоятельных исследований, но сделанным другими воспользовался достаточно полно, хотя и не достаточно углубившись в цеховые учреждения эпохи. Желая подтвердить формулу Маркса о буржуазном характере политических революций, он сосредоточил все внимание на росте буржуазии, не признав большего значения ни за крестьянскими волнениями, которые уже начинались, ни за выступлениями рабочих, которых и действительно не было. Аграрные отношения у него как-то ступевались перед индустриальными и совершенно напрасно, как это показывает сама же следующая глава о выборах и наказах.

Жорес обратил должное внимание на наказы, все значение которых так хорошо было понято Токвилем, но которые замечательно мало были исследованы Тэном, хотя, конечно, Жорес обвиняет Тэна неверно, будто он их совсем не читал (155). Сам он настоящим анализом их содержания не занимается, предпочитая приводить очень длинные подлинные тексты и только отмечая, что „вся революция заключалась

<sup>1)</sup> У нас еще раньше Жореса это сделал Максим Ковалевский в „Происхождении современной демократии“, о чем см. в III томе „Историков фр. рев.“

в наказах“, что на них сказался дух философии XVIII века, что в них был материал для будущей декларации прав, что парижские указы были удивительны и т. п. (160, 170 и др.). Как социалиста, его особенно заинтересовал вопрос о собственности в наказах. В этом вопросе, говорит он, „третье сословие наталкивалось на страшную трудность“. С одной стороны, защите собственности буржуазия придавала революционный характер, потому что дело шло об ограждении собственности от королевского произвола в деле взимания налогов и по отношению к возможному государственному банкротству, но, с другой стороны, та же буржуазия отнюдь не хотела уважать собственность дворянскую и церковную (158). Народу такая постановка вопроса была выгодна, ибо феодальная и церковная собственность с ее старыми формами „закрывала перед народом пути к будущему“, тогда как „при буржуазной демократии крестьянский и рабочий пролетариат мог наконец развиваться“ (175).

По поводу наказов Жорес касается и состояния сельского хозяйства во Франции, становясь на сторону тех, которые в данной области видят такой же экономический подъем, какой был в торговле и в промышленности (179—184), что приводит его к некоторым вопросам сельского быта, бывшим более уместными в первой главе. Речь здесь заходит именно, о „некотором столкновении стремлений“ между городской буржуазией, владевшей недвижимою собственностью в городах, и частью крестьянства, в котором тоже было разделение (186). Среди крестьян возникла своя буржуазия рядом с безземельным или малоземельным классом. Касается Жорес и некоторых дворянско-крестьянских отношений (200 и сл.), которым в первой главе как-будто и не хотел бы приписывать большого значения среди причин революции. Большие отделы отведены в этой главе вопросам об общинных сервитутах и угодьях (191—215), — в которых автор видит какой-то полукommунизм, — о развитии крупного фермерства (215—219), пролагавшего путь к капиталистической эксплуатации земли и т. п. Общее впечатление, произведенное крестьянскими наказами на Жореса, то, что крестьяне были не только против остатков феодализма, но и против вообще „паразитизма праздных собственников“, так что, говорит он, „в революции 1789 года уже бродит за-

кваска будущих революций“, но пока никакого формального и непосредственного вывода о более справедливом аграрном строе еще не делалось (227). Будучи не прочь пользоваться крестьянским недовольством в предстоявшей борьбе со старым порядком и с абсолютизмом, буржуазия, однако, побаивалась начинавшегося брожения в деревнях (227). Жорес даже находит, что крестьянская революция должна была отличаться особенно резким характером (230), хотя это как-то не вполне согласуется со всем сказанным в начале первой главы.

В истории Жореса мы не находим того, что прежние историки называли „прелиминариями“ революции. Свой рассказ он прямо начинает с 4 и 5 мая. В очень детальном рассказе о первых заседаниях Генеральных Штатов Жорес особенно много и очень сочувственно говорит о роли Мирабо, даже защищая его от сурового суждения о нем Мишле и толкуя его политику в смысле нежелания, чтобы король был в союзе с привилегированными против нации (243). Республиканец Жорес вообще относится беспристрастно к монархисту Мирабо, напрасно только передавая его знаменитый ответ церемониймейстеру в искаженной легендой форме (252). Излагая с большим сочувствием одну его речь, где было сказано, что нужно быть людьми, а не хищными зверями, Жорес восторгается этими словами, не даром, говорит он, произнесенными в начале революции, ибо, „несмотря на все, она была одна из самых гуманных и самых мягких“ (255). А всего через несколько страниц после этих слов Жоресу пришлось рассказать о зверском убийстве Фулона и Бертье. Не одно то, что называют „чернью“, радовалось этому убийству, замечает он, но и многие буржуа, унаследовавшие варварство старого режима в „негуманных часах буржуазной революции“ (266). Деятели пролетарской революции историк советует помнить, что жестокость—остаток рабства и варварства старого режима (267).

Рассказывая о летних событиях 1789 года, Жорес, то и дело, выдвигает, вперед совокупное большею частью движение буржуазии и крестьянства, за исключением сельского пролетариата, о выступлении которого на сцену нет даже никаких данных (275). В ночном заседании 4 августа он

не хочет видеть „великодушной импровизации сердца“: все было хладнокровно обдуманно и подготовлено, как очень умный (savant) политический акт (283). Самое значение того, что по отношению к феодализму было сделано заседанием 4 августа, он всячески умаляет: даже от безвозмездного уничтожения феодальных прав дворяне потеряли бы, по его мнению, очень мало, а тут еще, собственно, прямо и непосредственно ничего еще не было отменено (290). Вообще Жорес критикует социальную политику Учредительного Собрания. „Ах! восселицает он, в одном месте, как жаль, что в Собрании не было коммунистического оратора! Как бы он мог воспользоваться взаимными обвинениями, которые направляли друг против друга корпоративная собственность церкви и индивидуальная собственность праздного человека, дворянина или буржуа“ (294). Передавая прения в Собрании по вопросам, касающимся собственности, Жорес, то и дело, прикидывает к этим прениям партийную мерку. „А если бы, например, еще говорит он, социалист или коммунист потребовал слова от имени наемных рабочих и сказал бы“, и тут приводится то, что именно сказал бы сам Жорес, живи он ста с небольшим годами раньше (302). Передавая и разыгрывавшиеся события, он постоянно оценивает их с точки зрения занятой им самим политической позиции. Несколькими неделями позже 14 июля в самой буржуазии намечается более умеренное и более радикальное направления (320), что только содействовало усилению роли рабочих (324). В первый раз в общую историю революции внесено было здесь рассмотрение прений по вопросам, касающимся рабочего класса (329 и сл.).

По политическому вопросу, стоявшему перед Собранием, Жорес настаивает, что буржуазия нуждалась в сильной власти, чтобы окончательно сокрушить старый порядок и удержать движение народной силы в рамках буржуазного порядка (358), что веда себя король лояльно, он мог бы сделаться вышним арбитром буржуазных партий (338), что если бы удалась идея Мирабо,— которого он постоянно ставит очень высоко, как великого человека, как крупный ум, как горячего сторонника свободы (259) и настоящего народного трибуна, наибольшего демократа в Собрании,— идея королевской демократии, которая предохраняла бы Францию и от

буржуазной олигархии, и от военного деспотизма (360—362), могла бы осуществиться. План Мирабо кажется республиканцу и социалисту Жоресу более, чем какому-либо историку революции, довольно близким к возможности своего осуществления (*capable de balancer un moment la réalité*), и тогда не было бы, говорит он, „разрыва между новой Францией и вековой традицией“, революции незачем было бы прибегать к крайним и к насильственным средствам и к громадному военному напряжению, откуда возникла наполеоновская диктатура. План Мирабо предохранял Францию от цезаризма и от буржуазной олигархии и дал бы нации всеобщее избирательное право. Это, говорит Жорес, была бы „монархия в одно и то же время традиционная и новая, парламентарная и демократическая, которая упорядочила бы и поощрила бы сверху движение великого народа. Без сомнения, прибавляет он, она не насильствовала бы экономическую эволюцию. Она не могла бы помешать возникновению, в недрах промышленного общества, возрастающего антагонизма капитализма и пролетариата, но, приучившись уже в революционном дерзновении отделяться от препоп прошлого и сообразовать свое действие с действием новых сил, она могла бы склониться к рабочему классу и помогать его движению. Силы, растроченные Францией в периодических революциях и в громадных военных издержках, были бы целиком посвящены внутреннему развитию, непрерывному и мирному“. Такие перспективы открывала перед Францией гениальность Мирабо, но „кто знает, оговаривается Жорес, не была ли лучше для Франции и для мира, несмотря на все бури и все страдания, судьба революционной Франции, предначертанная ей историей“ (364). Мы видели, что и в другом месте Жорес гадательно рассматривает бывшую возможность перехода Франции к новой форме бытия без сильных потрясений, и, может быть, в данном предположении сказался и личный нрав историка, бывшего в политике до известной степени примирителем и соглашателем. И после всего этого Жорес сам же разбирает, почему такой „химический план не мог осуществиться, почему даже самая обширная и могучая гениальность“ одною своею силою была не в состоянии обуздать и упорядочить перепутавшиеся энергии революции на полном ее ходу (366—367). Или, восхваляя идею Мирабо, Жорес

хотел тем самым еще более оттенить то отсутствие политической определенности, которою, по его мнению, отличались все партии Учредительного Собрания (367 — 373), за исключением бывшего очень последовательным Робеспьера, отнюдь, однако, не являвшегося, подчеркивает Жорес, социалистом или коммунистом. Его единственной идеей было народовластие, а народом для него всегда была совокупность граждан, не имевших никакого интереса ограничивать власть народа или не давать ей полного хода, что для Жореса имеет значение как-бы первых ростков „классовой политики, столь же еще мало определенной, как и очертания самих классов“. В конце 1789 года и в начале 1790 г. Собрание было неспособно к радикальной политике, а якобинский клуб, исключительно буржуазный по своему составу, не мог оказывать на Собрание сильного и сколько-нибудь определенного влияния (374 — 375).

В главе об организационных законах Жорес прежде всего характеризует разделение граждан на активных и пассивных, как на „систему, занимающую середину между буржуазной олигархией и чистой демократией“, особенно подчеркивая при этом, что не только серьезно не ставился вопрос о всеобщем избирательном праве, но и вообще не раздавалось протестов против этой системы или, по крайней мере, не было хотя бы желанья узнать, сколько человек будет лишено политических прав. Да и сам народ оставался равнодушным (378 — 388). Если по поводу избирательного права и были большие споры, то лишь об условиях избираемости, ибо здесь затрогивались интересы некоторых разрядов самой буржуазии (388 — 396). Впрочем, сам Жорес находит „излишним и преждевременным приписывать тогдашней революционной демократии очень ясное классовое чувство против пролетариев“: она еще не боялась достаточно пролетариата, у которого не было собственного идеала и своей организации, чтобы систематически устранить его из права подачи голосов (396). Она, во-первых, просто остерегалась крайней бедноты, вполне, однако, доверяя и ремесленникам, и более зажиточным рабочим, и земельным крестьянам. Во-вторых, в крайней бедноте она видела очень удобную для дворян и для духовенства „избирательную клиентуру“, и в этом отношении, говорит историк, буржуазия была права, так



что не доверяла она темной толпе не только, как класс собственников, но и как класс революционный, боявшийся, как-бы „рабский пролетариат“ не повредил революции. Жорес прямо называет ошибочным приписывание буржуазии сознательного расчета против пролетариата вообще. У автора было еще третье соображение: последователи философии XVIII века не думали приобщать к делу наиболее невежественную часть народа. Призывая к урнам четыре миллиона избирателей, Собрание могло думать, что, действительно, оно призывало всю нацию. Если после 10 августа 1792 года установилось всеобщее избирательное право, то не потому, что его народ стал энергичнее требовать или чтобы к тому времени какая-либо экономическая эволюция изменила классовые соотношения: „это было результатом участия народа в событиях“ (396 — 399). Равным образом, говоря об административном устройстве, введенном Учредительным Собранием, Жорес исключает возможность классовых соображений у буржуазии.

Не становясь ни на точку зрения радикалов-автономистов, восхвалявших административную систему Учредительного Собрания, или централистов, обвинявших ее, как источник анархии, Жорес видит в ней проявления крайнего недоверия к королевской власти и, наоборот, величайшей веры в „естественное и мирное распространение революции“, видит также свидетельство того, что у буржуазии не было „никакого классового беспокойства по отношению к пролетариату“ (405). Даже вся конституция 1791 года доказывает Жоресу, что еще не родились тогда классовая борьба и даже классовое недоверие между буржуазной и пролетариатом (406). „Когда, замечает Жорес, говорят, что революция была буржуазной, нужно условиться в понимании этого. Она отнюдь не была произведена буржуазной олигархией; напротив, она была произведена против буржуазной олигархии, составлявшей часть старого порядка, и революционная буржуазия достаточно доверяла силе своего богатства, своего образования, духа своей предприимчивости, чтобы, не боясь, раствориться во всей массе третьего сословия“ (407). И еще раз Жорес повторяет, что деление граждан на активных и пассивных в эту эпоху было предосторожностью в пользу скорее самой революции, чем буржуазии. О том свидетель-

ствуют и прямые выборы в муниципальном строе (408), которому притом Жорес приписывает большие заслуги, опровергая точку зрения Тэна, видевшего здесь источник анархии. (406). О муниципальной жизни этой эпохи в труде вообще есть интересные данные по отношению к городам, о которых шла речь выше, причем везде, кроме Лиона, не было трений между буржуазией и рабочими, везде, наоборот, была большая солидарность, неоднократно подчеркивавшаяся историком (408 — 434).

Эту же солидарность находит Жорес и в деле распродажи национальных имуществ, отметив в одном месте, что покупщики их принадлежали к тем же социальным категориям, которые доставляли и административный персонал (426). Он подробно передает споры в Собрании о юридической стороне вопроса, сам находя, что, как-никак, шаг был революционный (440), причем подчеркивает проявившуюся во время прений ненависть к самому принципу корпоративной собственности и организации (452 — 453), — проявившуюся потом и в знаменитом законе Лешапелье, запрещавшем всякие корпорации: революция была одновременно „и индивидуалистичной, и этатистичной“. Жорес рассматривает и финансовую сторону операции, не внося в историю ассигнатов (457 — 472) ничего нового вплоть до той мысли, что их выпуск спас революцию. Важнее экономическая сторона: кто воспользовался продававшейся землей?

Это один из трудных и спорных вопросов экономической истории революции. Рассмотрению его Жорес посвящает около пятидесяти страниц (473 — 521), пользуясь имевшимися уже около 1900 года специальными работами, приводя конкретные примеры, иллюстрируя их цифровым материалом. По его мнению, если одно время верили, что революция дала крестьянам землю, то это была выдумка позднейшей буржуазии, желавшей уверить, что не одну ее революция обогатила (473). Он считает фактически ложным, что крестьяне приобрели наибольшую часть национальных имуществ, так как главными покупателями были буржуа, особенно городские. Равным образом, Жорес не признает, чтобы целью революции было увеличить число мелких собственников: на первом плане была забота об удовлетворении кредиторов государства (474 — 478), хотя, конечно, и о наделении зе-

млею бедняков говорилось и в Собрании, и в прессе. Эту последнюю идею с своей марксистской точки зрения, здесь проявляющейся во всей силе, историк называет реакционной, ибо осуществление ее увлекло бы в деревни массы пролетариев и тем замедлило бы экономическую эволюцию и уменьшило бы шансы социализма (480). Настаивая на том, что, главным образом, покупала буржуазия, Жорес, конечно, не отрицает и многочисленных покупок, делавшихся крестьянами, но пролетариат ни в каком случае, говорит он, не участвовал в этих покупках. Что касается следствий распродажи, то, с одной стороны, это было проникновение промышленного капитализма во враждебную ему область землевладения, с другой, оно сопровождалось сельско-хозяйственным прогрессом (520).

Большая глава (521—548) написана была Жоресом о гражданском устройстве духовенства, столь часто порицавшемся историками революции. Автор „Социалистической истории“ одобряет этот законодательный акт и полемизирует с его критиками, выдвигая вперед свою антихристианскую, прямо атеистическую позицию (533, 543, 545). Вводя церковь в рамки нового государственного строя, этот законодательный акт ее „лаицизировал“. Жорес находит вполне правильным, что, например, в избрании епископов участвовали все департаментские выборщики, каковы бы ни были их вера или неверие, т. е. рядом с католиками и протестантами, и евреями, и вольтерьянцами, и ни во что не верующие. „Это, говорит он, акт лаицизации более смелый, чем отделение церкви от государства, ибо в последнем случае лаицируется только государство, а гражданское устройство церкви лаицировало и самой церковь“, приравнивая духовенство к должностным лицам государства (530), хотя бы это и казалось несколько странным (533).

1790 год Жорес называет „наиболее органическим“ в истории революции, когда благосклонные и поверхностные наблюдатели могли думать о победе революции без препятствий и без насилий (549). Лучшим моментом тогда был праздник федерации. Главным, однако, вопросом было отношение к революции короля. Жорес думает, что если бы Людовик XVI последовал „гениальным“ советам Мирабо, Робеспьер остался бы в истории революции только доктрине-

ром демократии (557). В главе о партиях и классах в 1791 году много не относящегося прямо к ее заголовку (солдатские бунты, вопрос о колониях, о рабстве негров), существенное же заключается в следующем. Марат в 1791 году совершенно тщетно старался вызвать среди рабочих хоть сколько нибудь острое классовое чувство, сам видя в пролетариате большую силу, однако, вовсе не для того, чтобы произвести новую революцию на сей раз, а для защиты уже произведенной революции (575). Марат мечтал о народе, состоящем из пролетариата и мелкой буржуазии, но он был далек от какого бы то ни было коммунизма, даже мечтал о возвращении к самому мелкому производству и к чисто местному обмену (576), за что Жорес упрекает его в реакционности, передавая его социальные идеи (576-581)! Рабочий класс пока не шел за Маратом, как тот его за это ни бранил, ни называл обманутым или даже слугою контр-революции, натравливая его, впрочем, не против буржуазии, как класса, не против ее собственности, а против муниципальной администрации, будто бы заодно с двором изменявшей народу (582—583). Как и в большинстве аналогичных случаев, Жорес приводит здесь чуть не сплошными страницами выдержки из писаний Марата, отмечая в них всякие несуразности. По одному поводу он, например, восклицает: „но какую неопытность это изобличает в Марате и у пролетариев, начинавших к нему прислушиваться, и в каких потемках или, по крайней мере, в каких краях, соседних с полною ночью, вращалась тогда пролетарская мысль“ (587). Жорес считает прямо ошибочным принимать нападки Марата на богачей „за начало социализма“, как это стали делать некоторые писатели (588). Пусть даже Марат содействовал отделению пролетариата от буржуазии, но, по существу, его собственный идеал признаётся Жоресом за реакционный (593), поскольку Маратом проводился буржуазный индивидуализм и даже намек не было на принцип рабочей ассоциации (590), а аграрный его идеал сводился к развитию маленьких крестьянских хозяйств (594—595). Социальные идеи Марата Жорес прямо называет детскими и видит все их значение только в том, что часть пролетариата, в течение пяти лет, перейдет от них к идеям Бабефа (596).

Среди общих историков революции никто, кроме Жюреса, так много места (580—596) не посвятил идеям Марата, чтобы, в конце концов, объявить их не соответствовавшими ходу революции. Рабочих в 1791 году больше волновали непосредственные вопросы. Жюрес полагает, что теперь более, чем в 1789 году и 1790, начали думать о всеобщем избирательном праве (596). Начиная ставиться и вопрос о заработной плате, начинались конфликты между хозяевами и рабочими, особенно в строительных предприятиях (599), но, настаивает Жюрес, экономической депрессии не было еще ни в 1791, ни даже в 1792 году перед началом войны, так что, говорит он, „восстания 20 июня и 10 августа 1792 г. отнюдь не вышли из экономических бедствий народа“ (603). Из стачечного движения 1791 года, на нем, впрочем, не останавливаясь, он объясняет возникновение закона 14 июня 1791 года, запрещавшего всякие ассоциации (599, 605—606),—закона, который Маркс толковал, как сознательный шаг буржуазии к эксплуатации труда, даже признавая, что закон был направлен только против рабочих и лишь по внешности как будто имел в виду буржуазию. Жюрес решается в этом случае не согласиться с Марксом, находя, что антагонизм обоих классов еще резко не определился (606), но что за то была сильна индивидуалистическая идеология, не допускавшая между гражданином и государством никаких промежуточных группировок (608), в чем Жюрес более прав, чем Маркс. Сама демократическая пресса как-то не реагировала на этот закон. Интересная для историографии революции черта: не только Тьеру остался неизвестным этот закон, но и Луи Блан не подозревал его существования (616). Жюрес приводит не только закон, но и любопытные петиции парижских предпринимателей и рабочих (619—624), в связи с возникшей между ними экономической распрей, причем рабочие сами как-бы сомневаются, имеют ли они право коалиций и забастовок (624). Начавшееся в 1791 году рабочее движение, впрочем, не изменило политического направления, принятого революцией (629). Нельзя сказать при этом, чтобы Жюрес дал окончательную оценку всему этому эпизоду.

Последняя глава первого тома труда Жюреса носит название „Бегство в Варенн“, но в ней говорится и о многом

другом, начиная с раскола в духовенстве, вызванного гражданским устройством, и с контр-революционной агитации в части населения с привидением массы сырого материала (630—658), и кончая смертью Мирабо, единственного великого человека революции, материалиста и атеиста, мечтавшего вести революцию, руководя в одно и то же время королевскою властью и революцией (678—684). Как и в других главах, здесь много длинных выдержек из брошюр, статей, речей, причем на некоторых страницах мелькает имя Марата, мнения которого особенно интересуют Жореса. До попытки короля бежать республика во Франции никому и в голову не приходила (659), но теперь было не то, и к этому моменту Жорес приурочивает первое появление рабочих в клубах, где до того времени толпилась одна буржуазия (726).

В боине 17 июля 1791 года на Марсовом Поле Жорес в отличие от некоторых, писавших о ней, отнюдь не думает видеть „социального сражения между буржуазией и пролетариями“, хотя и признает, что богатая буржуазия была на стороне Национального Собрания, а рабочий народ сочувствовал петиции, составленной частью же буржуазии. Мало того, опять-таки вопреки довольно распространенному мнению, Жорес утверждает, что общественное мнение революционной Франции было против петиционеров, и что авторитет Собрания продолжал стоять высоко и в народе (732). Но уже умеренная часть революционной буржуазии стала чувствовать, что ее „ученая комбинация властей“, подкапывалась, с одной стороны, злою волею (*mauvais vouloir*) короля, с другой—демократическим движением (739). О самой конституции 1791 года Жорес того мнения, что она была достаточно гибкой, чтобы сделаться более демократической, но он отчасти немного ранее, чем то было на самом деле, начинает движение в пользу всеобщего избирательного права в парижских секциях (750).

Кончая историю Учредительного Собрания, Жорес признается, что чувствует некоторое смущение, почти угрызение совести, спрашивая себя, достаточно ли он отметил „заключющуюся в нем силу мысли, действие великого духа XVIII века, и сожалея, что не начал своего труда с изложения дела, совершенного Вольтером, Монтескье, Руссо, Дидро, Бюффо-

пом, оказавшими такое громадное влияние на революцию“ (752). Мнение членов Учредительного Собрания он находит более сложную и более обширную, нежели сделанное ими дело, потому что не всё они могли осуществить из вложенного в них названными писателями (754). Заканчивая этими замечаниями первый том, Жорес словно оправдывает отступление от марксистской точки зрения, как „не исчерпывающей реальности истории“, ибо, во первых, эта точка зрения, не объясняет не только индивидуальных различий, да и „сами классы, как таковые, не имеют исключительного классового сознания“ (755). „Разум века был прощитан человеческим правом, и никто не может различить в деле революции это великое влияние человечности с первыми расчетами классового духа... Внутренний дух революции не раз расстраивал экономическое отношение классов, как внутренний огонь земного шара, вырываясь, разрушает и смешивает лежащие один на другом пласты“ (756).

Главы второго тома, в котором продолжается нумерация страниц первого, называются: 1) от одного Собрания к другому и крестьянское движение. 2) Война или мир. 3) Выступление Жироуды. 4) Экономическое и социальное движение 1792 года и 5) Десятое августа. Одно Собрание оставило другому в наследие свое феодальное законодательство, в котором было столько неясного по вопросу о происхождении тех или других феодальных прав, или уничтожавшихся без выкупа, или подлежавших выкупу. Где, резонно спрашивает Жорес, было простым крестьянам справиться с вопросами, касающимися происхождения феодализма, относительно которого столь различны мнения Фюсгель-де-Куланжа и Вайца (768)? На деле Учредительное Собрание мало что оставило из обещаний 4 августа (771), и вот для самого спасения революции нужно было сделать крестьянам уступки (776—777). Юристы революции не боялись нарушить права собственности, но положение дел, особенно после объявления войны Австрии, властно требовало решения вопроса. Жорес думает, что крестьянское движение против феодального законодательства Учредительного Собрания было одною из причин перехода революционной власти от умеренных к демократам (791).

В деятельности Законодательного Собрания автор не видит ничего строго определенного, а в ее начале кое-что называет ребяческим (792). В нем не было веры в самого себя и какой бы то ни было последовательности, но вместе с тем много поверхностного, искусственного. Великий пацифист, каким был Жорес, убитый фанатиком национализма за свой пацифизм, считает затеянную Законодательным Собранием войну ненужной авантюрой, вызвавшей в стране грубые страсти, обанкротившей революцию, приведшей к цезаризму. Пусть она вызвала также героический патриотизм и священный энтузиазм, но в основе ее лежали интриги, шалости (*gougeries*) и ложь (795). „Жиронда, говорит Жорес, вела к ней Францию такими хитрыми уловками (*par tant d'artifice*), что мы не имеем права назвать войну неизбежною“ (796). Он пересматривает вопрос о происхождении войны своим обычным методом приведения документальных текстов целиком или в больших отрывках. „Ах, восклицает он, в одном месте, ах, если бы был жив Мирабо!“ а то, к несчастью, в Собрании не было ни одного человека, который, обладая священным пылом свободы, предостерег бы от военного лечения (814). „Совсем не бьющий через край энтузиазм к свободе, прибавляет Жорес, как повторяли столько раз, вызвал войну, наоборот, ее породило ослабление (*défaillance*) революции“ (816). Что революция, действительно, ослабевала, поручителем в том перед Жоресом снова выступает Марат, из произведений которого опять приводятся целые страницы (816—820). Для жирондистов, возбудивших войну, она была средством начать в стране новое революционное действие (824, 831, 837 и др.), ввиду именно замеченного ими утомления. Жорес прямо возражает Мишле, сказавшему, что революционный океан вышел из берегов и что жирондисты были на гребне его волн (837). Рассказывая, как готовилась кампания в пользу войны, Жорес в связи с этим говорит и о неприсяжных священниках и об эмигрантах, о королевском *vetu* по поводу декрета о них, как о материале для агитации. Он следит за тем, как „воинственная лихорадка“ начала действовать на неосторожный народ, который не мог „в дыму битв, окутавших уже его мозги, видеть будущую пропасть военного рабства“ (860). С очень большими подробностями и с массою цитат из ре-



чей и статей рассказывает Жорес о партийной борьбе по вопросу о войне, везде сопоставляя двух главных противников: Бриссо и Робеспьера (891, 895 и др.), в антагонизме которых он видит начало конфликта между Жирондой и Горю, того конфликта, где „жирондисты выступили легкомысленными клеветниками, а Робеспьер клеветником глубоким“. Но Робеспьер в своей оппозиции войне в Собрании был одинок (906).

В главе о „войне или мире“, в этом томе особенно много обычных длиннот и повторений, показывающих, как автора через сто с лишним лет занимал и даже волновал этот вопрос, пока он висел еще в воздухе. Глава о жирондистском министерстве, важнейшим актом которого было объявление войны, много короче. Между прочим, здесь мы читаем такие слова: „так как мы тяжело страдаем от этого уклонения революции с ее прямого пути, мы строги и даже, может быть, слишком, к этой неосторожной и смутьянской (brouillon) Жиронде, которая предвзято направила к войне бывшие еще неопределенными события. Она отняла у нас утешение знать с достоверностью, что война была неизбежна. Но человечество ей простит во имя высокого идеала свободы и мира, которому она хотела служить воинственными средствами“ (955).

Прежде чем продолжать рассказ о событиях 1792 года после объявления войны, Жорес дает нам большую, более чем в двести страниц (958—1162), главу по экономической и социальной истории в эпоху Законодательного Собрания. Первый предмет в ней, это — восстание черных рабов в Сан-Доминго и отношение к нему Собрания, поставленного в странное положение по отношению к декларации прав и к существованию рабства в колониях (961, 966, 968 и др.) К тактике жирондистов в этом вопросе он относится благосклонно (976 и сл.). На внутренней истории Франции колониальные затруднения отразились вздорожанием сахара и разграблением в Париже магазинов и лавок, причем вообще обострился продовольственный вопрос и началось движение в секциях против барышников (996—997), но в петициях по этому поводу прямо речь о таксации продуктов еще не заходила, хотя составители петиций и стали уже на дорогу, приведшую к закону о максимуме (999).

На сей раз народное движение направляется не против дворян, а против революционной буржуазии, крупных покупателей национальных имуществ. В парде уже зарождаются стремления не против самой собственности, а против злоупотреблений ею, которые должны были бы быть устранены решительным вмешательством и силою закона (1004).

Торговая буржуазия была очень напугана эгим движением (1095). В Законодательном Собрании жирондисты выступили сторонниками свободной торговли, хотя и не indifferentные к бедствиям народа, но убежденные, что общее богатство нации отразится и на рабочих (1011). Во время этого сахарного кризиса не только проявился конфликт буржуазии и пролетариата, но уже наметилось и будущее „расхождение между жирондистской группой и рабочим народом“ (1012). Сами рабочие недовольны были теперь не промышленными предпринимателями, а торговой буржуазией, которая имела против себя не только народную массу, но и другую часть буржуазии (1016). Жюрес собрал много сырого материала по этому вопросу, как и по вопросу о положении финансов и об ассигнатах в 1792 году, о внутреннем производстве, о внешней торговле. Главное здесь, однако, в том, что в парде все более и более возросло враждебное чувство к барышникам, спекулянтам, агитерам, банкирам (1040); с обеих сторон росли недоверие и озлобление (1043). Жюрес приводит целиком одно письмо парижского мэра Петипона к жирондисту Бюзо (1043 — 1045), в котором действительно вопрос о социальном антагонизме обоих классов был поставлен со всею возможной определенностью. Петипон изывал к единению, а люди старого режима разжигали вражду в своих памфлетах (1047). Жюрес слышит биение пульса народной жизни в листке Эбера, как ни противен ему „сквернословный стиль“ этого листка (1050), — и снова делает выдержки из писаний Марата. Эберу он даже приписывает большое значение в подготовке народной массы к восприятию республиканской идеи (1056). Но мало этого. В пропаганде Эбером необходимости вешать купцов он уже видит начало „режима террора в применении к экономическим вещам“ (1059). Продовольственный вопрос играл такую же роль не в одном Париже, но и в провинции. Автор останавливается на всем этом очень подробно, но сильно расходится

с Тэвом, которого упрекает за „противную и ненаучную привычку группировать факты, взятые из разных эпох“ (1062) или за „единственную заботу нагромождать детали устрашающей и детской живописности“ (1069). Из массы известий, собранных Жоресом, особенно важны те, которые свидетельствуют, что еще 1792 году крестьяне уже самовольно действовали в духе изданного только в 1793 году закона о максимуме (1077). Интересны и попытки представителей старого порядка задугивать революционную буржуазию для того, чтобы привлечь ее на свою сторону, попытки, бывшие совершенно безуспешными (1092 и сл.). Наконец, имеют интерес и страницы о зарождении идеи аграрного закона (1096 и сл.), о мерах борьбы с нищетой (1110 и сл.), о планах распространения образования в народных массах (1116 и сл.) и пр. со множеством длинных текстов, имеющих вид сырого материала, и размышлений автора, имеющих характер чисто публицистического обесуждения проблем, а не исторического исследования фактов.

Последний отдел тома о времени Законодательного Собрания, озаглавленный „Десятое августа“ и занимающий около полутора ста страниц (1183 — 1316), начинается с рассмотрения истории жирондистского министерства, причем выдвинуты вперед опять пререкания Бриссо и Робеспьера, жирондистов и якобинцев и отношение к обеим партиям Дантона. „Главною заботою жирондистов, говорят Жорес, было отнюдь не поощрять контр-революцию, а обеспечить революцию за собою (de s'assurer la conduite de la révolution), хотя он и соглашается, что эта эгоистическая мысль могла сделаться контр-революционной. Вместе с этим он находит неверным и взгляд Олара, ипущего глубокой, существенной причиной вражды обеих партий в антагонизме провинций и Парижа, тем более, что в 1792 году Марат, свидетельствами которого так часто Жорес пользуется, оголаживал под названием изменников народу как-раз депутатов Жиронды и Парижа (1173). Вообще он находит, что в 1792 году инстинкт народа был на стороне жирондистов (1181). Кроме политики обеих партий, историк следит и за тем, что происходило в парижских секциях (1204 и сл.). К сожалению, все его изложение, то и дело, прерывается длинными выписками из речей, из газетных статей, из раз-

ных постановлений, среди которых совершенно затериваются основная нить его изложения и коротенькие замечания, содержащие в себе общие выводы касательно взаимных отношений, как обоих революционных классов, так и обеих партий. Жорес только коротко отмечает, что нападение народа на королевский дворец 20 июня напугало парижскую буржуазию и привело ее в лежачее положение, а провинциальную буржуазию даже настроило против Парижа очень недоверчиво, и высказывает удивление (*se qui me frappe*), что эти неприязненные чувства преобладали не только в департаментских директориях, но и в муниципалитетах (1212). В поводах выражать удивление при изложении хаотических событий лета 1792 года недостатка не было. Вообще, более, чем какой-либо другой историк, следя за литературною деятельностью Марата в связи с событиями, он находит, например, странным, что Марата совсем не слушали, когда он советовал захватить короля и его семейство, как заложников. „Казалось,“ говорит он, что в момент, когда общая страстность достигла той же степени, как и у Марата, он должен был бы оказывать сильное действие, но как-раз этого-то не было“ (1242). Многие в рассказе Жореса выдвинуто вперед такое, что у других историков было обойдено молчанием или затушевано, как это можно сказать о требовании Робеспьером созыва Конвента, когда он еще не помышлял и низвержении монархии, чувствуя более ненависти к Законодательному Собранию и к жирондистам, чем к Людовику XVI, и даже думая тогда, что как можно менее нужно было бы изменять конституцию (1254 — 1259). В решении дела, однако, замечает Жорес, сыграли роль не жирондисты и не Робеспьер, а „революционный инстинкт народа и революционный смысл Дантова“ (1260). О последнем, по поводу его роли в движении, подготовившем низвержение монархии, он отзывается с восторгом: об этом „удивительном юристе революционной смелости“, об „отважном легисте“, требовавшем „политического равенства всех граждан не во имя бедных, а во имя отечества“ (1262).

На 8 страницах о подготовке события 10 августа Жорес говорит, что для полного понимания „великого народного движения, развившегося в июле и августе 1792 года, нужно было бы проследить изо дня в день, в эти драматические

недели кипучую, бурную жизнь сорока восьми парижских секций" (1267). Мы можем сказать теперь, что это законное желание историка исполнено как нельзя обстоятельнее другим историком, Брешем, в его огромной книге „Коммуна 10 августа 1792 года“<sup>1)</sup>. Жорес прямо утверждает, что десятое августа приготавлилось еще до манифеста герцога Брауншвейгского, которому обыкновенно приписывают решающую роль в событии (1273). Действительно, парижские секции открыто готовились к восстанию<sup>2)</sup>, и Жорес хорошо сделал, обративши внимание на этот предмет. Он упрекает Луи Блана за то, что тот очень мало говорит о роли секций перед 10 августа, и даже у Мишле, по его мнению, эта роль остается в полутени, что заставляет его самого еще раз выразить пожелание относительно лучшего исторического освещения данной роли. Он прямо указывает на долг, в этом случае, особенно социалистических историков перед „этими неизвестными людьми, смелость которых спасла отечество“ (1277).

В участии парижских пролетариев в событии 10 августа Жорес не видит ни малейших признаков чисто классового выступления. Идя на бой вместе с наиболее смелой частью буржуазии, они „не предъявляли никаких экономических требований“, а желали только „полной политической свободы, полной демократии“, хотя „в них было темное социальное предчувствие“. Другими словами, „подняло пролетариат не прямое и непосредственное классовое чувство“ (1286—1287). В числе следствий 10 августа Жорес указывает на окончательную отмену каких бы то ни было феодальных прав, о чем упоминают далеко не все историки революции (1300—1304).

Подводя итоги под деятельностью Законодательного Собрания, Жорес выражает свое несогласие с мнением, объяснявшим его недостатки неопытностью его членов, их неподготовленностью вследствие того, что это были новички, раз ни один из членов первого Собрания не мог быть выбран во второе: у них могло не быть опытности профессиональной, но была опытность политическая (1311). Беда была в другом:

<sup>1)</sup> См. ниже, стр. 294.

<sup>2)</sup> В числе секций Жорес называет „celle des filles Saint Thomas“ (1273), каковой не существовало. Был такой дистрикт в дореволюционном Париже.

правящие классы революции были монархическими, а монарх упорно изменял революции: „И, продолжает Жорес, был очень строг к тем, которые в своем терпении и своем тщеславии не нашли другого средства обнаружить королевскую измену, кроме войны. И я об этом совсем не жалею, ибо не доказано, что осторожная, твердая и терпеливая политика не заставляла бы короля раскрыть свои карты и без страшной опасности внешней войны“. Но он тут же „спешит сказать, что нетерпеливость жирондистов и их иллюзии объясняются многими причинами“ (1312), — прием, довольно обычный у Жореса, любящего оговорки и смягчения в своих суждениях, примеры чего мы уже видели. Указывая на то, что жирондисты ошиблись относительно настроения народов, приписывая им бо́льшую, чем оказалось на деле, расположенность к революции, что они недостаточно приняли в расчет силу сопротивления предрассудков и привычек, равно как национальных тщеславий, Жорес тем не менее сейчас же прибавляет: „но, несмотря на все, после ряда отсрочек и попыток, все-таки их надежда оказалась права. Французская революция сделалась наконец революцией европейской: мысль жирондистов не искажала хода вещей, она его только резко подгоняла (brusquait). И, может быть, это участие иллюзии было необходимо для великой Франции великодушной, смелой и одинокой. По крайней мере, продолжает он, несмотря на свои ошибки, жирондисты сумели в этом периоде, сообщить стране высокий энтузиазм, который ослаблял опасность“. И против короля Жорес находит их политику решавшею вопрос: „как только выяснилась война с Европой, выяснилась и королевская измена... Последние колебания Жиронды не должны мешать нам признать, что это именно она вызвала события“ (1314). Опять характерный пример оговорки, до последней степени смягчающей произнесенный ранее приговор.

Во втором томе „Histoire Socialite“ Жорес не кончает истории Законодательного Собрания, правильно относя политическую борьбу в августе и сентябре 1792 года „более к будущей жизни Конвента, нежели к умирающей жизни Законодательного Собрания“ (1316).

В своем месте уже было сказано, что историю Конвента в „Социалистической истории“ должен был написать Гэд, который был остановлен в своей работе продолжительной

болезнью, как об этом заявил сам Жорес на последней странице второго тома. Была ли это настоящая причина или только повод отказаться от работы, по случаю ли малой к ней подготовленности, или вследствие возникшего между обоими лидерами французского социализма конфликта, сказать трудно, но результат получился тот, что два больших тома о Конвенте были написаны тем же автором, который дал и первые два тома. В обоих рассмотренных томах более тысячи трехсот страниц, правда, заполненных нередко иллюстрациями, а в двух последних томах труда Жореса тысяча восемьсот двадцать четыре страницы <sup>1)</sup>, причем, конечно, общий его характер не изменился. Из этих двух томов первый заключает в себе историю событий за четыре последние месяца 1792 года и большой (стр. 442 — 854), очень интересный этюд под заглавием „Революция и политические и социальные идеи в Европе“ <sup>2)</sup>. Во втором томе „Конвента“ две части, озаглавленные „Смерть короля и падение Жиронды“ и „Социальные идеи Конвента и революционное правительство“.

Можно себе представить, с какими подробностями, с какою массою выдержек из источников и с каким количеством авторских суждений ведется изложение действий Коммуны, выборов в Конвент и первых партийных стычек еще до открытия заседаний Конвента. К этому времени Жорес отпосыл начало теснения революцией свободы печати, которую она до того тщательно защищала (10), и первые шаги Коммуны против свободы культа, хотя еще и несмелые (11 — 15), несмотря на влияние Робеспьера, относившегося к этому неодобрительно; Робеспьера он даже называет „настоящим мэром Парижа“ (16). Продолжение личного соперничества Робеспьера с Бриссо тоже отмечается автором (22). Кстати, Жорес здесь возлагает на Робеспьера ответственность за то, что, при всем своем влиянии, он из-за эгоистических соображений осторожно уклоняется от такой

<sup>1)</sup> В обоих томах, как и в первых двух, общая нумерация. В I томе „Конвента“ 1 — 854, во II-ом томе 855 — 1824.

<sup>2)</sup> Здесь речь идет о следующих лицах: в Германии и Швейцарии Юстус Мезер, Клошток, Форстер, Шиллер, Базедов, Песталоцци, Лессинг, Кант, Гердер, Виланд, Фихте, в Англии — Адам Смит, Патт, Берк, Маквинтон, Томас Пэн, Коувер, Уордсворт, Роберт Бернс, Фокс, Годвин (в общей сложности более двадцати человек). Самый подзаголовок III тома „Histoire Socialiste“ двойной: „La République. — Les idées politiques et sociales de l'Europe“. Есть в русском переводе (1907).

линии поведения, которая предупредила бы сентябрьские убийства, вызванные проповедью Марата (27 — 28). Гораздо выше этих обоих людей он ставит в данных обстоятельствах Дантона (44). Видя в сентябрьских убийствах „затемнение разума и человечности“ (51), Жорес признается, что находился в крайнем затруднении разобраться с достоверностью, какими мотивами руководствовались в эти дни отдельные деятели революции (52), и многое высказывает только предположительно (см. напр., на стр. 54 такие выражения, как: *qui sait, peut-être, j'imagine*).

Во всяком случае, поведение Робеспьера, начавшего тогда кампанию против жирондистов, Жорес не одобряет (70 и сл., 104). Говоря о партийной борьбе в Париже, он считает особенно нужным подчеркнуть, что отголоски ее еще до провинций не доходили (94, 99). В самом Париже историк очень следит за деятельностью секций, что впрочем, после „Истории террора“ Мортимера-Терно не представляло никакого труда. Однако, он не разделяет взгляда жирондистов на результаты выборов в Конвент, как вызванные террористическими мерами (105). Во время выборов, подчеркивает еще Жорес, не поднималось никаких теоретических вопросов о форме правления, о собственности и т. п. У ремесленников и рабочих не было никакого идеала, который они могли бы противопоставить „индивидуальной буржуазной собственности, освобожденной и возвеличенной (*glorifiée*) революцией“, да и нигде пролетариат не играл особенной роли на выборах; ни одного слова, сколько-нибудь сильного, произнесенного тогда рабочим или крестьянином до нас не дошло. Выбран был в Конвент только один пролетарий, имя которого историк даже не сразу называет (109 — 110, 113).

В виду той особой важности, какую для Жореса имеют классовые отношения революции, следует отметить его соображения о том, почему в сентябре 1792 года наемные рабочие, пролетарии „не были призваны играть первые роли“. Он думает, что это произошло не из презрения или недоверия к ним, а потому что у них не было иных каких-либо интересов вне революции: зачем было бы устранять людей, уже проявивших свою преданность революции? Притом „политический персонал не может быть делом импровизации“, и сила революции в 1792 году была все-таки в буржуазии



и только в буржуазии. „Но, оговаривается Жорес, это не была, если я могу сказать, буржуазия классовая в резкой оппозиции пролетариату... Хозяйский элемент (le patronat) в Конвенте был представлен мало“ (111). Он перебирает, кто были депутаты из наиболее промышленных местностей, чтобы, то и дело, отмечать отсутствие фабрикантов и негоциантов (112). И единственный член Конвента из рабочих, оружейник из Сент-Этьена, Поэнт, о котором даны и кое-какие биографические сведения, не противопоставлял рабочих буржуазии (113—115). „Ни буржуазия, ни само буржуазное общество, говорит Жорес, не составляют непроницаемого блока. Слово буржуазия обозначает класс, не только сложный и смешанный, но и изменчивый и подвижной. У революционных буржуа Конвента и цензовых буржуа Людовика-Филиппа, конечно, было много общих идей и интересов... И все-таки у них были разные идеалы, разная душа“. В Конвенте преобладали юристы (les légistes) которые, не нарушая римского принципа частной собственности, были, однако, способны требовать от владеющих классов широких жертв во имя революции, ради народа. „И если революция, читаем мы далее, послала и в Конституанту, и в Легистативу, и в Конвент лишь самое незначительное количество людей промышленности и торговли, то не только потому, что они не могли легко оставить свои дела или не обладали даром слова, а потому, что инстинктивно революция не хотела отметить свое великое дело знаком слишком узкого класса“ (115). Эта фраза: „революция инстинктивно не хотела“ — довольно частый у Жореса (да и у других историков революции) оборот речи, как будто Революция (у Жореса всегда с большой буквы) была каким-то существом сознательным и обладающим волею. По указанным соображениям, он даже говорит, что конвентские легисты „заключали в себе всю нацию целиком, во всех ее состояниях, всю революционную демократию“. Если даже в это время принцип собственности усиленно защищался, то это делалось не только в виду грабителей, но и в качестве ответа на ядовитые инсинуации контр-революционеров, везде проповедовавших, что логическим и неизбежным следствием революции может быть только аграрный закон (116). Поползновения на чужую собственность были часты, и вмешательство закона было необходимо.

„Страшная альтернатива революции, восклицает Жорес, которая была обязана то, как 14 июля и 10 августа, спасать себя стихийным восстанием народной силы, то сдерживать ее и отгонять дисциплиною закона“ (118).

В тесной связи с вопросом о классовых проявлениях революции, Жорес очень много занимается вопросом о том, как теоретически решалась проблема собственности отдельными людьми революции (134—152). Всплывал аграрный закон, начавший беспокоить собственников (146), особенно под влиянием контр-революционных застрачиваний (147), но еще сам в неясной, совершенно туманной постановке, бывшей в руках партий более полемическим средством, чем серьезною мыслью (151, 327 и сл.).

По поводу постановления Конвентом, с самого же начала его заседаний, всякой собственности под охрану нации Жорес выражает несогласие с теми социалистами, которые вывели отсюда заключение, неблагоприятное для Конвента. Последний, по его пониманию дела, не мог бы провозгласить коммунистического и пролетарского идеала, пока не было на лицо его экономических и умственных предпосылок, и в это время, кроме того, говорит он, всякая угроза собственности была реакционной, поскольку могла быть полезной врагам революции без каких бы то ни было последствий для нового строя (174). Это место также очень характерно для метода Жореса постоянно прикидывать к отдельным явлениям мерку своего партийного миросозерцания для их оправдания или осуждения. Да ведь, прежде всего, вопрос о том, почему Конвент не отменил частной собственности, решается просто одним тем, что в нем не было ни одного коммуниста, да и быть не могло. Вопрос, таким, образом, был совершенно праздный, как и известный нам вопрос другого историка-республиканца, как бы удивлявшегося, почему Учредительное Собрание не перешло прямо к республике <sup>1)</sup>.

Жореса никогда не оставляет мысль о том, что он должен не только объяснять, но и судить, а также поучать, очень часто прямо указывая на то или другое, как на урок. Так, намерение Конвента оказать военную помощь народам, которые восстанут против своих правительств, он осуждает

<sup>1)</sup> См. т. I, стран. 261; ср. выше, стр. 43.

с той точки зрения, что как это можно было бы сделать, не отдавая дело свободы в руки генералов (210), ибо „увь!“ сила даже на службе свободы родит только и размножает силу. Великий урок для нас! восклицает он. Социалистический пролетариат избегнет яростного рецидива (recrudescence) войны и тирании только в том случае, если каждый народ постепенно будет осуществлять мирным и автономным движением дело справедливости, и если сумеет избежать гибельного столкновения наций“ (211).

В главе о „трудностях положения и о раздорах“, занимающей более двухсот страниц (215—441) Жоресом собран большой сырой материал о контр-революционных заговорах и о религиозной агитации, об экономическом и финансовом положении, о борьбе из-за заработной платы, о требовании таксации продуктов и о несогласии партий по этим вопросам. Отстаивая попрежнему гражданское устройство духовенства (228), он в числе причин анти-революционной агитации духовенства указывает на антикатолические мероприятия Парижской Коммуны (222 и сл.). Между прочим, Жорес подчеркивает, что „как-раз люди десятого августа“ хотели, чтобы случилась почная месса в первый день Рождества, которую Коммуна вздумала запретить, „так что, прибавляет историк, стихийные восстания народа предместий против мероприятий Коммуны должны были особенно ободрить тайные надежды клира“ (225). Подлило масло в огонь еще возникшее-было предположение уничтожить бюджет культов (230). По поводу этого вопроса Жорес еще в новый раз из историка превращается в публициста, излагая свои теоретические взгляды и как-бы сам участвуя в полемике, вызванной этим вопросом и очень подробно им изложенной, оспаривая в то же время и взгляды некоторых историков. Впрочем, мотивы, заставившие якобинцев удержать бюджет культов, „с исторической точки зрения и в данную минуту“ (historiquement et à leur date) он называет сильными, прибавляя, что они не вытекали из классовых расчетов: „революционная буржуазия, говорит он, еще не думала, как делали впоследствии многие ее потомки, поддерживать искусственно и при помощи государства религию власти, советчицу смирения для пролетариата. Видимо, наоборот, великие революционные буржуа 1792 года страдают от могущественных предрассудков страны, от ее привязан-

ности к религиозному преданию. Они хотели бы освободить ее от предрассудков, от верований, поднять ее до философии и разума. Они обрекают себя на осторожное отношение к культуре, соглашаются оставить ему место в государстве, чтобы не повредить самой революции, которой угрожал народный фанатизм" (240 — 241). Говоря об отношении Робеспьера к этому вопросу, Жорес отмечает, что уже Кондорсе видел в Робеспьере что-то священническое и сектантское (247 — 248).

На страницах, отведенных рассмотрению экономического положения в 1792 году, Жорес отмечает, что только в Лионе, который он, как мы видели <sup>1)</sup>, выделяет из других городов Франции, уже начинался промышленный кризис (263) первый тревожный сигнал грядущего бедствия с самого начала революции (264), тогда как в других городах кризиса не было. Это было явлением чисто местным, но нящета и безработица зато расчищали здесь дорогу для контр-революции (270). Другое дело — постоянный рост цен на предметы первой необходимости. Жорес не хочет видеть, вместе с „историями тэновской моды“ причину этого в общем недоверии и в анархии, а просто каждый департамент, каждый дистрикт, каждый кантон боялся выпустить хлеб из своих пределов, что создавало страшное неравенство цен (283 — 284), и к чему примешивалось падение стоимости ассигнатов, военные закупки и т. п. (294 и сл.). Интересны страницы и о борьбе за повышение заработной платы: на закон, запрещающий коалиции, не обращалось никакого внимания (314 — 315), и именно в это время народ начинает противопоставлять себя, как класс, уже не привилегированным, а меньшинству из капиталистов, крупных землевладельцев буржуазного происхождения и зажиточным фермерам (319 и сл.). Попутно Жорес излагает первые, зарождавшиеся тогда социалистические и коммунистические идеи (324 — 346), усматривая в проповеди некоего Л'Анжа, действовавшего в Лионе, первые зародыши будущего фурьеризма. Рассказывается подробно и борьба из-за закона о максимуме, идея которого была популярна в народных массах (347 — 368).

<sup>1)</sup> См. выше, стр. 232.

Закапчивается первая половина III тома труда Жореса описанием партийных схваток осени и начала зимы 1792 года, ответственность за которые он возлагает на жирондистов (368 и сл.). Марат опять является здесь в центре внимания автора, выписывающего длинные отрывки из произведений „друга народа“, равно как выдвигается им и Эбер, из „Отца Дюшена“ которого точно так же приводятся длиннейшие выдержки. Эта часть первого тома о Конвенте производит впечатление особенно малой обработки сырого материала. Быть может, основной недостаток всего труда Жореса, чисто механическое соединение документального сырья и пересказов некоторого количества пособий, отличает именно оба тома о Конвенте, которые автору, по-видимому, пришлось писать наспех. Основное, существенное и второстепенное, случайное, важное и неважное, характерное и мало интересное так переплетаются в изложении Жореса, что иногда в нем можно, как следует, разобраться только с особым напряжением внимания. Это касается и некоторых частей IV тома.

Рассказу о процессе короля Жорес посвящает более ста страниц (855 — 964). Он находит, что судившие его представляли себе неверно фактические отношения, существовавшие между Людовиком XVI и его братьями, эмигрантами и иностранными государями, да и явных доказательств того, что было на самом деле, не было (868 — 870). Говоря о борьбе, завязавшейся по этому вопросу между деятелями революции, он прямо иногда употребляет слово интрига (877), причем поведение жирондистов называет неясным, прямо темным, противоречивым (864), и если, думает Жорес, жирондисты замыслили акт милосердия по отношению к голове короля, то лишь, чтобы вернее валить головы своих противников (867 — 868). Он не пропускает, кажется, ни одного из тех мнений, которые высказывались в Конвенте и в печати (между прочим и Маратом) о суде над Людовиком XVI, оставляя их часто без своего комментария. Величайшим, может быть, преступлением Людовика он считает то, что „он не понял Мирабо“. За это-то „преступление ума и сердца“, за преступление посредственности и малодушия (*bassesse*) бывший король и расплачивался. Именно, „потому, что он отказался разделить мысль

великого человека, пытавшегося привести к гармонии (harmoniser) революцию и обновленную королевскую власть, он и предстал перед Конвентом без всякой идеи". А сколько вещей, по мнению Жореса, он мог бы сказать своим судьям, если бы применить к процессу „великую политическую философию, оставленную ему в наследство Мирабо“ (883). На нескольких страницах (883 — 888) наш историк пишет речь, которую мог бы сказать Людовик XVI перед Конвентом в свою защиту, если бы он усвоил точку зрения Мирабо. В борьбе между якобинцами и жирондистами по вопросу об апелляции к народу он стоит на стороне первых: „никогда, говорит он, революция не находилась в такой опасности, ибо если бы была вотирована эта апелляция, революционная Франция погибла бы“ (891). Вообще Жорес постоянно имеет что-либо сказать против этой партии, а потому победа жирондистов, по его представлению, была бы гибелью революции. „Если бы вдруг, говорит он, в жизненном вопросе, имевшем такое значение для революции, первичным собраниям пришлось решать дело, главной силой сделалась бы департаментская Франция. Парижские секции сразу лишились бы особого влияния, какое им давало центральное положение. И тогда, каково бы ни было решение первичных собраний, торжествовали бы жирондисты“ (906 — 907).

Для этой партии, думает Жорес, дело было не в окончательном приговоре, а в том способе, каким он был бы получен, в перенесении политического влияния в департаменты, и в этом была вся их политика (907 — 908). Приводя одну речь Робеспьера против жирондистского проекта, он сопровождает ее таким замечанием: „когда я читаю и перечитываю эту речь, я различаю в себе некоторое раздражение и восхищение, хоть и не без примеси неудовольствия“ (malaise). Именно, ему в высшей степени нравится, что он оратор так верно судил и так сильно говорил, а неприятное чувство вызвалось внесением в речь слишком личного элемента (911). Кроме речи Робеспьера, он восхваляет речь Барера, „лучше других разрушившего софизмы о королевской неприкосновенности“ и нашедшего „новый и остроумный аргумент“ против апелляции к народу (916). Жорес здесь пишет историю так, как будто ему самому приходилось пода-

вать свой голос. Он считает грубой выдумкой <sup>1)</sup> давление толпы на членов Конвента при голосовании: у Конвента было слишком много коллективной гордости, чтобы это допустить (939) и если вообще кого-либо убивали из членов Конвента, то Лепелетье де-Сен-Фаржо и Марата, а убийцами были контр-революционеры (942).

Смертный приговор Людовика XVI Жорес называет „справедливым не только с революционной точки зрения, но и с точки зрения Людовика XVI (sic), который принимая конституцию, где было написано народное верховенство, тем самым признал новое право. Поэтому, говорит он, если все деятели и вдохновители печальных сентябрьских убийств в то или другое время от них отрекались, наиболее знаменитые цареубийцы с непреклонной гордостью брали на себя ответственность перед народами и веками за свой приговор. Но, спрашивает Жорес дальше, верно ли, что создавая легенду, возбуждая сострадание, члены Конвента сыграли в руку монархии, которую хотели навсегда отменить, и нанесли рану революции, которую думали спасти? Таково мнение Клязэ, как и Луи Блана, и когда Мишле говорит, что эти акты должны быть судимы меньше по их плодам, чем по мужественной мысли, их диктовавшей, он признаёт, что в его уме примешивается сомнение к его глубокому почтанию великих революционеров, которые с беспечностью приговаривали к смерти потому, что были выше ее“. Но, прибавляет Жорес, надежда их была обманута: „они могли думать, что солидарность в этом страшном приговоре, по крайней мере, создаст между всеми цареубийцами неразрывное братство, а они будут раздирать друг друга и, как будто не признавая революционного знака, каким каждого из них отделила кровь короля, они будут клеветать друг на друга и будут друг друга посылать на эшафот, куда все вместе они отправили самого короля“ (961). Но, с другой стороны, для Жореса это все-таки непоправимый удар, нанесенный самой же монархии (962).

<sup>1)</sup> Отмечу еще фактическую поправку, сделанную Жоресом у других историков революции: Ламартин говорит, что Дантон участвовал в первом голосовании, но тот как раз отсутствовал, а сделавший такую же ошибку Мишле неправильно прочитал Д а н т о н, вместо Дантон (922 и сл.).

Жорес указывает еще на одно следствие процесса короля: он доставил страшный аргумент против жирондистов, как людей, „хотевших сласти тирана“. Неопределенное желание покончить с жирондистами уже начало проявляться (999). Сила теперь была в секциях и федератах, среди которых все более и более развивалось враждебное отношение к Жиронде (1000) и все более усиливалось намерение деятельно предъявлять свою волю самому Конвенту (1001). Это секционное движение Жорес рассматривает подробно (999 — 1076). Что более всего его в нем поражает, это — господство экономических вопросов, социальный характер народных требований (1003). Как-раз этого элемента он не находит совсем у Марата, слишком занятого политической борьбой, конвентскими и партийными делами, желанием сокрушить жирондистов, „на которых он ежедневно клеветает и которые клеветают ежедневно на него“ (1005). Поднимался в прессе вопрос о социальном равенстве (1006 и 1015), но то были теории, а народу были нужны непосредственные меры и, прежде всего, таксация жизненных припасов (1016). Натиск на Конвент был столь стремителен, что Гора была раздражена не менее Жиронды, и Марат прямо объявил, что все это проделки негодных аристократов (1020), но потом якобинцы стали стремиться к сближению с новым движением. Жорес выводит здесь на сцену новых деятелей: Варле и священника Жака Ру (1025 и сл.). В конце февраля в Париже разыгрались сцены грабежа народом лавок, за что напрасно обвиняли Марата, а Марат — жирондистов, когда настоящим виновником был Жак Ру (1030 — 1033). Луи Блан едва коснулся этого движения, думая притом, что оно было возбуждено врагами революции, именно Питтом, которому нужны были смуты в Париже. „Это не приговор истории, замечает Жорес. Луи Блан не понимает инстинкта толпы, стихийности (spontanéité) народа. И когда события не укладываются в рамки революции, им установленные, когда ему кажется, что они противоречат революционному плану, он легко усматривает в них интриги врагов“ (1033). И Тьер, и Мишле, прибавляет Жорес, даже проглядели в этом эпизоде роль Жака Ру (1034), которого одинаково отвергали и Марат, и Эбер (1035). Остановившись подробнее других историков на личности Ру, Жорес, однако, видит в нем (и пра-



вильно<sup>1)</sup> не предшественника Бабёфа, как думал Мишле, а защитника мелкой буржуазии и ремесленного класса (artisannerie) против дороговизны (1036 — 1037). „В начале 1793 года еще не было ясной социалистической формулы; только еще оцупью народ ремесленников искал через революцию своей дороги“ (1039). Вообще Жорес с очень большими подробностями осветил все движение связанное с именем Ру, правильно замечая, что из бесчисленных неизвестных эпизодов, иногда неподозреваемых „большой историей“, и складываются более крупные движения (1045). Люди, шедшие за Ру, даже в глазах Марата и Эбера, были бешеными (1046).

Кроме Парижа, аналогичное движение происходило и в Лионе, на чем Жорес останавливается тоже весьма подробно, (1055 — 1071). Он говорит о влиянии этого народного движения на якобинцев, начавших бояться за собственность. Чтобы оправдать себя в борьбе с „бешеными“, якобинцы направили народные страсти на жирондистов (1074), против которых направляли эти страсти и сами бешеные (1075). Это был, по словам Жореса, погребальный звон по жирондистам, которых, однако, ни Робеспьер, ни Марат не хотели тогда ни предать смерти, ни насильно удалить из Конвента, а просто только постепенно превращать их в „политическое ничтожество“ (1076). Об агитации против жирондистов со стороны якобинцев и бешеных есть еще интересные страницы и в другом месте (1091 — 1095). Замечу еще, что попрежнему Жорес делает множество выдержек из писаний Марата по разным злобам дня (1098 — 1115), подчеркивая при этом полную противоположность его экономических идей и идей Жюла Ру (1112). Марат, говорит Жорес, чувствовал себя лучше с патриотами Горы, нежели с бешеными (1114).

В связь с этим народным движением ставится у Жореса учреждение революционного суда для „вооружения народного гнева быстрым способом репрессии, для устрашения контрреволюционеров и для того, чтобы вырвать народ у искушения беспорядочного убийства“. Это была общая инициатива Марата, Робеспьера и Дантона, думавших в данное время,

<sup>1)</sup> Жак Ру не был коммунистом, о чем см. мою статью о нем в „Русских Записках“ за 1916 год.

говорит Жорес, отложить до будущего партийные счета и даже защитить Жиронду от народной ненависти. Тогда же для сосредоточения всей действенной силы в Конвенте стали посылаться в департаменты его комиссары (1115). Революционный суд он называет ужасной машиной, но вместе с тем и необходимой (1117 — 1118). Данному кратковременному (*momentané*) триумvirату, а например, не одному Дантону наш историк приписывает инициативу всех чрезвычайных мер для спасения революции, особенно, впрочем, соответствовавших теории Марата (1124 — 1125). Практическое проведение этих мер принадлежало более всего Дантону, но жирондисты мешали, говорит Жорес, его „благородным усилиям вырвать революцию из хаоса и бессилия“, так как в каждой попытке организовать силы революции, если только это не шло с их стороны, они видели стремление к диктатуре, в чем и заключались погубившая их „узкость их чувств и легкость их ума“ (1136). Излагая необычайно подробно запутанную историю весны 1793 года, Жорес при каждом удобном случае возвращается к той мысли, что Жиронда тормозила борьбу за революцию. „Нужно было, говорит он, чтобы одна из двух партий пала“ (1188). Легального выхода из кризиса не было, вопрос могла решить только одна сила (1193). При изложении антижирондистской агитации в секциях Жорес, можно сказать, сам волнуется: искание жирондистами опоры в „средних классах“, куда входили и роялисты, обозначало победу контр-революции, как то уже было в Лионе. В парижских секциях для него решалась судьба нового мира (1207). Вот когда разыгралась классовая борьба, ибо богатые стали теперь ходить в секционные собрания, чтобы „там схватить революцию и вырвать ее из грубых и мощных рук народа“ (1209). Жорес превращается в настоящего полемиста против тех публицистов, которые стояли на несимпатичной ему стороне, потому что в нем самом на этих страницах заговорило классовое чувство, или вернее чувство партийное.

„В первый раз с самого начала революции, говорит он, борьба, до того времени глухая, между двумя фракциями третьего сословия, проявилась открыто с страстностью. Это уже не было одним из тех беспорядочных движений бунта, в которых во имя права на жизнь бедных разграбили

несколько магазинов и лавок. Это не было также боем на трибуне между партией, опиравшейся преимущественно на буржуазию, и партией, взывавшей к революционной энергии и к мускульной силе народа. Это была, в недрах каждой секции, враждебная встреча двух классов. Это была, каждый вечер, рукопашная (*une sorte de corps à corps*), часто настоящая свалка между санкюлотами и теми, кого уже называли красными ляжками" (1215). Робеспьер радовался этой борьбе, но возбуждая народ против буржуазии, он менее всего хотел, чтобы она перешла в систематическую классовую борьбу бедности и богатства (1216 и сл.). Все партии одинаково обращали в поле сражения секции.

Одно время, замечает Жорес, можно было думать, что победят „умеренные буржуа, собственники, рантье, приказчики, вся социальная клиентура Жиронды" (1223). За борьбой в секциях он следит с очень большими подробностями. Глубокие слои городского населения хотели иметь от революции материальные выгоды, которыми уже обладали крестьяне. Но народ научила стремиться к этому сама же буржуазия, всячески обогащаясь (1233), — и вот народ во всем Париже объединяет свои действия. Секции самовольно распространяют действие только-что учрежденных революционных комитетов, начав наблюдать за поведением не одних иностранцев, но и всех граждан (1236), а сама Коммуна становится во главе движения против Жиронды (1250). Широко пользуясь в этой части своего труда „Историей террора" Мортимера-Терно, Жорес не везде с ним соглашается (1255—1371), руководясь еще очень часто книгой Меллье <sup>1)</sup> о секциях (1234—1260). Он показывает еще, как шли из Парижа противоположные влияния в провинции (1274—1298), и приходит к тому выводу, что „разрушение Жиронды со всех точек зрения было первейшею (*préalable*) необходимостью", ибо иначе Франция очень скоро скатилась бы к роялизму и контр-революции (1298.) Париж, сердце Франции, был носителем ее судеб (1299).

<sup>1)</sup> Обычная манера цитировать у Жореса: „смотри Меллье", даже без названия сочинения (Mellié. *Les sections de Paris pendant la révolution, 1898*). Об этой книге см. в моих „Парижских секциях времен французской революции" (1911).

Рассказ Жореса о том, как готовилось действие парижских секций против жирондистов, завершившееся 31 мая—2 июня, изобилует в чрезвычайной степени подробностями всякого рода, иногда прямо загромождающими изложение. Положение Конвента он сравнивает с состоянием потерпевшего крушение корабля, в который уже проникла горькая и темная волна: оставалось только пойти ко дну или спастись, выбросив Жиронду в бездну (1353.) Робеспьер принял это последнее решение, причем особою заботою его и других якобинцев было успокоить буржуазию на счет безопасности собственности (1362 и сл.), тем более, что сами они боялись, как бы „бешеные“ не сделали господами революции (1371). Непосредственно действовал на секции Марат, но не убийства были его советом, а он „хотел только, как выражается Жорес, предать Жиронду революционному правосудию“ (1375). Наш историк до такой степени одобряет все, что говорилось и делалось против жирондистов, что как будто сам участвует в походе против них. События 31 мая—2 июня рассказаны у него на семидесяти пяти страницах (1372—1447) с обычными извлечениями из источников, в виде массы больших кусков. Когда в дальнейшем изложении Жорес доходит до сообщения о протесте 73 членов Конвента против совершенного над ним насилия (1592), он как-будто соглашается с Робеспьером, что восстание 31 мая—2 июня было необходимым и спасительным (1593). И еще в одном месте он называет операцию 2 июня необходимой (1627).

Почему Жиронда была побеждена, спрашивает Жорес. Неужели потому, что как думал Зибель<sup>1)</sup>, она сделалась до такой степени классовой, исключительно буржуазной партией, что не могла действовать вместе с пролетариатом (1447)? Автор не соглашается с таким объяснением, настаивая, наоборот, на том, что „между социальными воззрениями Жиронды и Горы не было глубокого антагонизма. Монтаньяры, как целое, не были ни коммунистами, ни уравнителями. Жиронда выставила себя против них защитницей собственности в виде чисто тактического приема...

<sup>1)</sup> Непонятно, почему Жорес нашел нужным сослаться на Зибеля, когда то же самое говорили Бюшез и Луи Блан.

Все это было только для отвода глаз (*trompe-l'oeil*) и полемической шуткой". Монтаньяры и Коммуна также были за собственность. Просто политические интересы обеих партий привели к тому, что одна стала опираться на буржуазию, другая — на пролетариат. Это была борьба партийная, а не классовая. Жиронда сама согласилась бы и на принудительный заем, и на закон о максимуме, так как у нее совершенно не было „непреклонного экономического догматизма". Дав себя превзойти политическим порывом народа, она вынуждена была беречь то, что у нее оставалось из прежней революционной клиентелы, т. е. торговую и промышленную буржуазию. Сами жирондисты были люди честные и жили скромно (1448). Для Жореса они, равным образом, не были ни отвлеченными только теоретиками, ни федералистами: в последнем отношении они лишь обратились к департаментам, когда их дело в Париже было проигранным (1450). Сам Марат не считал их виновными в федерализме (1452). Обвинение жирондистов в роялизме, между прочим, тем же Маратом, Жорес отвергает, признавая правоту „друга народа" лишь в том отношении, что своей борьбой против Парижа, против Горы, против Коммуны они обнадеживали роялистов (1454) и даже готовили успех контр-революции (1455). Свое объяснение он защищает против возможного обвинения в „поверхностности и легкомыслии" со стороны тех, которые думают, что „политические события — только простое отражение экономических явлений", но, говорит он, в истории, кроме борьбы классов, действуют и властолюбия (1458), хотя, конечно, в данном случае „глухой конфликт классов и не замедлил примешаться к политической борьбе партий" (1459)<sup>1</sup>).

Вторая половина IV тома „Социалистической истории" носит название: „Социальные идеи Конвента и революционное правительство". Эту часть автор начинает с заявления, что „политическое падение Жиронды не повлекло за собою появления новой системы идей. Можно сказать, прибавляет

<sup>1</sup> Я не останавливаюсь здесь на выяснении отношения Жореса к закону о максимуме, вообще очень неудовлетворительном, как это было мною показано в разборе книги Е. В. Тарле «Рабочий класс во Франции в эпоху революции» (Русск. Богат., 1911), так как автор этой книги подробнее, чем кто-либо до него разработал этот вопрос, о чем см. в III томе „Историков франц. рев."

он, что уже перед 31 мая политическая и социальная теория Конвента установилась в своих главных очертаниях" (1465, 1576, 1582 и др.). Между жирондистами и мон-таньярами прямо происходило соперничество, кто проявит более широкое и более энергичное понимание потребностей республики и демократии (1465). Даже уже при начавшейся распре обе партии работали вместе над некоторыми вопро-сами (1466). Последовательно Жорес рассматривает поста-новку вопросов в Конвенте о народном просвещении (1466 — 1490), о собственности (1490 — 1573) и т. д., по обыкно-венно приводя длинные выдержки из прений и из прессы. С особым интересом, как сам он признается, он излагает наиболее смелые демократические идеи 1793 года, каковы, по его выражению, „коммунизм воспитания Лепеллетье, ком-мунизм продовольствия Армана (Armand), коммунизм наслед-ства Билло-Варенна“, но при этом напоминает, что все эти идеи были изолированными, выходящими за пределы своего времени (1511). Некоторые из этих идей он называет даже прямо эксцентричными, как он выражается о проповеди Анахарсиса Клоотца, на изложение которой отведено полтора десятка страниц (1512 — 1528). Здесь же Жорес показы-вает читателю Бабёфа в самом начале его деятельности, еще очень осторожного и смирного (1531 и сл.), час которого еще не пришел тогда, говорит Жорес, тут же отмечая, что декрет Конвента, грозивший смертною казнию за предложе-ние аграрного закона или всякого другого, ниспровергающего земельную, торговую или промышленную собственность, бил прямо в Бабёфа (1547). Особенно распространившись о коммунистических идеях в 1793 году, Жорес оговари-вается, что было бы смелым ими характеризовать „социаль-ную мысль революции и Конвента“, хотя было бы и ошибоч-ным не принимать в расчет эти „первые социалистические проявления демократии и особенно глубокое стремление к равенству, которое революционное движение распростра-няет в потрясенных умах“ (1563).

Изложение конвентского законодательства Жорес начинает с вопроса о коммунальных землях, которые, говорит он, никто и не подумал тогда утилизировать действительно ком-мунистически (1577). На конституции 1793 года он оста-навливается почему-то чрезвычайно коротко, подробно не

излагая ее и не анализируя. По его определению, монтаньяры только „упростили, облегчили, сделали более быстрым и действительным избирательный и законодательный механизм, с риском сузить по внешности широкую систему политической демократии, предложенную Жирондой“ (1583 — 1584). На это можно было бы возразить, что дело было не в одной внешности. Что касается до декларации прав, то Гора не захотела в ней существенных изменений, особенно в формулировке права собственности. В общем, Жорес называет конституцию 1793 года „великолепным экземпляром демократии“, „великолепной организацией демократии“ и т. д. (1585 — 1587), но в то же время соглашается, что ввести ее в действие немедленно же было немыслимо: довольно было, чтобы народ знал, каков будет его закон по прошествии внешней грозы и внутренней войны (1593). Связанное с принятием конституции выступление Жака Ру с его ультра-демократическими требованиями (1595 — 1612) Жорес снова не одобряет, как вносящее в наладившееся единодушные элементы раздора. Как и в других местах, Жорес не остается здесь наблюдателем со стороны, а сам, так сказать, вмешивается в распрю. Должны ли мы быть с Робеспьером против Жака Ру или Эбера? спрашивает он и сам отвечает: „по правде сказать, мы не обязаны становиться на сторону (*prendre parti*) кого-либо с такою точностью. История, это — странная свалка, где бьющиеся друг против друга люди часто служат одному и тому же делу... И в этом всеобщем взаимодействии невозможно определить долю участия (*l'effort*) каждого. Победитель был бы другим, если бы с ним не сражались, и всегда есть нечто от побежденного в действии победителя. Всякая победа есть частная уступка. Без Жака Ру, без Эбера политическая и социальная линия революции была бы другая. Она должна была считаться с формулированными ими проблемами, с возбужденными ими силами, с развязанными ими стремлениями... История проливает свет на бессознательное и глубокое сотрудничество тех, которые были врагами или соперниками. Обязанность истории — понимать все идеи, сочувствовать в известной мере всем силам, распознавать все возможности (*germes*), отгадывать тайные совпадения под противоречивую внешность. Ее обязанность давать верное освещение всем партиям, всем

лицам... Но, сейчас же оговаривается Жорес, напрасно смотреть на события с точки зрения истории. Невозможно развивать эту великую драму, в нее не вмешиваясь. Мертвых будят, и они, едва проснувшись, налагают на вас закон жизни, закон выбора, предпочтения, борьбы, предвзятости (*parti-pris*), суровой и необходимой исключительности. С кем ты идешь сражаться и против кого? Жорес вспоминает тут, что Мишле хотел бы быть монтаньяром, но не якобинцем<sup>1)</sup>. Свой ответ, который он не хочет сделать уклончивым, лицемерным и трусливым, Жорес дает такой: „Здесь под этим июньским солнцем, согревающим нашу трудную борьбу, я — с Робеспьером и иду сесть рядом с ним среди якобинцев. Да, я с ним, потому что в этот момент в нем вся полнота революции. Я — с ним, потому что, борясь с теми, которые хотели бы умалить Париж до превращения в фикцию, он сохранил революционное чувство Парижа“ и т. д. с перечислением всего того хорошего, что, по мнению Жореса, Робеспьер сделал в это время (1618 — 1619). Именно, в Робеспьере Жорес видит „всю полноту революции“, а „то, что вне его, только секта“ (1620). История говорит здесь, как вождь партии: „о социалисты, восклицает он, мои товарищи, не соблазняйте (ne vous scandalisez pas), — и говорит так в виду того, что Жак Ру и Эбер как-будто были ходатаями за пролетариат, но это было именно сектанство (1621 — 1622). „Никогда, по его мнению, революция не выпускала из Парижа столько светлых лучей с большею силою единства, блеска и надежды, как после удаления жирондистов“ (1630). Насильственная смерть Марата тоже вызывает Жореса на размышление. Проживи он еще год, может быть, он предотвратил бы губительные раздоры (1631), а может быть, бросился бы в эбертистскую политику, так что „нельзя, прибавляет он, с уверенностью сказать, гильотинировал ли бы он эбертистов, или был бы гильотинирован вместе с ними“. Верно лишь то, что и Эбер, и Жак Ру хотели получить наследство Марата в революции (1632). Жорес еще раз останавливается подробно на агитации бешенных по поводу продовольственной неурядицы и опять хвалит мужественное поведение Робеспьера.

<sup>1)</sup> См. История франц. рев., т. I стр. 183.



Между прочим, в одном месте мы читаем: „единственная форма террора, которую может принять политический деятель, если он не одержим опьянением кровью, это та, которую дал Робеспьер в смысле показывания страшных примеров. Нужны примеры, а не казни, поясняет Жорес. Дабы показать народам и королям, что даже чувство жалости не сделает революцию слабою перед королевским преступлением, достаточно было поразить Марию-Антуанету после Людовика“. Примера ради довольно было гильотинировать ее, но не было никакой надобности в смерти королевской сестры Елизаветы, которой ежедневно требовал Эбер (1695).

При системе, принятой Жоресом для изложения хода революции,—причем, он строго держится хронологии и разбивает на куски, отделенные один от других многими страницами, хотя бы они содержали в себе одну и ту же материю,—весьма трудно следить за многими явлениями, в которых тогда находила выражение свое социальная мысль. Все это как-то разбросано, не обобщено, не сведено к немногим формулам, а между тем материал собран весьма интересный в роде, напр., о коммунизме, в своем роде, Доливье (1647—1658), о разных выступлениях Жака Ру (напр., на стр. 1689—1699), о первых идеях всякого рода национализаций (1701 и сл.) и т. п. Более сосредоточены явления сделанной эбертистами попытки дехристианизировать Францию (1707—1715), попытки, которую Жорес в общем одобряет. „Нужны были бы для философии целые века, говорит он, чтобы освободить дух при посредстве духа; это посредством силы нужно разбить цепи, которые заклепало невежество, эта форма рабства (1708). Сила может разбить верования, как образовавшиеся только автоматически; слепая привычка есть тоже вид силы, и кратковременное насилие освободительного часа только устраняет медленное и темное насилие веков. Да, продолжает он, но эбертистская операция могла удасться или даже быть предметом попытки только при одном условии. По крайней мере, нужно было, чтобы эбертизм принял определенное решение в вопросе, хотел ли он только дразнить и оскорблять культ или же хотел его искоренить. Если он думал его только оскорблять, попытка была столь же бесплодна, как и низка, а если он хотел его искоренить, нужно было достаточно громко провоз-

гласить, что свобода культов, значащаяся в конституции, есть приманка (*un leurre*) и опасность. Нужно было думать и нужно было сказать, что христианская вера, начало рабства не имеет права существовать (*de s'affirmer*). Только во имя права можно производить столь глубокие революции. Если революция не имеет смелости сказать: „я не признаю за христианством права на существование, и я сокрушу все его проявления, коллективные или индивидуальные“; если она этого не говорит, война против культов только бесчестный парад и самая грубая тирания. Но эбертизм даже не ставил себе проблемы, и он жалко переходил от демагогических насилий, не облагороженных никаким принципом, к отречениям, продиктованным глупостью или страхом“ (1710). В сущности, Коммуна издала декрет, уничтоживший свободу культов, но Робеспьер заговорил против этого в якобинском клубе, и Коммуна „сплюснулась от страха“, в чем Жорес видит умственную посредственность эбертистов (1711 — 1712). Вообще об Эбере и эбертизме он выражается очень резко, называя это направление „первым появлением милитаризма в революции в демагогической форме“ (1716). Можно сказать, что Жорес делает из Эбера какую-то переходную ступень от Бриссо, инициатора войны, к Бонапарту, пожавшему ее плоды. Бриссо, говорит он, вел к Эберу, который поведет к Бонапарту. Жирондизм, эбертизм, бонапартизм — три явления, тесно связанные между собою (1720).

Крайности революции в смысле обилия казней вызывают у Жореса отрицательное отношение. По поводу гибели жирондистов он в одном месте даже обобщает так: „революции — варварская форма прогресса. Как бы ни была революция благородна, она всегда принадлежит к низшей и полуживотной эпохе человечества. Дано ли нам предвидеть наступления дня, когда форма человеческого прогресса будет действительно человеческой“ (1675)? Террор вызывает у Жореса чувство отвращения. „О, восклицает он, без сомнения насильственная, кровавая революция не могла быть нормальным режимом. Гильотины в непрерывном действии в городах, это было жестоко, унижительно. Без сомнения, также в революционном движении низкие и подлые страсти, пошлое властолюбие, кровожадность и бесчестность деспотизма примешивались к самым благородным страстям, к самому благо-

родному энтузиазму, к самым высоким проявлениям разума и к самому святому самопожертвованию. Да, Франция не могла бы жить вечно при законе о подозрительных и с дисциплиной странствующих гильотин, домашних обысков и удостоверений о дивизме" (1730). И при всем том Жорес находит, что Робеспьер „действительно работал над очеловечением революции (à humaniser la révolution), когда без сентиментальной декламации придавал революционной силе это единство, эту быстроту, которые подготавливали успокоение посредством победы" (1733). Он сочувствует Робеспьеру в его намерении начать кампанию против эбертистов и порицает дантонистов за их оппозицию, которую они этому делали, вполне в данном отношении возобновив игру Жиронды, что придало дантонистской политике вид модерантизма и контрреволюции (1734—1735), хотя сами дантонисты и эбертисты ссорились.

Всю эту пуганицу (l'imbroglio) Жорес рассказывает очень длинно, настаивая на том, что Робеспьер был вынужден действовать решительно против обеих партий (1745), причем, говоря о роли Сен-Жюста в этом походе, обозначает ее, как „терроризм с социалистическим оттенком" (1747—1751), а намерения эбертистов—как подготовку своего рода военного и народного 18 брюмера, которое обесчестило бы, покрыло бы кровью, разорило бы Францию, уподобив ее Польше (1762).

И вот, рассказав о казни эбертистов и дантонистов, Жорес предается размышлению. „То, что страшно и печально, это не то, что все эти революционеры, борясь за одно и то же дело, друг друга убивали. Когда они вступали в бой, они заранее принимали возможность смерти. Она была между ними естественным третейским судьей, и партии, оспаривавшие друг у друга руководство революцией, не имели времени принять другие решения. В эти часы, столь наполненные, столь сильно сосредоточенные, когда минуты стоят веков, одна только смерть соответствует нетерпению душ и торопливости вещей. Неизвестно, к какому способу могли бы прибегнуть соперничавшие партии, чтобы покончить свои счеты. Жирондисты, эбертисты и дантонисты, сидевшие в тюрьме Люксембургского дворца, незадолго могли бы составить оппозиционный парламент, где Верньо, Дантон, Эбер

одинаково бы обвиняли робеспьеровскую тиранию. Никто тогда не мог бы сказать, где заседал Конвент: в Тюйлерийском или в Люксембургском дворце. Вокруг этого Конвента знаменитых узников объединились бы все недовольства и все силы, враждебные революционному правительству". В спокойные времена партийные отношения улаживаются просто, но в бурные периоды, тем, у кого в руках все ведение дел, „нет времени склонять на свою сторону несогласных, убеждать противников. Они не могут пустить в ход средства спора или соглашения. Нужно сражаться, нужно действовать и чтобы сохранять в неприкосновенности всю свою силу действия, чтобы ее не растратить попусту, они приглашают смерть произвести вокруг них то единодушие, в котором они нуждаются... Смерть восстанавливает порядок и позволяет продолжать работу". К этому размышлению Жорес прибавляет, что как бы ни жалко было погибших, „но эта трагедия эшафота волнует глубже всего внимательный ум. Наиболее огорчает и приводит в ужас то, что революционеры не сумели найти центр общей деятельности, который помог бы им соединить свои усилия" (1769—1770). Революция, думает он, ослабила себя не пролитием крови революционеров, но разделением мысли и конфликтами между совестями, делавшими неизбежным хирургическое вмешательство палача. Не обезглавление всех этих людей, а их антагонизм предал революцию диктатуре. Представим себе, что Верньо, Дантон, Эбер, Робеспьер остались в живых. Если бы их ссора продолжалась, Бонапарт пришел бы: он сначала воспользовался бы одними против других, а потом всех примирил бы расстрелами, тюрьмою, ссылкой. Гильотинируя друг друга, вожди революции просто избавили будущего военного диктатора от ненавистного дела кровавых казней" (1771).

Одним словом, огорчает Жореса не то, или не столько то, что люди казнили друг друга, а что они не были между собою согласны. Он находит притом, что эти внутренние раздоры не затронули ни военного порыва, ни экономической деятельности, ни умственной и нравственной силы революции, посвятив, между прочим несколько страниц вопросам экономической политики и знаменитой „Картине прогресса человеческого ума" Кондорсе (1772 и сл., 1786 и сл., 1798—1799).

Как-никак, противные политике Робеспьера силы демагогии и модерантизма пали, и нужно было, чтобы революция, оставаясь страшною врагам, подготавливала возвращение к нормальной жизни (1799), что было равносильно, в глазах Жореса, замене революционного правительства конституцией (1800).

Такую политику Жорес называет и необходимой, и в то же время чрезвычайно трудной (1801), даже превышавшей человеческие силы (*un problème surhumain*), не только силы отдельной личности, но и целой нации. Робеспьер и его друзья, думает Жорес, видели эту необходимость, но или не смели начать новую политику, или не знали, как к ней приступить (1802). „Как ни велик был Робеспьер“ в его глазах, но у него именно не было качеств, необходимых для разрешения этой проблемы. Как только перед ним не было противников, как только точный смысл нападений на него не вызывает с его стороны столь же точные ответы, он тотчас возвращается к обычным неопределенности и хитростям. Единственный взявший на себя ответственность за события, он не говорит, однако, куда же он хочет вести революцию (1803), и в этом была основа его гибели. Своим култом верховного существа, которому Жорес не сочувствует с своей атеистической точки зрения (1807), Робеспьер возбудил надежды у контр-революционеров и подозрения у крайних революционеров (1809). Робеспьеру нужно было теперь поражать и контр-революционеров, и революционеров, которые его боялись и которых боялся он сам (1801). Усиление террора ему было необходимо, чтобы после нескольких страшных и незабываемых недель иметь силу и право совсем покончить с террором (1811). Только самый последний период деятельности Робеспьера осуждается Жоресом, потому что Робеспьером в это время овладели сомнения, ослепление и помешательство (*le vertige*),—этим человеком, оказавшим, по мнению историка, бесчисленные услуги Франции после 31 мая организацией революционной власти, спасением Франции от гражданской войны, от анархии и поражения. И Жорес еще раз напоминает, что вся задача была выше человеческих сил (1820).

Заканчивая свой громадный труд, Жорес говорит, что наибольшую радость в этой работе доставляло ему сознание, что из революции, как из горнила, лился поток социализма,

и что, в частности, он вместе с Бабёфом примыкает к Робеспьеру (1820). Последней фразой в самом конце IV тома является указание на то, что теперь революции предстояло иметь дело со смутной атмосферой термидора.

Пятый том „Социалистической Истории“, содержащий в себе историю термидорианской реакции и эпохи директории, был написан Габриэлем Девиллем. Это по объему тоже солидный труд, содержащий почти шестьсот страниц, разделенных почти поровну между концом Конвента и временем действия конституции III года.

В этом труде, написанном в духе общего отношения Жореса к революции, мы остановимся только на самом начале, где выясняется общее значение 9 термидора, когда, по признанию самого автора, революция в ее демократической форме уже окончилась, и началась реакция, приведшая к падению республики. Политическое значение здания революции оказалось, говорит Девилль, менее прочным, чем экономическое. Автор не думает, однако, чтобы такой полный отход назад (*recul*) был неизбежен, ибо, говорит он, „если экономический фон служит базой для политических, как и других социальных явлений, он не содержит в себе роковым образом форму, в которую облакаются эти явления. Погрешности на самом деле бывают частыми“. Политическая организация, „превышавшая нужды буржуазии, не была жизненной, и все то, что было выработано парижскими пролетариями, на мгновение хозяевами движения, шло дальше этих нужд и было обречено на исчезновение“ (1). Прямую причину падения республики историк видит в „прискорбном распространении, приданном режиму террора“, которое само было только „последним следствием, в специальной среде, сделавшихся непримиримыми разделений в республиканской партии“ под влиянием „страстного властолюбия, нетерпеливости личных честолюбий, смешного стремления быть на виду, непримиримой злобы со стороны обманутого тщеславия и удовлетворенной жадности“. При всей резкости, с какою Девилль выражается об этом, он находит оправдание для террора, как законной самозащиты, но, к сожалению, оговаривается он, „то, что было средством защиты, единственным действительным средством против смертельных нападений, было преувеличено, вместо того, чтобы быть поставленным в более

узкие границы. Это средство защиты было сверх того превращено в средство управления, в средство подавления всякой оппозиции, не представлявшей никакой опасности для нового порядка вещей" (2). Были, наконец, соглашается автор, и „столь же ужасные и достойные сожаления, как и неизбежные, взрывы народной ярости, происходившей от долговременных страданий и накопившихся мстительных чувств" (3). Но главными виновниками он считает все-таки одних привилегированных. Направившись, однако, не против их одних, террор сделался угрозой для всех, и потому термидор был подготовлен, собственно, чувством самосохранения. В частности, особенно вина на расширение террора возлагается автором на Робеспьера и его якобинских друзей (4). Термидорианцы, с своей стороны, продолжали против Робеспьера и его партии собственное же злосчастное дело Робеспьера и якобинцев, чем столь же повредили республике, как и те (6).

Другой вопрос, которого касается Девилль во вступительной статье, это — о появлении социализма во французской революции. Мишле в своей „Истории XIX века" отнес его к эпохе директории, поставив ему в вину самое возникновение военного правления. Оспаривая это последнее мнение, Девилль примыкает к его взгляду, относящему первое появление социализма к указанному времени. „Социализм, говорит он, не существует, до тех пор он только теория" (7), пока ее не думают применить непосредственно в данной среде и даже пока народные движения, как бы ни были они демократичны, не идут под знаменем идей об общественном переустройстве для всеобщего благосостояния, а имеют в виду только специальные положения. Большинство демократов в эпоху революции было убеждено, что свободы и номинального равноправия (*des droits nominalement égaux*) совершенно достаточно для достижения всеобщего благополучия, и лишь немногие шли дальше. В числе последних автор имеет в виду, конечно, прежде всего Бабёфа (8). Отправным пунктом социализма, „законного сына французской революции", по его выражению, он считает разочарование (*désillusion*), явившееся результатом непрекращающейся нищеты после всех реформ, на которые возлагались также надежды, хотя, с другой стороны, и в предыдущий период революции была

лабораторией идей, где уже был скрытый социализм (socialisme latent), как еще выразился автор (9). С Бабёфом, говорит Девиль, „появился новый исторический элемент“. Со сведений о Бабёфе до 9 термидора он и начинает фактическое изложение (10 и сл.). Самому „заговору равных“ в книге Девиль посвящена особая глава (302 — 335). Этот заговор он считает практически несерьезным. Если бы, сверх „всякого вероятия, смелый шаг „равных“ удался, говорит он, их „попытка национальной общности“ (communauté nationale) кончилась бы провалом „вследствие недостаточности вещей и протестаций со стороны людей“. Экономические ресурсы их эпохи были слишком малы, их не могла бы заменить их мечта (rêve) о потреблении, до мелочности бережливом в деле потребления, и о неприемлемом и непреложимом авторитаризме в деле производства. Важен, прибавляет в заключение автор, не заговор равных, важны вдохновлявшие его идеи, делающее его первой социалистической попыткой (335).

## ГЛАВА XI.

### Последние историки революции.

Истории французской революции Олара и Жореса долгое время оставались последними трудами, посвященными этой эпохе. Из произведений исторической литературы меньших размеров и более приспособленных к интересам большой публики, в которых во Франции никогда не было недостатка<sup>1)</sup>, но которые нередко очень скоро делались устаревшими в общем движении науки, заслуживает особого внимания однотомная история революции Л. Маделена<sup>2)</sup>, как блестяще написанная и потому читающаяся очень легко, в то же время написанная с несомненным стремлением автора быть вполне точным в своем повествовании и беспристрастным в своих суждениях. К числу достоинств этой книги

<sup>1)</sup> Обращают на себя внимание популяризации Карио (1870) и Рамбо (1883).

<sup>2)</sup> Madelin. La Révolution. 1912. 565 стр. текста. Вошла в коллекцию «L'histoire de France racontée à tous, publiée sous la direction de Fr. Funk-Brentano.



нужно отнести и то, что в ее основу положено превосходное знакомство и с новейшей исторической литературой, причем почти в каждой главе автор дает и очень подробные библиографические указания. Вскоре по ее выходе в свет (в 1912 году) о ней появилась очень сочувственная рецензия Олара, вообще весьма строгого критика, постоянно следящего в своем журнале за появлением новых работ по своей специальности <sup>1)</sup>.

Когда Маделен издал свою общую историю революции, имя его уже было известно работами по эпохе. Уже после выхода названной книги он вскоре выпустил в свет тоже блестящую биографию Дантона, вошедшую в состав серии „Figures du passé“ вместе с биографиями Мирабо (L. Barthou), Дюмурье (A. Chuquet), Верньо (E. Lintilhac) и др. <sup>2)</sup>

Автор сам в предисловии объясняет, что его целью было написать книгу, которая была бы ни школьным пособием, ни ученым трудом. Его задачей было представить итог (le résumé) всего, что было сделано по истории революции, особенно в области политической истории, стараясь оставаться справедливым... „В момент, говорит он, когда я представляю эту книгу публике, мне было бы невозможно сказать с полной искренностью, в чью пользу или против кого я мог быть пристрастным. Я приступил к этому щекотливому предмету (cette chronique délicate) без какой бы то ни было предвзятой мысли: во время работы девять раз из десяти мои мнения о революции менялись. Однако, я отнюдь не отказался от права обнаруживать свои чувства по поводу тех или других фактов, тех или других людей: негодование, сострадание или восхищение иногда входят в состав высшей справедливости. Но мне кажется, что я был прав ко всем, даже к иному такому лицу, тщательное изучение которого,

<sup>1)</sup> La Rév. Française, 1912, janvier. В нашей печати появление книги Маделена было отмечено проф. В. А. Бутенко в «Научном Историческом Журнале» (1913, 1).

<sup>2)</sup> Я не перечисляю здесь всех работ Маделена, которому принадлежит еще книга о Фуше. Написанной им биографии Дантона я посвятил статью в „Вестн. Евр.“ за 1915 г. Вообще биографическая литература о деятелях французской революции очень богата. Наиболее известные работы в этой области: Clarétie о Дантоне (1909), Bardoux о Лавайете (1892), Chevremont о Марате (1880), Ch. Lomérie о Мирабо, Dauban о г-же Ролан, Hamel о Робеспьере, Duroyer о Фукье-Тенвилле (1913) и т. д. Более подробный список в указываемом ниже (стр. 292) XVI выпуске „Введения в науку“.

однако, указывало, в конце концов, что это был сознательный или несознательный злодей (стр. IV). Маделен прибавляет, что ему и нетрудно было занять такую позицию. Он никогда, по его словам, не чувствовал себя достаточно авторитетным, чтобы даже в глубине души высказывать категорическое суждение о французской революции. „Еще для меня труднее, продолжает он, теперь высказать о ней краткое суждение: причины, факты, следствия кажутся мне еще очень спорными (*fort sujets à débats*); есть целый ряд проблем, которые умами (очевидно, более сильными чем, мой) разрешаются в том или другом смысле словами быстрыми и решительными. Человеку свойственно заблуждаться; все партии, состоящие из людей, заблуждались. Я отмечал глупости. Я отмечал также преступления. В эпоху страшного кризиса все, что есть темного в нации, всплывает на поверхность, — „пена белая, пена красная“, по выражению Вандаля, равно как все, что есть зверской жестокости или ужасных страстей в сердцах, доколе этого не подозревавших, откуда эти страшные злодеяния. В такое время, равным образом, когда все приходит в необычайное возбуждение, совершались геройские дела, которые я тоже отмечал. В конце концов, весьма вероятно, что я, как наш Монтень, у гвельфов был бы гибелином, у гибелинов гвельфом. Я с этим примирился“ (V). Маделен в данном случае хотел идти за Вандалем, который в одном своем публичном курсе о революции говорил, что это будет курсом ни революции, ни контр-революции. Революция (это — также слова Вандаля) не была „блоком“, а, может быть, самым сложным явлением, какое когда-либо было, явлением, существенно многогранным (*multiple*) в своих причинах, элементах, движениях и следствиях“ (VI). Книга Маделена действительно не учебник и не новое исследование, а подведение общего итога под рядом исследований. Она предполагает в читателе достаточное знакомство с фактами, так что многие ее места и особенно только намеки на те или другие обстоятельства могут остаться непонятными со стороны неподготовленного читателя. Нередко отдельные фразы, особенно заключенные в кавычки, требуют комментария: в этом, несомненно, сказалась „ученость“ автора, его начитанность в источниках и в литературе. В конце отдельных глав

приводится в изобилии литература предмета. В общем, книга Маделена насыщена содержанием и может быть названа одним из лучших произведений новейшей историографии революции. Далеко, однако, не со всем может согласиться историческая критика, особенно когда рассеянные там и сям замечания обобщаются автором и преподносятся читателю, так сказать, в сгущенном виде.

В таком сгущенном виде Маделен изображает самый общий ход революции на восьми страницах „Эпилога“. Революция 1789 года была для него делом всей нации. Успехи просвещения, говорит он, раскрыли глаза высших классов на злоупотребления неравенства. Чрезмерные общественные бедствия взбунтовали народную массу. Твердая воля покончить с феодальным режимом подняла крестьянина. Явная анархия, царившая в королевском правительстве, вызвала во всех желание иметь конституцию, под чем девять десятых французов разумели только хартию, которая дала бы государству организацию. Равенство перед налогами и судом, отмена феодального строя, методически упорядоченное управление, вот чего желали в январе 1789 года“ (557—558). Маделен думает, что в августе 1789 года все это было почти получено, и что 5 августа считали революцию оконченной, и „так было, говорит Маделен, особенно для сельской массы“, как бы игнорируя им же приведенные факты.

Маделен прав, настаивая на том, что желания нации отличались умеренностью и что она могла бы удовлетвориться исполнением этих желаний. „Но, продолжает он, революция никогда не проходит без того, чтобы не повлечь за собою водоворот мятежных элементов“, всегда находящихся в каждой нации: наверху это—„честолюбивые политики“, внизу—„люди, стоящие вне нравственного и общественного закона и на всех ступенях—любители ловить рыбу в мутной воде“. 14 июля 1789 года бурт перешел в хроническое состояние, чем „воспользовались честолюбцы и трибуны Национального Собрания“, соединившие „самые благородные идеи с намерениями, менее благородными“.

„Так как, думает Маделен, социальная и политическая революция, о которой мечтали в 1789 году, осуществилась слишком уж быстро (?) для того, чтобы дать многим время при ее содействии достигнуть власти, они хотели еще более ши-

рокѣй революции, которая дала бы им во время оказаться у власти. Нужно было все начать сызнова, снести все прошлое и воздвигнуть бессмертный Град (Cité). Множество французов, удовлетворенных первыми приобретенными результатами, за ними не последовали, но им подчинились" (558). Вопрос, однако, в том, так ли это было, действительно ли громадное большинство было уже удовлетворено. На деле этого не было по приводимым самим же автором фактам.

Это подчинение нации вожакам Маделен объясняет тем, что она считала их защитниками завоеваний, сделанных летом 1789 года, и что эти завоевания находились в опасности (étaient menacés). Беспокойные люди, карьеристы, трибуны, вожаки в Собрании и на улице нашли, в самом деле, наилучших пособников (alliés) при Версальском дворе и в бывших привилегированных сословиях (558). Однако, в этих кругах не было единства и последовательности, так что сопротивление с их стороны получилось „перемежающееся, неловкое, по временам скрытное“. Это сопротивление, продолжает Маделен, встревожило французов, которые в 1789 году „хотели только некоторых реформ, но хотели, чтобы они были прочными“. Король оказался далеко не на высоте требований времени: желая быть конституционным монархом он, однако, поощрял надежды контр-революционеров, а армия между тем разложилась. Критикуя законодательство Учредительного Собрания, указав на то, что „великолепная Декларация обещала больше, чем давала конституция, и тем обрекала революцию на бесконечное продолжение“ (559), Маделен считает величайшей его ошибкой гражданское устройство духовенства, бросившее его в объятия контр-революционеров. Положение дел ухудшилось. „С 1789 года, говорит автор, революция опережает свою цель и делает недовольными, со всеми теми, кому нанесла удар, и половину тех, которые ее совершили. За то она привязала к своей судьбе целую клиентуру покупателей национальных имуществ, настоящую армию собственников, чувствовавших себя под угрозой. Это не революционеры, но они также идут за вожаками (560). Не находя поддержки внутри страны, контр-революционеры обратились в Европе, которая схватилась за случай поживиться на счет Франца, что неоправдимо компрометировало короля“. С революцией подверглось опасности и отечество. С этих

пор патриотизм сделался синонимом цивизма, а цивизм — яacobинизма... Безумная экзальтация овладела мозгами, и произошел новый приступ, сильный, жестокий — революционной горячки. Вожаки воспользовались этим, чтобы окончательно исказить революцию с целью ее присвоить себе". Яcobинская диктатура была правлением тех, которые казались бóльшими патриотами.

Сделавшись воинственной, революция воспользовалась своими победами для создания великой Франции с естественными границами (561), которые террористическая партия тесно связала с принципами революции. С 1793 года во Франции революцией завладела немногочисленная партия, тысячу средств державшая в своих руках нацию, три четверти которой только и думали об освобождении от таких правителей. Так как последним был „нужен террор, чтобы господствовать, они поражают каждого, кто кажется противником террора, хотя-бы то были лучшие слуги революции... Тогда возникла ненависть во всех классах общества против новых тиранов. Люди оставались привязанными к первоначальной революционной идее... В общем, с 1794 года хотели того же, чего хотели в 1789 и чего будут хотеть так же в 1799: Франции организованной согласно с желаниями наказов“ (562).

„Но, продолжает Мадлен, образовалась олигархия, привыкшая к власти и отказавшаяся выпустить ее из рук“. Место принципов заступили интересы, заботы о сохранении власти, о состоянии собственных голов, а потому правители по окончании террора, грубо не признавали того народного верховенства, во имя которого были казнены король и тысячи граждан. Быть может, Франция признала бы короля, который признал бы принципы 1789 года, утвердил переход собственности и объявил амнистию, но непримиримость Бурбонов делала это невозможным. Нация оставалась привязанной к республике, но хотела, чтобы это была республика либеральная, чтобы была восстановлена свобода совести, но революционная олигархия не хотела уйти и с 1795 года просто навязывала себя народу. В свободу перестали верить и „всего ждали от одного человека“. Такой человек появился: „он вышел из армии, и это также было фатальным“ (563). Лишь бы только он осуществил желания 1789 года и „укрепил то, что

страна полюбила в созданном революцией“, страна готова была поступиться „публичной трибуной, народными обществами, политической прессой, самой республикой. Всего этого вовсе не хотели в 1789 году: все это были чужеродные растения, которые обвивают дерево и, с виду его украшая, питаются его соками и его губят. Фатально из одной крайности бросились в другую: слишком дешево отдавали политическую свободу, охраняемую парламентским строем. Но это потому, что последний не сумели организовать, и что свобода была только начертана на памятниках, но не была введена ни в законы, ни в нравы“ (564). На последней странице Мадлен сравнивает революцию с вулканом, изрыгнущим поток лавы, в которой „были и драгоценные металлы, и грубые шлаки. Вот-вот, казалось, она все истребит, но она медленно охлаждается и теперь, превратившись в великолепный гранит, она послужит созданию Града. Французская империя (и весь новый порядок на сто лет) была выстроена из этого крепкого камня, получившегося из расплавленной лавы, для которой зимой в 1789 году открыл путь Мирабо (un Mirabeau) и которую поймал Бонапарт (un Bonaparte) осенью 1799 года“ (565). „Прежние историки, говорит Мадлен, в другом месте считали историю революции законченной вечером 19 брюмера. В наше время нет историка, который разделял бы такой взгляд. Революция просто вступала только в новый фазис. Сорель, Олар, Вандаль<sup>1)</sup> нам скажут, что для народа Франции между сумерками 19 брюмера и зарей 20 произошла только одна перемена та, что революция, ее принципы, ее завоевания, до того времени плохо защищавшиеся, были укреплены и окончательно усвоены. Франция в этом событии не замечала ни шага назад, ни даже остановки. И в известной мере страна смотрела верно, „раз республика ни на один момент, и ни в какой степени не была предметом желаний тех, которые с верха общественной лестницы до ее низа, совершили революцию“ (557).

„Эпизод“ представляет собою упрощенную, даже слишком упрощенную формулу революции, в которую, конечно, она вся

<sup>1)</sup> Автор труда о возвышении Бонапарта (L'avenement de Bonaparte), существующего и в русском переводе.

уложиться не может в том виде, в каком она рассказана самим Маделеном. В своей схеме он исходит из того, чего желала нация в 1789 году, судя по наказаниям, и что было, действительно, осуществлено после того, как Франция была взята в руки Наполеоном. Конечно, с другой стороны, элементы этой схемы даны в книге даже очень подчеркнутыми. Революция была направлена больше против неравенства, нежелания против деспотизма (19), крестьяне желали только освобождения земли и облегчения налогов (20), городское простонародье готово было бунтовать от нищеты, буржуазия стремилась к власти: вот самое важное существенное, „капитальное“, к чему присоединились, уже как нечто побочное, второстепенное, элементы смуты наверху и внизу, вожаки и социальная накипь (24 и сл.). Вот эти-то действия вожаков и социальной накипи и не нашли места в „Эпизоде“, а в них-то и заключается суть всей исторической прагматики революции. Еще менее нашло место в этом заключении та борьба классов, которую изображает автор, излагая события революции, частью пользуясь бывшими в ходу словечками, придающими колоритность его изложению, вроде, напр., „пустых и гнилых желудков“ (*ventre creux et ventres pourris*, 395, особенно 408 и сл.). Социальная история революции представлена в книге Маделена очень ярко. Наконец, в „Эпизоде“ нет ничего и о борьбе партий, которые у автора характеризуются четкими, даже резкими, в смысле большой определенности, чертами, как ни были неясны и сбивчивы их программы (266 и др.). Хороши, кстати сказать, в этой книге и характеристики вожаков, из которых об одном автор (о Дантоне) потом написал целую книгу.

Свои характеристики общественных классов, политических партий, отдельных вождей революции Маделен писал, действительно, „*sine ira et studio*“, везде отвергая легенды, уже опровергнутые исторической критикой, откуда бы они ни шли — справа или слева. В его книге нет ни революционного пафоса, ни контр-революционного инвективизма, хотя по временам он и употребляет острые выражения. Весьма часто отношение его к тому или другому факту кажется скептической иронией. Но, в общем, все-таки очень и очень многое в революции кажется Маделену ненужным, лишним, вызванным не потребностями страны, а второсте-

пенными, случайными обстоятельствами, так сказать, привитыми к главному стволу извне, подобно, как сам он выражается, паразитным растениям. В этом смысле он и говорит, что революция шла дальше своей цели или дальше того, чего нация хотела, что ей было нужно, что могло осуществиться в жизни при данных обстоятельствах, но это уже касается оценки событий, а не понимания их генезиса, их причинно-следственной связи, их общего хода и их объективных результатов. Если уже на то пошло, Маделен с гораздо большим правом мог бы претендовать на звание аполитического натуралиста, чем Тэн.

Вообще он напоминает собою более Сореля, нежели Тэна. Впрочем, не только Тэна, но и Олара, и Жореса. От последних он отличается тем, что „цель революции“ он понимал в смысле того, что, так сказать, было наиболее подходящим к тогдашней Франции, а не того, что должно было или только еще теперь должно осуществиться в будущей, по отношению к концу XVIII века, Франции. Центр тяжести интереса Жореса в проложении пути к социализму. Для Маделена республика отнюдь не вытекала из задачи революции, как ее неизбежная необходимость в роде разрушения привилегий и остатков феодализма, а было только эпизодом, зависевшим от комбинации данных, чисто временных обстоятельств. Еще менее Маделен был склонен выдвигать вперед социалистическую сторону революции, находя, что в свое время, т. е. в конце XVIII века, она не имела большого значения, хотя и были люди желавшие, как он выражается, „интегральной революции, т. е. революции социальной“ (344). Самого бабуизма он касается только, как эпизода второстепенного значения. Это был „целый план ниспровержения, имевший назначением обеспечить общее счастье“ и нашедший сторонников в рабочей среде (438). Центр агитации, Пантеонский клуб, даже не был сам бабувистским, а в основе своей террористическим, или лишь на половину бабувистским (447). Закрывание клуба не помешало продолжению агитации Бабёфа при попустытельстве Барраса, имевшего свои виды, и даже не без содействия со стороны полиции. Карно приказал арестовать „без разбора (rêle-mêle) бабувистов и террористов“, (448) и народу было объявлено, что его спасли (449). К этому Маделен только прибавил, что заговор Бабёфа вызвал



новый взрыв реакции и что процесс Бабефа окончился казнями (457). Все это у Маделена сообщено как-то мимоходом, между прочим, среди дел, имевших действительное значение в общем ходе или, — вернее, для данного периода, — в том исходе, какой получила революция. Это очень характерно для Маделена, не хотевшего выходить за пределы эпохи. В этом смысле автор далеко не дал полного итога работы, произведенной историками за последние десятилетия. В его книге есть пробелы, но там, где он действительно резюмирует, на него можно положиться, как на писателя, стоящего в уровень с наукой.

Уже после мировой войны во Франции стала выходить в свет, под редакцией Эрнеста Лависса, большая „Histoire de France contemporaine depuis la révolution jusqu'à la paix de 1919“, отдельные части которой написаны разными авторами. Она примыкает к такой же коллективной „Истории Франции до 1789 года“ под редакцией Лависса, в девяти больших полутомах, вышедших в свет раньше и между прочим заключающих в себе изложение старого порядка<sup>1)</sup>. В новой серии томов эпохе революции посвящены два начальные тома, из которых первый написан Савьяком, второй — Паризе, причем один, заключающий в себе 436 стр. текста большого формата, охватывает время от открытия Генеральных Штатов до начала Конвента, другой в 433 стр. — от этого момента до переворота 18 брюмера. Таким образом, на первый том приходится около трех с половиной лет, на второй — несколько более семи, — пропорция, обратная той, которую мы видим у Тьера, а в Германии у Зибеля, по мере продвижения вперед описывавших события подробнее.

„История Франции“ Лависса, украшенная портретами и сценами, рассчитана на чтение большой публикой и поэтому не задается какими-нибудь исследовательскими целями, но в ней есть все-таки ценные библиографические указатели, очень подробные и очень свежие, в которых указания доведены до начала двадцатых годов текущего века. Элементу внешней занимательности отведено довольно много места. Для примера укажу на описание бегства Людовика XVI в июне 1791 года, что занимает в первом томе четыре

<sup>1)</sup> Об этом издании я коротко писал в „Вести. Евр.“ за 1911 год.

страницы с большими подробностями (299—303). Изложение тоже отличается простотой и легкостью, которые найдут для этого труда большую читательскую публику. Из авторов этих двух томов более известен первый. Это ему принадлежат большая работа „Гражданское законодательство французской революции“; кроме того он же написал книгу о „революции 10 августа“. Имя другого автора (Pariset) в исторической литературе более новое, менее известное.

В обоих коллективных изданиях, вышедших под редакцией Лависса, сотрудники умели вообще очень хорошо слиться относительно размеров своих частей, их плана, содержания, характера изложения, что несколько стирает индивидуальность каждого. Во всем чувствуется палочка дирижера, каким был Лависс, пользовавшийся большою авторитетностью в ученом мире Парижа. Общее задание заключалось в том, чтобы дать широким кругам интересное и в то же время научное чтение, которое состояло бы на высоте достижений современной историографии. Здесь на первом плане стояло не проложение новых путей, а подведение итогов под сделанным, с каковой точки зрения и должно смотреть на томы, написанные Саянском и Паризэ. Оба автора — только сотрудники в коллективном предприятии, работавшие под некоторой общей директивой и имевшие задачей своей изложить то, что является результатом коллективной работы новейших исследователей и вошло в общее сознание современных историков. Здесь менее всего можно искать каких-либо проявлений индивидуальности и публицистики в каком-нибудь определенном классовом или партийном смысле. Историческая объективность доминирует над всем, а потому история французской революции у Саянского и Паризэ отражает на себе не тот политический момент, который переживала Франция тотчас по окончании мировой войны, а современный период в развитии французской историографии, когда уже давно изучение великого переворота XVIII века из рук публицистов и общественных деятелей перешло в руки ученых, специально подготовленных к исследовательской работе, к архивным изысканиям, к критике источников, к пересмотру историографических традиций, к занятиям частностями и подробностями, и все это ради того, чтобы познать прошлое, как оно было, независимо от

того, какое значение может иметь это познание для настоящего с его злободневными интересами. *Scribitur historia ad narrandum, non ad probandum.*

Если историография французской революции началась с попыток охватить всю эту эпоху в целом, то чем более мы приближаемся в этой историографии к современной эпохе, тем все более и более количественный перевес в научной разработке эпохи переходит на сторону произведений монографического и очень специального характера. Для помещения работ этого рода понадобились специальные органы, т. е. указывавшиеся выше особые исторические журналы, в которых накопилась масса небольших исследований и заметок, посвященных проверке и пересмотру всего, что было известно раньше о тех или других событиях и отношениях, или разного рода дополнений и разъяснений, проливающих новый свет на эти события и отношения. Многочисленны также, особенно начиная с последней трети прошлого столетия, отдельные книги и брошюры, так или иначе касающиеся революции, к числу которых следует отнести, между прочим, за последнее время, диссертации (*thèses*) на ученые степени, притом не только на степень доктора истории, но и на степень доктора прав. Недавно в журнале „*La Révolution Française*“ был приведен длинный список тем по истории революции, бывших предметами диссертаций на юридических факультетах Франции, и он оказался весьма внушительным, как бы ни смотреть на научные достоинства этих диссертаций. Докторат по истории приобретает во Франции гораздо реже, нежели по праву, но зато и писавшие на эту ученую степень исторические диссертации отличались и гораздо большею солидностью. История революции при третьей республике стала занимать все более и более значительное место в академическом преподавании, но и помимо профессоров высшей школы, являющихся специалистами в интересующей нас области, каковы Олар, Матьез, Саньяк, Анри Сэ, Брэн<sup>1)</sup> и т. д., есть и некоторое количество преподавателей

<sup>1)</sup> Об А. Матьезе (*Mathiez*) см. выше (стр. 170). Кроме названных там работ, он издал еще *La théophilanthropie et le culte décadaire* (1904), *Robespierre orateur* (1912), *François Chabot, représentant du peuple, à ses concitoyens* (1914), *Les grandes journées de la Constituante* (1913), *Le club des Cordeliers et le massacre de Champ de Mars* (1910), *Rome et le clergé fran-*

средней школы, работающих по истории революции. К историкам этой категории нужно прибавить еще целый ряд архивистов, как столичных, так и провинциальных, тоже обогащающих науку своими работами. В Париже уже давно существует, пользуясь заслуженною известностью, высшая специальная школа архивного дела, так называемая „Школа Хартий“ (Ecole des Chartes), первоначально обслуживавшая больше потребности изучения средневековой истории, но по мере того, как усиленно стали печататься материалы по новой истории вообще и в частности по истории революции, и число архивистов, научно работающих над последнею, начало быстро увеличиваться. Издания документов, относящихся к эпохе революции, стали редактироваться более умело, чем это еще делалось недавно (вспомним „Archives Parlementaires“) и снабжаться солидными введениями и примечаниями, из которых первые представляют собою иногда очень ценные изыскания. Наконец особую категорию работников по истории революции представляют собою, так сказать, добровольцы, нередко достаточно в научном отношении подготовленные местные исследователи-любители (вспомним Шерэ), но нередко также и не совсем удачные дилетанты, однако, все-таки делающие маленькие вклады в общую сокровищницу исторического знания. В мою задачу не может входить перечисление того, что было сделано во Франции по детальному изучению истории революции за последние десятилетия, потому что это потребовало бы очень много места, да отчасти уже было мною сделано в особой книжке, посвященной этому предмету<sup>1)</sup>, — говорю отчасти, так как полная библиография была и прямо невозможна, особенно в данный

cais sous la Constituante (1911), La question sociale sous la révolution française (1905), L'affaire Catherine Théot (1907), La victoire de l'an II. (1916) и др. — Ф. Саяк (Ph. Sagnac) особенно известен своими трудами: La législation civile de la révolution française (1898) и La révolution du 10 août, и ему же принадлежит первый том в „История современной Франции“ под ред. Лависса (см. стр. 289). А. Сэ (Sée) относится к числу авторов, занимавшихся в последнее время аграрной историей революции. О Браше (Braesch) см. ниже (стр. 293 — 284). К числу очень плодотворных историков революции за последнее время принадлежит еще Ленотр (Lenotre), автор ряда популярных книжек, частью названных выше (стр. 112, прим. 3), но они относятся к более легкой исторической литературе. К сожалению, последняя литература по истории французской революции с 1914 года мне известна далеко не вся.

<sup>1)</sup> См. книжку под заглавием „Французская революция и Наполеоновская эпоха“, составляющую отдельный выпуск (серии „История“) в издании „Введение в науку“ (изд. фирмы „Наука и Школа“).

момент. Заключить наш обзор французских историков великой революции лучше всего общео характеристикою современного положения дела.

Первое, что должно быть здесь отмечено, это — постепенная эмансипация как самих тем, так и их разработки от политических злоб дня, от партийных предвзятостей, от апологетических и полемических задач, от стремления что-либо доказывать в смысле назидания, предостережения и т. п. Чисто исторический, простой научный интерес все более и более руководит историками и в выборе тем, и в способах их разработки. Параллельно с этим усиливается критическое отношение к традиции, к легендам, к слишком абсолютным формулам.

Во-вторых, все сильнее проникает в историографию революции то, что можно назвать социологизмом, стремление глубже проникать в историю общественных отношений, возникавших на их почве интересов и стремлений отдельных групп, каковы социальные классы и политические партии. Более ранние историки стояли преимущественно на политической точке зрения, мало интересуясь экономической стороною революции. Историческая работа приняла по преимуществу аналитический характер. В сознании современных историков революции все более утверждается идея Фюстель-де-Куланжа о годах анализа, которые должны предшествовать часам синтеза.

В-третьих, соответственно с таким более критическим, более разносторонним, детальным, аналитическим изучением революции поиски нового материала, который скорее всего можно найти в архивах, занимают очень видное место в современной разработке отдельных вопросов, касающихся революции. В этом отношении особого внимания заслуживает целая литература о том, как протекала революция в отдельных местностях Франции или как в той или другой местности происходило то-то и то-то, как, например, шла распродажа национальных имуществ, „дехристианизация“ и т. п. Прежние историки сосредоточивали все свое внимание на одном Париже, историю которого во время революции, конечно, продолжают изучать и теперь, когда выходят в свет такие капитальные труды, как громадный (в XVIII + 1236

страниц) том Брэша<sup>1)</sup>, в котором рассматриваются события менее, нежели полугодом (от 20 июня до 2 декабря 1792 года), но теперь обрабатываются истории революции в отдельных провинциях и городах, даже в таких случаях, когда в общей прагматической истории революции события, происходившие здесь или там, особенно важной роли не играли.

В таких исследованиях создается новый материал для дальнейших обобщений или, по крайней мере, для дополнительных или ограничительных поправок к тому, что более или менее уже было прочно установлено по отношению к разным сторонам революции.

На этом мы и закончим наш историографический обзор главных французских трудов о великой революции конца XVIII века, чтобы посвятить еще один том такому же обзору иностранной — по отношению к Франции — историографии (немецкой, английской, русской).

P. S. Последние страницы этой части нашего труда были уже набраны, когда я ознакомился с содержанием доклада известного своими работами по истории революции проф. Ф. Саньяка<sup>2)</sup> о взглядах историков на происхождение и дух французской революции, читанного на V международном съезде историков (в Брюсселе весной 1923 г.). В своем докладе Саньяк отметил важные пункты, по которым науке остается еще многое сделать в этой области. Во первых, он признает еще недостаточно выясненными как самое происхождение революции, так и ее отношение к старому порядку: была ли она „полным разрывом с традицией“ или „естественной эволюцией старого порядка?“ Эта „проблема“, говорит он, была рассмотрена только с частных точек зрения, и ее нужно поставить во всем ее объеме. Несомненно, что тут частью был прогресс, частью была традиция.

<sup>1)</sup> Fr. Braesch. La commune du 10 août (1911). Об этой книге я писал довольно много в своих „Парижских секциях“ в „Беглых заметках по экономической истории Франции в эпоху революции“.

<sup>2)</sup> Ph. Sagnac состоит теперь профессором в Сорбонне и ему принадлежит „история современной Франции“ под ред. Лависса и др. (см. выше стр. 173 и 289). Изложение доклада в „Compte rendu du V-e Congrès International des sciences historiques“ (Bruxelles. 1923). На этом же съезде Олар прочитал доклад „L'état actuel des études sur la révolution française“, где речь шла, главным образом, об изданиях документов. Отсюда мы узнаем, например, о предстоящем выходе в свет 26 тома „Актов комитета общественного спасения“ (см. выше, стр. 167).

Но нужно принимать в расчет перемены и отступления от идеала 1789 г. в разные периоды революции". Во вторых, Саньяк приводит разные определения революции, которые сами по себе верны, но имеют только частный характер. „Чтобы охватить полно дух революции, нужно изучить все ее дело в целом: в отношениях социальном, экономическом, политическом и административном, религиозном, интеллектуальном, научном, моральном и в ее международном значении. Однако, эта задача не была еще предметом полного синтеза. Классические истории революции, говорит в заключение Саньяк, оставили еще много работы своим преемникам". Это мнение одного из наиболее видных французских знатоков эпохи, конечно, заслуживает здесь быть отмеченным. Эпоха великой революции долго еще будет изучаться специалистами исторической науки и привлекать к себе внимание как общественных деятелей, так и вообще образованных читателей.

# УКАЗАТЕЛИ.

## I. Авторы, писавшие о революции (и о „старом порядке“).

В число названных авторов включены и редакторы изданий исторического материала. Жирным шрифтом отмечены главные места, где говорится о том или другом авторе, а римскою цифрою отмечают два другие тома, где более подробно говорится об упоминаемых историках. Литература о названных здесь авторах приводится в примечаниях на стр. 8 (о Токвиле), 34 (о Кинэ), 69 (о Тэне), 114 — 115 (о Сореле), 155 (о нескольких историках конца XIX в.). Кроме того, из авторов, писавших об историках революции (и старого порядка) в тексте названы П. П. Ардашев, В. И. Герье и Кошен (73), Бутми, Моно, Сорель, Сеньобос и Олар (110), вторично Моно (114) и Бутми (119), С. М. Данилин (163), Васютинский, Кудрин, Н. М. Лукия (220).

- Арбуа, д' 33.  
Ардашев П. П. 8, 69, 73, 148, III.  
Астр 33.
- Бабо, Ал. и Анр. 149 — 150, 161.  
Барбе 165.  
Баргу 281.  
Бёрк 21, 59, 60, 63, 123, I, 45 — 51.  
Блан, Луи 5, 6, 8, 58, 59, 106, 111, 113, 245, 253, 263, 264, 268, I, 232 — 278.  
Блок 170.  
Бор (Bord) 165.  
Бретт 152, 167.  
Бреш 253, 291, 292, 294.  
Брок 112, 152.  
Буассонад 170, 225.  
Буато 152, 161.  
Бурсен и Шаламель 173.  
Бюшез 5, 60, 106, 268, I, 203 — 231.
- Валлон 112.  
Вандаль 282, 286.  
Велле 165.
- Генц 60, I, 55 — 57.  
Герье, В. И. 69, 73, III.  
Гомель 151 — 152.  
Гонкуры, братья 161.  
Готье 161.
- Дарест 33.  
Девиль 219, 278 — 280.  
Дебидур 167.  
Десамбр-Алонье 173.  
Дид 162.  
Дождю 100.  
Дошполь 151.
- Дроз 7.  
Дюен 7.
- Жорес 170, 171, 174, 216 — 278, 280, 288.
- Зибель 113, 115, 121, 122, 268, 289, III.
- Карлейль 109, III.  
Карно 162, 280.  
Карон 170.  
Каутский 229, III.  
Кинэ 6, 34 — 57, 59, 111, 164, 263.  
Ковалевский, М. 235, III.  
Кольфаврю 162.  
Кониан, де-60 — 63.  
Кошен 69, 73.
- Лабуле 33.  
Лаверь 33, 151, 156.  
Лависс 153, 169, 289, 290.  
Лакруа 166.  
Ламет 159, I.  
Левассёр 172.  
Лучицкий, И. В. 223, III.  
Ленотр 112.  
Лентильяк 281.  
Лоран и Мавидадь 152.
- Маделен 280 — 289.  
Матьез 160, 170, 291.  
Мелье 267.  
Мишес 223, III.  
Минье 8, 58, 59, 116, I, 98 — 116.  
Мишле 5, 6, 8, 35, 58, 70, 83, 111, 113, 116, 120, 221, 223, 224, 237, 248, 253, 263, 264, 265, 272, 279, I, 145 — 189.  
Монжуа 159, I.



- Монен 166.  
 Мортимер - Терно 63 — 68, 256, 267.  
 Мунье 35, 39, 101, 1, 26 — 28.
- Озер (Hauser) 229.  
 Олар 110, 111, 116, 134, 152, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174 — 216, 251, 280, 281, 286, 288, 291.
- Парижэ 289, 290.  
 Перру 167.  
 Понсен 150.  
 Приюдом 80, I.
- Рамбо 153, 169, 280.  
 Робинэ 166, 173.
- Савьяк 173, 289, 290, 294, 295.  
 Сепэ 156, 157.  
 Са, Анри 291.  
 Сорель 33, 110, 114, 115 — 147, 148, 152, 156, 286, 288, 291.  
 Сталь, г-жа 35, 120, I, 67 — 88.  
 Стурм 172.
- Тарме, Е. В. 269, III.
- Тюевиль 6, 7, 8 — 32, 33, 34, 35, 40, 41, 51 52, 57, 58, 71, 75, 76, 115, 116, 121, 148, 150, 152, 155, 160, 235.  
 Троган 161.  
 Тэн 33, 59, 69 — III, 112, 114, 115, 119, 120, 121, 124, 132, 138, 147, 148, 152, 156, 169, 196, 224, 226, 228, 235, 242, 251, 288.  
 Турнэ 165.  
 Тьер 8, 24, 58, 113, 116, 120, 173, 245, 264, 289, I, 98 — 102 и II 6 — 137.  
 Тютэ 166.
- Фарж 166.  
 Фёжер 165 — 157.  
 Флейшман 168.  
 Фрепнель 161.
- Шаламель, см. Бурсеп.  
 Шапцион 152, 153 — 155, 157, 162.  
 Шаравэ 162, 166, 167.  
 Шассен 84, 59, 150, 166.  
 Шерэ 157 — 161, 167, 292.  
 Шюке 281.
- Эрико 161, 165.  
 Юг, д' 33.

## II. Исторические деятели XVIII и XIX веков.

Здесь названы преимущественно имена предшественников и деятелей революции, а также и некоторых лиц из истории XIX и даже XX столетий, по той или другой причине упоминаемых в тексте. В числе последних есть и имена историков, не изучавших революции, но почему-либо в тексте названные. В соответственном указателе к первому тому указано, где можно найти перечень биографий деятелей революции. Случайно попавшие в текст имена деятелей более ранних эпох (напр., Кромвель) в указатель не включены.

- Анж, д' 260.  
 Аркрайт 232.  
 Арман (Harmand) 270.
- Бабёф 56, 106, 207, 208, 209, 244, 264, 270, 278, 279, 280, 288, 289.  
 Барер 262.  
 Баррас 211, 288.  
 Бер, Поль 157.  
 Бертье 237.  
 Билло-Варенн 270.  
 Бонапарт, см. Наполеон I.  
 Бриссо 249, 251, 255, 274.  
 Бутми 110, 118, 119.  
 Бюзэ 250.  
 Вьффон 216.
- Вальдек-Руссо 218.  
 Варме 264.  
 Вашингтон 112.  
 Верньо 164, 275, 276, 281.  
 Вольтер 154, 246.
- Гамбетта 199.  
 Гердер 34, 38.  
 Гизо 116, 117, 118, 119.  
 Гимли (Himli) 120.  
 Гэд 217, 218, 254.
- Давтон 44, 46, 48, 55, 68, 97, 99, 134, 135, 139, 163, 165, 189, 192, 197, 199, 214, 252, 256, 263, 265, 266, 275, 276, 281, 286.

- Демулен, Камилл 92, 188.  
 Дидро 246.  
 Долявье 273.  
 Дону 263.  
 Дрейфус 121, 217.  
 Дюмурье 281.  
 Екатерина II 123.  
 Золя 217.  
 Иосиф II 134, 227.  
 Карно 103, 167.  
 Каррье 195.  
 Кевэ 227.  
 Клемансо 217.  
 Клоотц, Авахарис 270.  
 Кондорсе 179, 193, 260, 276.  
 Конт, Огюст 70.  
 Лафарг 217, 222.  
 Лассаль 232.  
 Лепедетье де-С. Фаржо 263.  
 Лепле 121.  
 Лешателье 242.  
 Лустало 92.  
 Людовик-Филипп 215, 157.  
 Людовик XVI 7, 16, 29, 33, 34, 37, 38,  
 39, 43, 45, 46, 47, 48, 54, 60, 61, 66,  
 и сл., 134, 153, 180, 185, 186, 189,  
 190, 197, 243, 252, 261, 262, 289.  
 Мабли 179.  
 Мальзерб 8.  
 Марат 44, 51, 65, 68, 92, 95, 99, 170,  
 184, 185, 186, 191, 192, 197, 199,  
 208, 244, 245, 246, 248, 251, 252,  
 256, 261, 263, 264, 265, 266, 269.  
 Мария-Антуанетта 60, 273.  
 Маркс, Карл 216, 217, 221, 222, 223,  
 224, 227, 235, 245.  
 Мартен, Анри 72.  
 Матильда, принцесса 73.  
 Мерлен 133.  
 Мильеран 218.  
 Мирабо 43, 91, 134, 135, 158, 185, 199,  
 214, 215, 237, 238, 239, 243, 246,  
 248, 261, 262, 281, 286.  
 Моле 9.  
 Монтескье 9, 117, 123, 154, 156, 244.  
 Наполеон I 5, 11, 20, 31, 32, 31, 103,  
 109, 114, 115, 120, 136, 137, 138, 143,  
 147, 205, 212, 213, 214, 216, 274,  
 286, 287.  
 Наполеон III 20, 21, 31.  
 Наполеон, принц 73.  
 Неккер 38, 156, 159, 160.  
 Орлеанский, герц. 199.  
 Петяон 250.  
 Пико 123.  
 Питт 123.  
 Поэнт 257.  
 Ревейльон 234.  
 Рейналь 92.  
 Ренан 116.  
 Робеспьер 11, 43, 44, 46, 51, 55, 61, 68,  
 97, 99, 104, 133, 138, 139, 140, 153,  
 165, 170, 185, 188, 189, 191, 194,  
 199, 202, 214, 240, 241, 249, 251,  
 252, 255, 260, 262, 265, 267, 268, 271,  
 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279.  
 Роде-Коллар 9.  
 Ролан, г-жа 167, 170.  
 Ру, Жак 264, 265, 271, 273.  
 Руссо, Ж.-Ж. 53, 90, 101, 108, 154, 156,  
 179, 246.  
 Сев-Кюст 39, 44, 97, 106, 150, 270.  
 Сьейес 162, 235.  
 Тюрго 32, 33, 150, 179.  
 Тьерри, Огюстен 116.  
 Фоке 123.  
 Фридрих II 227.  
 Фулон 237.  
 Функ-Брентано 120.  
 Фюстель де-Кюланж 116, 119, 283.  
 Эбер 55, 250, 261, 264, 265, 271, 273,  
 274, 275, 276.  
 Энгельс 221.

### III. Наиболее важные предметы, упоминаемые в тексте.

В соответственном месте I тома объяснено, какой принцип *См.* положен в основу этого указателя. Там же было отмечено, где, между прочим, можно найти указания на специальную литературу о тех или других предметах. Сравнение этого указателя с соответственными

- в I томе могло бы свидетельствовать о том, насколько с середины XIX века некоторые предметы больше стали вообще интересовать историков, чем их предшественников. Обращаю внимание, напр., на пользование архивами, на изучение наказов 1789 года, равно как старого порядка и т. п.
- Аграрный закон 106, 184, 211, 251, 257, 258, 268, 276.
- Активные граждане 179, 183, 184, 188, 240, 241.
- Архивный материал 6, 7, 16, 18, 30, 34, 60, 66, 77, 87, 90, 110, 111, 112, 113, 141, 148, 150, 152, 153, 166, 167, 168, 171, 172, 189, 193, 219, 220, 226.
- Атлас Франции в 1789 году 167.
- Бешеные 265, 268.
- ордо 230.
- урагузы 11, 15, 44, 45, 55, 80, 94, 160, 178, 179, 180, 187, 188, 205, 207, 213, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 241, 246, 252, 257, 268, 287.
- Номера 18 переворот 37, 54, 88, 145, 155, 206, 211.
- Бандемьера 13 восстание 56, 104, 105.
- Всеховное существо 193, 200, 201, см. еще Культ.
- Восна революционная 47, 68, 89, 103, 113, 125, 126, 127, 131, 135, 187, 188, 201, 205, 211, 239, 248, 249, 254, 258, 259, 274, 285.
- Всобщее избирательное право 177, 179, 180, 192, 204, 205, 213, 239, 240, 241, 245, 246.
- Восточная империя 5, 35, 70.
- Восточная республика 5, 35, 69.
- Выборы 1789 года 166, 179, 180, 233.
- Выборы 1791 года 90, 160.
- Выборы 1792 года 191, 255, 256.
- Выборы III года 205.
- Выборы V и VI годов 206, 209.
- Выборы VII года 210 — 211.
- Генеральные Штаты 38, 90, 167, 179, 233.
- Города см. Монтаньяры.
- Гражданское устройство духовенства 43, 43, 133, 134, 135, 154, 200, 225, 243, 246, 259, 284.
- Декабрь 2 1851 г. переворот 5, 11, 14, 15, 21, 33, 70.
- Декларация прав 43, 68, 145, 174, 177, 182, 183, 184, 194, 204, 215.
- Демократия 9, 10, 11 и сл. 54, 57, 100, 104, 142, 143, 144, 145, 145, 154, 176, 177, 204, 213, 240.
- Дехристианизация 200, 201, 203, 259, 260, 273, 274.
- Директория 206, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 279.
- Женщины в революции 93.
- Жерминаль 56, 104.
- Жирондисты 37, 46, 49, 50, 51, 52, 68, 88, 89, 90, 137, 154, 191, 193, 194, 197, 198, 199, 248, 249, 250, 251, 254, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 274, 275.
- Законодательное Собрание 46, 47, 48, 63, 89, 102, 104, 136, 137, 167, 177, 187, 188, 189, 198, 209, 211, 248, 249, 250, 253, 254.
- Законодательный Корпус 205, 206, 210.
- Избирательный ценз 184, 187, 188.
- Интелданты 33, 40.
- Июня 20 1792 г. восстание 47, 56, 66, 95, 188, 225, 245, 252.
- Июля 14 1789 г. восстание 90, 91, 181, 225, 238.
- Исторические журналы 162 — 163.
- Классовая борьба 55, 56, 225, 233, 240, 241, 244, 245, 246, 250, 257, 258, 267, 287.
- Конвент 49, 50, 52, 54, 103, 104, 138, 139, 142, 143, 144, 154, 167, 177, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 199, 201, 203, 204, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 263, 264, 268, 276, 278.
- Конституционалисты 39, 45, 46, 47, 67.
- Конституция 1791 года 102, 143, 183, 184, 241.
- Конституция 1793 года 52, 104, 143, 193, 194, 195, 270, 271.
- Конституция III года 104, 142, 143, 202, 204, 208, 278.
- Конституция VIII года 213.
- Комитет общественного спасения 50, 53, 54, 65, 103, 139, 140, 143, 167, 181 — 2, 200.
- Комиссары 195, 196, 200.
- Коммуна 48, 49, 50, 52, 166, 190, 191, 199, 200, 202, 254, 259, 267, 269, 274.
- Коммуна 1871 года 72.
- Коммунизм 265, 270, 273.

- Кордельеры 186, 187.  
 Крестьяне 24, 27, 41, 78, 79, 81, 99, 173, 228, 232, 236, 237, 283.  
 Культура разума и верховного существа 200.  
 Дюпюи 82, 232, 233, 242, 260, 265, 266.  
 Литература XVIII века 27, 28, 57, 62, 83, 84, 85, 86, 88, 176, 178, 179, 226, 228, 236, 240, 246—7, 283.  
 Максимум 199, 249, 251, 260, 264, 269.  
 Мая 31 1793 г. переворот 52, 88, 96, 143, 268.  
 Марсель 189, 230, 231.  
 Марсово поле 187, 246.  
 Мемуары 36, 46, 53, 66, 77, 177, 211, 212.  
 Militarизм 56, 126, 127, 187, 239, 276.  
 Монтаньеры 49, 51, 53, 55, 83, 89, 90, 104, 154, 191, 193, 194, 197, 198, 199, 249, 264, 265, 268, 269, 270.  
 Муниципальное движение 181, 189, 214, 225, 242.  
 Наказы 1789 года 16, 28, 34, 38, 40, 44, 45, 48, 80, 90, 91, 150, 152, 160, 166, 172, 180, 232, 236, 285, 287.  
 Нант 231.  
 Народное участие в революции 52, 82, 83, 90, 93, 95, 96, 160, 200, 237.  
 Национальное Собрание, см. Учредительное Собрание.  
 Национальные имущества 24, 143, 225, 242, 243, 284.  
 Национальный архив 16, 40, 62, 133.  
 Ночь 4 августа 1789 года 39, 40, 62, 133, 237, 238.  
 Общественный Договор 52, 85, 92, 94.  
 История истории французской революции 110, 162—165.  
 Общество новой истории 110.  
 Общество робеспьеровских студий 166.  
 Октября 5—6 1789 года восстание 88, 93, 159, 184, 225.  
 Ораторы революции 169, 176, 215.  
 Пантеонский клуб 176, 208, 215, 288.  
 Париж 25, 48, 49, 51, 52, 82, 93, 95, 165—6, 190, 191, 194, 195, 197, 199, 202, 233, 249, 250, 251, 267, 287.  
 Партии 50, 55, 105, 137, 190, 197, 199, 207, 208, 210, 225, 255, 256, 261, 266.  
 Преринальский переворот 206, 211.  
 Преринальское восстание 56, 104, 105, 203, 204.  
 Провинциальные собрания 30, 33, 41.  
 Процесс короля 261 и след., 285.  
 Пролетарии 44, 45, 188, 221, 232, 234, 236, 240, 243, 253, 268, 278.  
 Промышленность 230 и сл.  
 Рабочие 78, 183, 186, 210, 213, 242, 230, 231, 232, 233, 234, 239, 242, 245, 256, 288.  
 Равенство 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 31, 32, 44, 55, 56, 57, 143, 182, 202, 215, 264, 270, 279.  
 Реакция 55, 140, 202, 205, 207, 208, 212, 215, 278.  
 Революция 10 августа 48, 55, 95, 96, 135, 188, 189, 245, 251, 252, 253, 290.  
 Революционное правительство 88, 197, 202.  
 Революционные комитеты 196.  
 Революционный суд 50, 103, 112, 182, 196, 265.  
 Рейнская граница 114, 137, 141, 142, 144, 183, 285.  
 Ренн 82, 231.  
 Роялисты 141, 142, 192, 197, 202, 203, 209, 210, 269.  
 Свобода 9, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 49, 52, 56, 92, 140, 145, 175, 182, 183, 196, 197, 202, 205, 211, 215, 255, 274, 279, 286.  
 Секции 50, 66, 67, 95, 166, 186, 189, 190, 203, 246, 249, 251, 253, 262, 264, 266, 267.  
 Сентябрьские убийства 48, 49, 60, 95, 96, 100, 190, 199, 256.  
 Социализм 106, 183, 184, 199, 208, 209, 211, 216, 217, 218, 220, 234, 240, 243, 258, 259, 265, 269, 270, 277, 279, 280.  
 Старый порядок 6, 7, 17, 18, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 49, 51, 57, 60, 61, 67, 71, 72, 78, 83, 87, 94, 124, 125, 128, 132, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 153, 155, 156, 158, 159, 160, 167, 173, 174, 178, 180, 190, 196, 197, 212, 213, 215, 231, 251.  
 Таблица цен, см. Максимум.  
 Теофилаптропия 209.  
 Термидора 9 переворот 88, 103, 140, 143, 154, 190, 201, 202, 278.  
 Термидорианцы 203.  
 Террор 53, 54, 56, 68, 83, 84, 93, 96, 104, 112, 138, 139, 141, 154, 187, 196, 202, 203, 205, 211, 231, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 285.  
 Третье сословие 62, 78, 80, 162, 231, 235, 236, 241, 266.

- Учредительное Собрание 43, 45, 47, 80, 82, 67, 83, 90, 91, 92, 93, 100, 101, 102, 133, 134, 135, 136, 152, 154, 181, 186, 192, 225, 238, 240, 241, 242, 246, 247, 258, 284.
- Февральская революция 5, 11, 33.
- Федераты 188, 189.
- Федерации 185, 225.
- Федераты 46, 51.
- Федеративизм 185.
- Федеративные права 11, 23, 24, 25, 73, 133, 151, 160, 170, 173, 181, 192, 206, 236, 247, 253, 283.
- Федераты 23, 29.
- Философия XVIII в., см. Литература.
- Финансовая сторона революции 151.
- Флоренский переворот 105.
- Фурор (битва) 201.
- Гривинский переворот 104, 105, 153, 206, 210.
- Цеховой строй. См. Избирательный строй.
- Цехи 173, 229, 231, 235, 242.
- Экономическая история революции 29, 132, 151, 170, 172, 173, 176, 220, 225, 230, 231, 232, 233, 242, 243, 250, 259, 260.
- Эмигранты 45, 94, 140, 216, 248.
- Юбилейная литература 1839 года 161.
- Якобинизм 52, 58, 88, 96 и сл., 101, 103, 105, 106, 265, 279, 285.
- Якобинский клуб 67, 88, 96, 166, 186, 187, 189, 191, 198, 202, 211, 240.
- Якобинцы 44, 49, 52, 68, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 106, 137, 138, 140, 193, 199, 285.

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Ст.
VII. Вторая Империя. — Труды Токвиля и Кинэ . . . . .	5
<p>Отражение второй империи на историографии революции (5—6).—Литература о старом порядке до Токвиля (6—7).—Токвиль (8—32).—Влияние Токвиля на последующих историков (33—34).—Кинэ (34—57).—Сравнение Токвиля и Кинэ (57—58).</p>	
VIII. Начало третьей республики.—Труды Тэна и Сореля . . . . .	58
<p>Критики революции (58—59).—Реакционная книга де-Конина (60—63).—„История террора“ Мортимера—Терно (63—68)—Тэн (69—111).—Влияние Тэна на других историков (112).—Историческая тема о влиянии революции на Европу (113—115).—Сорель (115—147).</p>	
IX. Конец первого столетия после революции. — Оживление изучения революции около 1889 года . . . . .	147
<p>Еще о влиянии Токвиля на историографию (148).—Бабо (149).—Шассен и Понсен (150).—Лавернь и Дошиоль (151).—Историки финансов эпохи революции (151).—Archives Parlementaires (152—153).—Шампюан (153—155).—Фежер (155—156).—Шерэ (157—161).—Юбилейная литература 1889 года (161).—Журналы о французской революции (162).—Общества истории французской революции (163—165).—Организации для издания документов (165—168).—Изучение французской революции Оларом (169), Маттезом (170) и Жоресом (170).—Комиссия по экономической истории Франции в эпоху революции (171—173).—Словари французской революции (173).</p>	
X. Истории революции Олара и Жореса . . . . .	174
<p>Олар (174—216).—Жорес (216—280).</p>	
XI. Последние историки революции . . . . .	280
<p>Маделен (280—289).—„История современной Франции“ Эрнеста Лависса (289—29).—Академическое изучение эпохи (291—293).—Современное состояние историографии революции (293—294).—Доклад Саньяка на V международном съезде историков в Брюсселе (294—295).</p>	
Указатели . . . . .	296

## Содержание первого тома.

---

	Стр.
I. Общее введение . . . . .	9
II. Публицисты времен революции и первые ее историки .	26
III. „Рассуждения о французской революции“ г-жи Сталь .	67
IV. Эпоха реставрации. — Истории французской револю- ции Минье и Тьера . . . . .	88
V. Июльская монархия. — Истории революции Мишле и Ламартина . . . . .	138
VI. Истории революции Бюшеза и Луи Блана . . . . .	200

## Содержание третьего тома.

---

- XII. Немецкие историки.
- XIII. Английские историки.
- XIV. Бельгийские историки.
- XV. Русские историки.

